

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

«НАУКА»
МОСКВА — 1990

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.	МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
АРИСТЕ П.	МАРТИНЕ А. (Франция)
БАНЕР В. (ГДР)	МЕЛЬНИЧУК А. С.
БЕРНШТЕЙН С. Б.	НЕРОЗНАК В. П.
БИРНБАУМ Х. (США)	ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
БОГОЛЮБОВ М. Н.	ПОЛОМЕ Э. (США)
БУДАГОВ Р. А.	РАСТОРГУЕВА В. С.
ВАРДУЛЬ И. Ф.	РОБИНС Р. (Великобритания)
ВАХЕК Й. (ЧСФР)	СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
ВИНТЕР В. (ФРГ)	СЛЮСАРЕВА Н. А.
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)	ТЕНИШЕВ Э. Р.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.	ТРУБАЧЕВ О. Н.
ДЖАУКЯН Г. Б.	УОТКИНС К. (США)
ДОМАШНЕВ А. И.	ФИШЬЯК Я. (Польша)
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)	ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)	ХЕМП Э. (США)
ЗИНДЕР Л. Р.	ШВЕДОВА Н. Ю.
ИВИЧ П. (СФРЮ)	ШМАЛЬСТИГ В. (США)
КЕРНЕР К. (Канада)	ШМЕЛЕВ Д. Н.
КОМРИ Б. (США)	ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)	ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)	ЯРЦЕВА В. Н.
МАЖЮЛИС В. П.	

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.	КОДЗАСОВ С. В.
АПРЕСЯН Ю. Д.	ЛЕОНТЬЕВ А. А.
БАСКАКОВ А. Н.	МАКОВСКИЙ М. М.
БОНДАРКО А. В.	НЕДЯЛКОВ В. П.
ВАРБОТ Ж. Ж.	НИКОЛАЕВА Т. М.
ВИНОГРАДОВ В. А.	ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
ГАДЖИЕВА Н. З.	СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.	СОЛНЦЕВ В. М.
ГАК В. Г.	СТАРОСТИН С. А.
ДЫБО В. А.	ТОПОРОВ В. Н.
ЖУРАВЛЕВ В. К.	УСПЕНСКИЙ Б. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.	ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.	ХРАКОВСКИЙ В. С.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.	ШАРБАТОВ Г. Ш.
КАРАУЛОВ Ю. Н.	ШВЕЙЦЕР А. Д.
КИБРИК А. Е.	ШИРОКОВ О. С.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)	ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 2034)0-78

СОДЕРЖАНИЕ

Бондарко А. В. (Ленинград). О значениях видов русского глагола . . .	5
Левицкий Ю. А. (Пермь). О логических аналогах грамматических сочинения и подчинения.	25
Урысон Е. В. (Москва). Обособление как средство смыслового подчеркивания.	35
Телегин Д. Я. (Киев). Иллирийские и фракийские гидронимы Правобережной Украины в свете археологических исследований» «	46
Бобрин М. А. (Москва). Представления о правильности текста и языка в истории книжной справки в России (от XI до XVIII в.).	61
Воркачев С. Г. (Краснодар). К семантическому представлению дезидеративной оценки в естественном языке.	86
Подлесская В. И. (Москва). «Факты», «события» и «пропозиции» в свете фактов японского языка.	93
Беликов М. В. (Ленинград). Эргативные параллели в баскском и иберо-романском предложении.	106

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Крысько В. Б. (Рига). История индоевропейского аккузатива в «Синтаксических исследованиях» А. В. Попова	119
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Леман У. П. (Остин). <i>Indogermanische Grammatik/Hrsg. von Mayrhofer M.</i> 1.1. Einleitung; 1.2. Lautlehre.	131
Хелимский Е. А. (Москва). Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции.	138
Ходорковская Б. Б. (Москва). <i>Маковский М. М.</i> Удивительный мир слов и значений. Иллюзии и парадоксы в лексике и семантике.	145
Кибрик А. Е. (Москва). <i>Wierzbicka A.</i> The semantics of grammar	148
Дарбеева А. А., Пюрбеев Г. Ц. (Москва), Рассадин В. И. (Улан-Удэ). Развитие терминологии на языках союзных республик СССР	152
Абдуазизов А. А. (Ташкент). <i>Потанова Р. К.</i> Слоговая фонетика германских языков	154
Строкова Г. В. (Москва). Новое издание	157

CONTENTS

Bondarko A. V. (Leningrad). On the meaning of aspects in Russian; Levickij Yu. A. (Perm). Logical analogies of grammatical coordination and subordination; Uryson E. V. (Moscow). Syntactic isolation as a means of semantic emphasis; Telegin D. Ya. (Kiev). Illyrian and Thracian hydronyms of the Right-bank Ukraine in the light of archaeological investigations; Bobrik M. A. (Moscow). Conceptions of the correctness of text and language in the history of book emendation in Russia (XI—XVIII centuries); Vorkačev S. G. (Krasnodar). The semantic view of desiderative assessment in the natural language; Podlesskaja V. I. (Moscow). «Facts», «events» and «propositions» in the light of Japanese data; Zelikov M. V. (Leningrad). Ergative parallels in Basque and Ibero-Romance sentences; From the history of science: Kryskov V. B. (Riga). The history of the Indo-European accusative in the «Syntactic investigations» of A. V. Popov; Reviews: Lehmann W. P. (Austin) *Indogermanische Grammatik*/Hrsg. von Mayrhofer M. 1.1 Einleitung; 1.2 Lautlehre; Xelimskij E. A. (Moscow). Comparative-historical study of languages of different families. The theory of linguistic reconstruction; Xod[orkovskaja B. B. *Makovskij M. M.* The wonderful world of words and meanings. Illusions and paradoxes in the lexicon and semantics; Kibrick A. A. (Moscow). *Wierzbicka A.* The semantics of grammar; Darbeeva A. A., Pjurbeev G. C. (Moscow), Rassadin V. I. (Ulan-Ude). The development of terminology in languages of the federal republics of the USSR; Abdudzizov A. A. (Tashkent). *Potapova R. K.* Syllable-phonetics of the Germanic languages; Strokova G. V. (Moscow). A new publication.

© 1990 г.

БОНДАРКО А. В.

О ЗНАЧЕНИЯХ ВИДОВ РУССКОГО ГЛАГОЛА

Исходные принципы

Наше понимание видовых значений и теоретических оснований их анализа определяется следующими положениями.

1. Категория вида в русском языке, как и в других славянских языках, охватывает все глаголы (в том числе и двувидовые) и все глагольные формы, являясь обязательной для глагола в целом. Естественно, что категориальные (системные) видовые значения характеризуются высокой степенью абстрактности, грамматической формальности.

2. Обязательность выбора формы либо совершенного (СВ), либо несовершенного вида (НСВ) в каждом акте употребления глагола имеет далеко идущие последствия. При общей «исходно-денотативной» перспективе — от смысла, который хочет выразить говорящий, к соответствующим языковым средствам с их значениями — в сфере вида возможна и противоположная перспектива — «исходно-формальная»: выражение того или иного видового значения может быть следствием «вынужденного» употребления формы либо СВ, либо НСВ в условиях облигаторности. С этим связана явно выраженная избыточность видовых значений. На этой основе получают распространение многообразные «вторичные применения» категории вида в связи с реализацией функций локализованности / нелокализованности действия во времени, собственно времени, таксиса, модальности и связанных с нею прагматических элементов (ср. участие видовых форм императива в выражении различных оттенков вежливости), а также функций определенности / неопределенности и коммуникативной перспективы высказывания

Именно обязательность категории вида и вытекающие из нее последствия являются основным источником тех трудностей, с которыми встречаются при овладении русским и другими славянскими языками носители «невидовых языков» или языков с иными (ограниченными) видовыми системами. С явлением облигаторности во многом связана особая сложность теоретической проблематики значения и употребления видов.

3. Вид относится к числу грамматических категорий с преимущественно интерпретационной семантикой [1, с. 47—50].

4. Видовая семантика, выражаемая в высказывании, представляет собой результат взаимодействия системы и среды. Элементы того или другого участвуют в содержании и выражении каждого из частных значений обоих видов.

5. Соотношение семантически маркированного СВ и немаркированного НСВ обуславливает различия в характере взаимодействия системы

и среды в сферах частных значений СВ, с одной стороны, и НГВ, с другой. Вторичные частные значения СВ испытывают активное воздействие системного значения формы СВ. Что же касается частных значений НСВ, то они характеризуются активной ролью элементов среды во взаимосвязях с системным значением НСВ, играющим роль относительно пассивного «фона».

6. Видовая принадлежность и видовое значение глагола определяются независимо от того, является ли данный глагол парным (*писать — написать, записать — записывать*) или непарным (ср. СВ *грянуть* и НСВ *граничить*). Следовательно, анализ видовых значений должен осуществляться не только в рамках видовых пар, но и за их пределами, в общей системе форм вида.

7. Необходимо разграничивать и соотносить анализ видовых значений на следующих уровнях:

а) видовой системы, т. е. по отношению к категории вида в целом; речь идет о категориальных значениях форм СВ и НСВ как элементов грамматической системы языка;

б) реализации категориальных видовых значений в определенных лексических классах глаголов (предметом рассмотрения являются словоформы и классы словоформ);

в) частных видовых значений, выявляемых на основе анализа функционирования видов (типичные значения рассматриваются в их вариативности, реализующейся в речи);

г) аспектуальной характеристики высказывания; для грамматического описания данного типа, тесно связанного с анализом частных видовых значений, но отличающегося ориентацией на уровень семантики высказывания, нами используется понятие «аспектуальная ситуация» (ср. описание процессных ситуаций и ситуаций обобщенного факта [2, с. 116—2001];

д) аспектуальной характеристики текста.

8. В общей системе межкатегориального взаимодействия для категории вида первостепенное значение имеет взаимодействие с семантикой локализованности / нелокализованности действия (ситуации) во времени (ср. *однажды заметил / всегда замечал* [3]). Эта семантика непосредственно воздействует на значения и употребление видов. Можно говорить о сопряженности вида и временной локализованности. В межкатегориальное взаимодействие, связанное с видом, включаются также поля темпоральности, таксиса, модальности и ряд других полей — таких, как персональность, залоговость, субъектность и объектность, определенность / неопределенность, коммуникативная перспектива высказывания, качественность, количественность, локативность (см., в частности, [4—12]).

Категориальное значение совершенного вида:
признаки целостности и ограниченности действия пределом
(общая характеристика)

Категориальные значения форм вида (и любых других грамматических форм) понимаются нами как значения системные, т. е. исходящие от грамматической системы языка. Речь идет о значениях, которые устанавливаются в системе противопоставленных друг другу рядов форм, конституирующих данную грамматическую категорию.

Системное значение грамматической формы может пониматься по-

разному. На наш взгляд, наиболее целесообразен наименее жесткий подход, учитывающий разные типы категориальных значений. Имеются в виду следующие структурные типы:

1) общее инвариантное значение, охватывающее всю сферу функционирования данной формы (именно таково категориальное значение формы СВ; ср. также инвариантное значение формы сложного будущего времени типа *буду писать*, значение форм 1-го лица и т. п.);

2) семантический потенциал грамматической формы, который может выступать:

а) как ее значимость, «семантическая компетенция», находящая ту или иную реализацию в зависимости от взаимодействия с разными типами среды (таков семантический потенциал формы НСВ);

б) как основное значение, охватывающее центральную сферу функционирования данной формы и сочетающееся с одним или несколькими периферийными значениями (ср. основное значение будущего времени у форм типа *напишу* и периферийное значение неактуального настоящего: *Не любит письма писать, редко когда напишет*: ср. также основное значение форм 2-го лица ед. числа — «участие слушающего» — и относительно периферийное обобщенно-личное значение этой формы, не сводимое к единичному инвариантному значению);

в) как комплекс нескольких основных значений в условиях грамматической полисемии, включающей и периферийные значения (ср. значение родительного и творительного падежей; подробно о типах категориальных значений, в том числе об общих значениях как одной из разновидностей категориальных значений см. [13]).

Известное определение значения СВ на основе признака неделимой целостности действия (ЦЕЛОСТИ.) [14, с. 307—311] вполне согласуется с определением, базирующимся на признаке ограниченности действия пределом (далее СТР.). Рассматриваемые признаки дополняют друг друга, фиксируя близкие, хотя и не тождественные элементы языковой семантической интерпретации характера осуществления действия (ср. справедливое, на наш взгляд, суждение О. Даля о нецелесообразности отождествления понятий «totality» и «boundedness» [15]).

Когда речь идет о целостности действия, обычно имеется в виду прежде всего представление действия вне членения на фазы (по Л. П. Размусену, «начало, середина и конец — совокупно» [16, с. 379]). В том же смысле трактуется отсутствие внутренней динамической структуры протекания действия во времени [17]. Обозначается факт, представленный как целое, без выделения срединной фазы действия и без выражения внутренней динамики его протекания от прошлого к будущему. Именно с этой стороной рассматриваемого признака связана несочетаемость инфинитива СВ с фазовыми глаголами типа *начать, продолжать, кончить*: невозможны сочетания типа **начал {продолжал, кончил} написать* и т. п. [18, с. 108—110; 14, с. 218—222].

Рассматриваемое представление действия противопоставлено эксплицитной процессности, которую может выразить лишь НСВ (*Посмотри, вон поднимается шар*): в действии выделяется срединная фаза и именно она получает процессную интерпретацию. Раскрывается внутренняя временная структура протекания действия: протекание времени как бы включено в обозначаемое протекание действия, т. е. течение действия выражается в единстве с течением времени.

Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно об эксплицитной процессности. Что же касается процессности имплицитной, то на уровне

семантики высказывания она может совмещаться с ЦЕЛОСТИ, и ОГР. Ср. «ситуации достигнутого предела с элементом имплицитной процессности» в высказываниях типа *Замолкли не сразу, а постепенно* 'Я медленно развязал тесемку'; *Он постепенно втянулся*; *Корягу наконец выволокли*: с участием элементов контекста выражается достигнутый предел (целостность) в сочетании с подразумеваемым предшествующим процессом, который привел к данному результату, ср. эксплицитную процессность: *...медленно развязывал и наконец развязал...* [19, с. 94—98].

Еще одно пояснение. Когда речь идет о несовместимости признака ЦЕЛОСТИ, с членностью действия на фазы (именно поэтому говорится о *неделимой целостности действия*), имеется в виду невычлененность *срединой фазы*: лишь выделение этой фазы ведет к развертыванию внутренней структуры действия, к его расчленению, нецелостности. Что же касается представления действия в его начальной фазе (*завучать, запеть* и т. п.), то такое представление действия вполне совмещается с целостностью: выражается целостность не «внеязыкового действия» во всем его объеме, а языковой интерпретации действия — интерпретации начинательной. Иначе говоря, выражается целостность начальной фазы действия. При этом фаза продолжения подразумевается, имплицитируется (она может и дополнительно актуализироваться контекстом: *Он запел. Все слушали, затавив дыхание*), однако в самом глаголе эксплицитно выделен начинательный способ действия и только к нему относится признак целостности. То же можно сказать о глаголах тех способов действия, в которых выделяется конечная фаза: *договорить, допеть; отзвучать, отцуметь* и т. п. Выражается целостность действия, представленного в его конечной фазе (остальные фазы могут лишь имплицитироваться).

Признак ЦЕЛОСТИ, сопряжен со взглядом на действие «со стороны»: именно таким образом действие может быть представлено как целое, в отличие от обозначения действия в процессе его протекания, когда говорящий как бы находится внутри процесса [20]. Эта интерпретация данного признака тесно связана с только что рассмотренной: взгляд на действие «со стороны» предполагает отсутствие выделения и развертывания срединной фазы.

По существу целостность в данной интерпретации представляет собой отрицательное содержание: в нем заключено отрицание тех признаков, которыми характеризуется процессность, — членности действия на фазы, внутренней темпоральной структуры действия. Справедливо суждение Ю. С. Маслова о том, что «неделимая целостность действия имплицитирует его непроцессность» [21, с. 16].

В содержании целостности есть, однако, и положительный элемент. Речь идет о том, что было определено А. А. Шахматовым как «полнота проявления действия-состояния» [22]. Данная интерпретация в равной степени относится и к целостности, и к ограниченности действия пределом.

Признак ОГР., смыкаясь с целостностью в отношении полноты проявления действия, акцентирует фиксацию границы, означающей исчерпанность действия (в данном его представлении), его предел.

Обратим внимание на отношении признака ОГР. к предельности / непредельности глагола. Признак ОГР. может распространяться не только на действия, направленные на достижение предела (*сдавать — сдать экзамен* и т. п.), но и на те действия, которые не связаны с такой направленностью (*допускать — допустить, замечать — заметить, оставаться — остаться, разрешать — разрешить, дарить — подарить, советовать*

вать — посоветовать, стараться — постараться, щадить — пощадить и т. п.). Мы не можем сказать *допускал, но не допустил; *замечал, но не заметил; ^советовал, но не посоветовал. Действие может быть непредельным, но это не препятствует образованию СВ — перфективации, не связанной с видовой парностью: сидеть — посидеть, держать — подержать, сиять — засиять, шуришать — зашуришать и т. п.

Столь широкое распространение признака ОГР. обусловлено фундаментальным свойством обязательности, присущим славянскому глагольному виду. Тот факт, что признак ОГР. охватывает и те действия, которые не направлены на достижение предела, усиливает интерпретационную доминанту семантики вида и подчеркивает роль неуниверсальных элементов в этой семантике.

Заметим, что сама формулировка названия признака — «ограниченность действия пределом» — связана именно с указанными глаголами. Иначе можно было бы говорить о «достижении предела». Но это соответствовало бы лишь тем случаям, когда налицо направленность действия на достижение предела. Если же такой направленности нет, то целесообразно использовать более широкое понятие ОГР., охватывающее любые действия, представленные в реальном пределе (ср., с одной стороны, строить — построить, а с другой — щадить — пощадить; за рамками видовых пар это понятие охватывает и образования типа стоять — постоять, звенеть — зазвенеть и т. п.).

Таким образом, мы рассматриваем категориальное значение СВ как комплекс близких, но все же отличающихся друг от друга признаков составляющих единство: «ЦЕЛОСТИ.— ОГР.» — «ограниченное пределом целостное действие». Элементы данного комплекса всегда выступают в сочетании друг с другом. Нет ни одного примера употребления глагола СВ, в котором была бы выражена ограниченность действия пределом без целостности или целостность без ограниченности пределом.

Возникает вопрос: есть ли необходимость в раздвоении категориального значения СВ?

Определение значения СВ может быть основано лишь на одном и рассматриваемых признаках. Обычны дефиниции, в которых используется либо понятие целостности действия, либо понятие предела. Вместе с тем в аспектологической традиции известно и совмещение обоих понятий в одном определении. Речь идет прежде всего об определении Л. П. Рамусена: «Глагол совершенного вида, мне кажется, означает первоначально действие как достигающее своей цели (своего предела), а затем вообще действие, рассматриваемое как одно целое (начало, середина и конец — совокупно). Глагол несовершенного вида означает первоначально действие как приготовление к достижению цели, а затем вообще действие рассматриваемое только со стороны вещественных (знаменательных) своих признаков, без обозначения целостности действия» [16, с. 379J. В этом определении, по справедливому замечанию Ю. С. Маслова, два момента сочетаются «как моменты (исторической или логической) последовательности» [21, с. 161].

В единстве рассматриваемых признаков трудно однозначно определить их иерархию. Мы не можем сказать, что один из признаков является во всех отношениях основным, а другой — производным, вторичным. Однако в одном отношении признак ОГР. все же мог бы быть поставлен на первое место. Речь идет о причинно-следственном отношении, в котором признак ОГР., с нашей точки зрения, выступает как исходный: именно потому, что действие достигает предела (так или иначе ограничи-

вается пределом), оно может быть представлено как неделимое целое. Правда, в принципе возможно и отношение взаимной обусловленности: целостность действия означает, что оно выступает в определенном пределе совершения. Однако основным направлением обусловленности является направление «от ограниченности пределом к целостности».

Ограниченность пределом — это внутренняя характеристика действия с точки зрения «полноты проявления данного признака во времени» (используем выражение Ф. Ф. Фортунатова [231]; речь идет о полноте относительной, при данном способе действия, ср. *занеть, попеть, спеть*). Целостность же — это обусловленный данной внутренней характеристикой способ представления действия с определенной точки зрения «на линии времени»: без вычленения срединной фазы, при «взгляде со стороны». Оппозиция ЦЕЛОСТН./НЕЦЕЛОСТН. отражает различие в исходной точке зрения говорящего на действие (ср. суждения А. Тимберлейка о «видовом ориентире» и о «точке зрения» при рассмотрении вида на пропозициональном уровне [24]).

Необходимо учитывать обе стороны значения СВ. Признак ОГР. выступает на передний план при рассмотрении вида в поле лимитативности, объединяющем разные типы отношения действия к пределу, включая различия реального и потенциального, эксплицитного и имплицитного, абсолютного и относительного предела, а также предельности/непредельности [19, с. 45—63]. Рассмотрение языкового материала в отношении к признаку ОГР. целесообразно, в частности, при анализе связей категории вида с теми способами действия, в которых так или иначе конкретизируется семантика результата (ср. общрезультативный и специально-результативные способы действия). С другой стороны, признак ЦЕЛОСТН. приобретает особую значимость при анализе соотношения семантики вида (и аспектуальности в целом) с такими семантическими категориями, как темпоральность, временная локализованность, модальность. Речь идет о всех соотношениях, для которых существенна «ориентационная» сторона семантики вида, связанная с точкой зрения говорящего, с его «взглядом на действие».

Есть и такие проблемы, при рассмотрении которых в равной степени актуальны оба признака, в частности, соотношение вида с семантикой таксиса, субъекта и объекта, определенности/неопределенности. На наш взгляд, внимание к взаимосвязям обеих сторон категориального значения СВ необходимо для аспектологии в целом.

К аргументации статуса категориального значения СВ: анализ «трудных случаев»

Определение категориального значения СВ, основанное на признаках ОГР. и ЦЕЛОСТН., как уже было сказано выше, охватывает все глаголы СВ во всех типах и вариантах их функционирования. Речь идет о подлинно общем значении. Рассмотрим некоторые «трудные случаи», которые могли бы дать (и дают) повод для сомнений в истинности данного определения. Один из таких случаев — начинательные глаголы типа *занеть, засверкать, завизжаться* и т. п. Выражается ли такими глаголами целостность действия и его ограниченность пределом? Ведь начинательность предполагает последующее продолжение действия. На наш взгляд, начинательные глаголы подчиняются общей закономерности. Признаки ОГР. и ЦЕЛОСТН. относятся не к действию вообще, а к его начальной фазе: именно эта фаза представлена в ее ограниченности пре-

делом и целостности (ср. *Он задремал* — начальная фаза достигла предела — и *Он уже задремывал...* — ограниченность пределом отсутствием). Конечно, подразумевается, что действие продолжается, но эта импликация выходит за рамки категориального значения СВ: видовая характеристика действия на уровне глагольной словоформы ограничивается начальной фазой действия.

Рассматривая концепции инвариантного значения СВ, М. Я. Гловинская замечает: «Ни предел, ни законченность действия не являются универсальным свойством значения совершенного вида» [25, с. 9]. Далее следует ссылка на тот факт, что существуют целые группы глаголов, совершенный вид которых не обозначает действия, доведенного до качественного предела (или до конца). Приводятся глаголы, включающие в свое толкование смысл «стать более каким-то»: *возрасти, замедл(ь)ся, повыситься, ускориться*) и т. п. Такие глаголы обозначают действие, которое может быть продолжено: *Цены повысились и продолжают повышаться*, ср. невозможность **Он надел пальто и продолжает его надевать* [25, с. 8—9]. На наш взгляд, факты, приведенные М. Я. Гловинской, не могут опровергнуть критикуемое ею определение значения СВ. Они свидетельствуют лишь о том, что с участием лексики и контекста в высказывании выражаются две разновидности предела, которые можно назвать абсолютным и относительным пределом. Однако данное различие, выделяемое на уровне семантики высказывания, является слишком частным для уровня грамматического значения формы СВ. На этом уровне выражается лишь ограниченность действия пределом, безотносительно к тому, каков этот предел [26].

О признаке «смена ситуаций»

Определение значения СВ на основе признаков ЦЕЛОСТИ, и ОГР, вполне совместимо с определением, базирующимся на признаке «смена ситуаций» («изменение ситуации»). Целостность и ограниченность действия пределом обуславливают возможность перехода на новой ситуации, новому состоянию. Как отмечает А. Барентсен, «...из представления какого-нибудь действия в целостности обязательно вытекает тот факт, что это действие сменяется чем-то другим (каким-то состоянием или другим действием), это и есть наша „смена SIT“. В то время как в „ленинградском* определении внимание сосредоточено на том, что „производит“ такую смену, в нашем определении внимание прежде всего обращается на вторую SIT» [27]. Ср. также высказывание В. Броя о том, что признак целостности (Totalitat) может быть представлен как понимание действия с включением его границ, причем в тексте целостная интерпретация действия служит для того, чтобы изменить данную ситуацию [28]. Заметим, что в этом высказывании фактически выделен особый функциональный план, к которому относится цель «изменить данную ситуацию». Действительно, один уровень — это целостная интерпретация действия как значение грамматической формы СВ, а другой — для чего, в какой функции данное значение используется в высказывании.

Подход А. Барентсена к определению семантического различия видов на основе понятия «смены ситуаций» близок к точке зрения, согласно которой значением СВ является наступление нового в цепи событий, последовательность сменяющих друг друга действий. СВ наделяется признаком «секвентности» в отличие от НСВ, не обладающего данным признаком [29].

На наш взгляд, подобные отношения, связанные с категориями вида и таксиса [30, с. 70—98], т. е. аспектуально-таксисные отношения, представляют собой комбинаторные признаки синтагматики видов, зависящие от сочетаемости видовых форм в тексте. Однако эти функции, при всей их значимости, являются все же вторичными, производными от видового значения грамматической формы. Для реализации признака секвентности необходимо сочетание по крайней мере двух видовых форм. Это один из типов функционирования форм вида, связанный с их значением, но не значение грамматической формы. Категориальное значение форм СВ и НСВ должно быть действительным для разных синтагматических условий, т. е. не может ограничиваться лишь некоторыми условиями.

У А. Барентсена признак «смена ситуаций» трактуется более обобщенно. В частности, он может характеризовать и изолированное действие: — *Он пришел* (в таких случаях ситуация, представленная данным действием, сменяется последующим состоянием). Вместе с тем рассматриваемый признак нельзя считать универсальным. Так, он вряд ли реализуется в высказываниях типа *Пошел вздремнуть* (имеется в виду действие, выраженное инфинитивом). На наш взгляд, в любом случае первичным фактором является системное значение СВ, основанное на признаках **ОГР.** и **ЦЕЛОСТИ.**, поскольку именно из ограниченности целостного действия пределом вытекает реализующаяся в высказывании функция «смены ситуаций».

Сказанное выше относится и к определению видовых значений на основе признака «изменение». Базируясь на этом признаке («*changeмент*»), М. Гиро-Вебер определяет видовую оппозицию следующим образом: «...несовершенный вид обозначает наличие действия, тогда как совершенный вид — его наличие и изменение, которое за ним следует» [31]. Далее отмечается, что «изменение» должно пониматься как категория языка, а не как категория реальности [там же]!. С нашей точки зрения, семантический элемент «изменение», как и сходный с ним элемент «смена ситуаций», представляет собой функциональное следствие (реализацию на уровне высказывания) базисного категориального значения формы СВ, включающего признаки **ОГР.** и **ЦЕЛОСТИ.**

Признаки «смена ситуаций», «секвентность», «изменение» и т. п. фиксируют внимание на отношении ситуации, обозначаемой с участием глагола, к тому, что за ней следует. Это, так сказать, «правая интенция» в характеристике ситуации, своего рода «взгляд вперед» (ср. реализацию данного типа анализа в [32]). Однако «правая интенция» тесно связана с «левой» — с тем, что обуславливает новую ситуацию. Наличие или отсутствие «смены ситуаций» («изменения») зависит от того, ограничено ли пределом (выступает ли как единое целое) действие, обозначенное глаголом.

Итак, обращение к понятиям «смена ситуаций», «изменение» и т. п. целесообразно и полезно, поскольку оно дополняет наши представления о семантике видов, но оно отнюдь не отменяет той стороны этой семантики, которая связана с признаками **ОГР.** и **ЦЕЛОСТИ.** Они являются первичными, базисными. На уровне категориальных значений видовых форм, на наш взгляд, действительны именно последние признаки.

О понятии среды по отношению к системным значениям
видовых форм

Значения форм СВ и НСВ — это системные значения, представляющие собой ту основу, на которую накладываются и с которой взаимодействуют элементы окружающей среды.

Среда по отношению к той или иной языковой единице, категории или группировке как исходной системе трактуется нами как множество языковых (в части случаев также и внеязыковых) элементов (в рамках более широкой системы, вмещающей исходную, а также в различных смежных сферах), играющее по отношению к исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которым она выполняет свою функцию [33; 30, с. 47–57].

При рассмотрении понятия среды применительно к категории вида как исходной системе необходимо учитывать все те языковые единицы, классы и категории, семантика которых взаимодействует с системными видовыми значениями, влияя на их реализацию в речи.

По отношению к грамматической категории вида в роли среды выступают следующие элементы:

а) лексические значения глаголов и представляемые ими семантические классы, воздействующие на реализацию видовой семантики, ср., например, глаголы состояния, отношения и т. п. (см. [21, с. 48–65; 34; 35]);

б) способы действия и лексико-грамматические разряды предельных/непредельных глаголов [36];

в) представленные в данной глагольной лексеме грамматические категории, взаимодействующие с видом (время, наклонение, лицо, залог);

г) элементы окружения данной формы, образующие аспектуально значимый контекст; это понятие охватывает, в частности, другие глагольные формы (любые формы сказуемого), выступающие в данном предложении или соседних предложениях, обстоятельственные показатели типа *постепенно, вдруг, часто*, подлежащее и дополнение со значениями конкретности/неконкретности субъекта и объекта. Воздействие на вид в данном случае осуществляется через семантику локализованности/не локализованности действия во времени, ср.— *В тридцать четвертом году, когда в отставке был, он книгу написал «Будущая война». Вот эту. Генералы, когда о ни в отставке, любят книги писать.* (К. Симонов. Живые и мертвые).

Языковые средства, отмеченные в пунктах (а–в), представляют по отношению к видовой форме с ее системным значением в н у т р и л е к с е м н у ю среду, тогда как средства, отмеченные в пункте (г), — с р е д у в н е л е к с е м н у ю .

«Ближней средой» по отношению к категориальным видовым значениям являются разнообразные семантические элементы, охватываемые понятием аспектуальности. Они представляют собой ближайшее окружение категории вида как центра данной семантической сферы («окружение» — это в данном случае весьма условное выражение, поскольку речь идет и о пересечениях).

Аспектуальность может рассматриваться как группировка функционально-семантических полей (ФСП), включающая ФСП лимитативности, длительности, кратности, фазовости, перфектности, а также поля действия (акциональность), состояния (статальность) и отношения (реляционность) [19, с. 40–63].

Семантическая сфера аспектуальности весьма|неоднородна, много-

мерна. Охватываемые ею элементы объединяются лишь по тому признаку, что во всех случаях речь идет о том, «как протекает во времени или как распределяется во времени тот процесс, который обозначен в основе глагола» (так писал А. М. Пешковский «о том, что такое «вид» глагола вообще» [18, с. 104-105]). Семантика аспектуальности близка к тому, что Г. Гийом называл «внутренним временем» действия [37], в отличие от «внешнего времени» — отношения действия к моменту речи или другой исходной точке отсчета. В рамках этой семантической сферы, которую трудно охарактеризовать точнее и определеннее, размещаются семантические элементы, которые отличаются многомерностью (ср. характеристику многомерности видовой семантики, данную Э. Косериу [38]). Категориальные значения видов, представляющие собой элемент грамматической системы, пересекаются и взаимодействуют с этими значениями как элементами аспектуальной среды. «Ближняя среда» по отношению к категории вида не ограничивается сферой аспектуальности: сюда входят также временная локализованность и темпоральность (может быть, и элементы модальности). Связи грамматической категории вида с целым комплексом ФСП — это проблематика поля, о которой неоднократно шла речь в предшествующих работах автора, но в этой статье для нас важно подчеркнуть особый подход к данной проблематике — с точки зрения соотношения «система — среда».

Семантическая маркированность СВ/немаркированность НСВ и типы взаимодействия системы и среды

В общей теории систем различаются два типа поведения системы в ее отношении к среде — реактивное, т. е. во всем основном определяемое воздействием среды, и активное, т. е. определяемое не только состоянием и воздействием среды, но и собственными целями системы, предполагающими преобразование среды, подчинение ее своим потребностям [39].

Указанные типы взаимодействия системы и среды необходимо учитывать и в лингвистическом анализе. Формы СВ, рассматриваемые со стороны их системного значения, характеризуются активным поведением по отношению к среде, тогда как формы НСВ демонстрируют поведение реактивное. Это различие связано со статусом маркированного и немаркированного членов оппозиции. Маркированность СВ определяет «сильное» (активное) воздействие грамматической системы на среду, в то время как немаркированность НСВ создает разнообразные возможности для активного воздействия «сильной» среды на исходную систему. Отсутствие признаков ЦЕЛОСТИ, и ОГР. как системное значение НСВ играет роль своего рода «пассивного фона», на который накладываются признаки внутрилексемной и внелексемной среды.

Если форма СВ «идет в контекст» с собственно общим (инвариантным) значением, которое лишь конкретизируется и модифицируется контекстом (и шире — средой), то форма НСВ как немаркированный член видовой оппозиции «идет в речь» не с положительным значением, а с некоторой значимостью, компетенцией, способностью выражать определенный спектр семантических признаков. Форма задает лишь общие контуры и пределы этого спектра — от значений, контрастирующих с семантикой СВ, до значений, контактирующих с этой семантикой, хотя и не совпадающих с нею. Реализация семантического потенциала НСВ определяется активным воздействием лексики, контекста и речевой ситуации. Упомя-

нутые различия выявляются в сфере частных видовых значений (об исто-
рии их разработки см. [21, с. 70—721).

Частные значения СВ могут быть представлены в следующей схеме:

Категориальное (системное) значение: ЦЕЛОСТИ., ОГР.		
Основное значение: конкретно-фактическое (Я его встретил)		
Вторичные частные значения, производные от основного:		
наглядно-примерное	потенциальное	суммарное
<i>(Иногда встретишь его и не знаешь, как с ним говорить)</i>	<i>(Таких людей на каждом шагу не встретишь)</i>	<i>(Я его там дважды встретил)</i>

Категориальное значение формы СВ реализуется в речи прежде всего в основном (главном) значении — конкретно-фактическом. В подавляющем большинстве случаев употребления форм СВ выражается именно это значение. Оно составляет основу всех прочих (вторичных) частных значений, представляющих собой ту или иную контекстуально обусловленную модификацию семантики конкретного факта. Семантическое пространство частных значений СВ имеет центрированную, фокусированную структуру, ядром которой является указанное основное значение.

Производность вторичных частных значений СВ от основного очевидна. При выражении наглядно-примерного значения реально повторяющееся действие представлено как бы на наглядном примере одного из актов его осуществления — одного конкретного факта (в данном случае конкретность выступает в метафорической интерпретации). Потенциальное значение представляет собой сочетание элемента «конкретный факт» (обычно в наглядно-примерной модификации) и модального элемента потенциальности. Суммарное значение сводится к обозначению (средствами контекста в сочетании с видовой формой) суммы конкретных фактов.

Активная роль самой формы СВ в выражении аспектуальной семантики очевидна при передаче конкретно-фактического значения. Для его реализации достаточен минимальный контекст, например, *Он все сказал* и т. п. Пригоден любой контекст за теми довольно редкими исключениями, которые обуславливаются показателями, переводящими видовую семантику в плоскость вторичных частных значений. Ср. наглядно-примерное значение: *Всегда так — скажет, а потом уже подумает*.

При выражении вторичных значений роль среды возрастает, однако активность основного значения — с его системной доминантой — проявляется в том, что оно по существу присутствует в каждом из производных от него значений, хотя и в преобразованном (под влиянием контекста) виде.

Категориальное значение СВ, репрезентируемое в речи прежде всего конкретно-фактическим значением, играет в данной семантической сфере интегрирующую роль: то, что исходит от грамматической системы, от представляющей ее грамматической формы вида, объединяет все частные значения СВ. Что же касается семантических элементов, которые исходят от среды, то они играют дифференцирующую роль: элементы среды отличают одно частное значение от другого. В целом тенденция к интеграции в семантической сфере СВ доминирует, «разброс значений» невелик, производность вторичных значений от основного, как уже говорилось выше, обуславливает фокусированность данной семантической сферы, характеризующейся активным поведением системы в ее взаимодействии с окружающей средой.

Обратимся теперь к значениям НСВ, представленным в следующей схеме:

Частные значения НСВ:	
	конкретно-процессное (<i>Я читал книгу, когда он вошел</i>)
	неограниченно-кратное (<i>Я читал по вечерам</i>)
Категориальное (системное) значение: «отсутствие признаков ЦЕЛОСТИ, и ОГР.»	обобщенно-фактическое (<i>— Ты читал эту книгу!</i>)
	ограниченно-кратное (<i>Я читал это дважды</i>)
	реляционное (<i>{Финляндия граничит с СССР}</i>)
	потенциально-качественное (<i>{Он играет на скрипке, поет и танцует}</i>)
	нейтральное («неквалифицированное») (<i>Я хочу есть; Я вам верю; Он не может ждать</i>)

Трактовка НСВ как немаркированного члена видового противопоставления, восходящая к концепциям Ф. Ф. Фортунатова и Р. О. Якобсона, дает возможность объяснить существенные особенности функционирования этой формы. Ср., например, обобщенно-фактическое значение (*Ему уже докладывали об этом* и т. п.): налицо обобщенное указание на самый факт действия при имплицуемой целостности и ограниченности пределом. Именно немаркированность НСВ позволяет при соответствующих условиях ситуации и контекста имплицитно передавать ту семантику, которая в других условиях эксплицитно выражается формой СВ (ср. *Ему уже доложили...*). Сошлемся также на употребление НСВ в настоящем историческом: те действия, которые в прошедшем времени были бы выражены формами СВ (*Вдруг кто-то вошел...*), в данном временном плане представляются формами НСВ в имплицитной целостности и имплицитной ограниченности пределом (ср. *Вдруг кто-то входит*). Ср. также неограниченно-кратное значение в таких случаях, как *Он легко решал такие задачи*: имплицуется доведение действия каждый раз до предела. Достижение предела может имплицироваться и при выражении ограниченно-кратного значения (ср. *Ему об этом уже два раза докладывали*).

Элементы среды, окружающей форму НСВ при ее функционировании, разнородны. Ср., с одной стороны, контекстуальные обстоятельственные показатели (в высказываниях типа *Я читал по вечерам; Я читал это дважды*), а с другой (при выражении реляционного значения) — принадлежность глагола к определенному лексическому классу. Из разнородности среды при семантической немаркированности формы НСВ вытекает неоднородность значений, выражаемых с ее участием.

Иногда разнородность частных значений НСВ расценивается как недостаток их описания, их классификации. В действительности же, если учесть рассматриваемое соотношение элементов системы (при семантической немаркированности формы НСВ) и разнородных элементов среды, то становится ясным, что классификация этих значений и не может иметь иной характер, т. е. в полной мере соответствовать логическим критериям однородности, последовательности и т. п. Речь идет о типичном примере естественной классификации.

Интегрирующее воздействие категориального значения грамматической формы при функционировании НСВ выражено слабее, чем в сфере СВ, поскольку форма НСВ не обладает постоянным положительным признаком.

Если система частных значений СВ имеет компактную моноцентрическую структуру, то система частных значений НСВ отличается структурой диффузной, слабо централизованной. Диффузность «семантического пространства» НСВ находит также проявление в сильно выраженной (во всяком случае по сравнению с СВ) нечеткости границ между отдельными значениями, в их пересечениях.

Можно говорить об определенной иерархии частных значений НСВ, однако эта иерархия не имеет четко выраженного характера, не может быть признана однозначной и абсолютной. Признаки, на основании которых те или иные значения могут быть отнесены к числу основных, разнородны.

Конкретно-процессное значение, скорее всего, следует признать основным. Данное значение характеризуется свойством наибольшей специфичности. Признаки НЕЦЕЛОСТН. и НЕОГР, на которых оно базируется, противоположны признакам ЦЕЛОСТИ, и ОГР., присущим формам СВ. Конкретно-процессное значение противопоставлено основному значению СВ.— конкретно-фактическому. Конкуренция этих значений невозможна. Вместе с тем реализация конкретно-процессного значения ограничена рядом условий. Для этого необходимы следующие элементы среды: а) лексическое значение глагола, способное сочетаться с выражением действия в процессе его протекания (ср., например, глаголы типа *ловить, лукавить, малодушествовать, ротодействовать* и т. п., не выражающие конкретной временной локализованности [40]); б) способ действия, совместимый с конкретной процессностью (ср. такие способы действия, как многократный — *сжигал, хаживал, певал* и т. п., не способные выступать в конкретно-процессном значении); в) ситуация наблюдаемости (перцептивности) [2, с. 132—135]; г) установка высказывания на изображение ситуации в ее развитии (а не на информацию о факте или обозначение постоянных отношений и т. п.).

Одну из верхних ступеней в рассматриваемой иерархии занимает неограниченно-кратное значение (речь может идти о «втором месте» в комплексе двух основных значений). Такая характеристика базируется, с одной стороны, на признаке высокой регулярности, а с другой — свободной сочетаемости с глаголами разных лексических классов (ср. замечания В. С. Храковского, который выдвигает данное значение на первое место в аспектуальной иерархии [41], солидаризируясь в этом отношении с Е. Филатовой-Хелльберг и Б. Панцером).

Третьим в данной иерархии, на наш взгляд, является обобщенно-фактическое значение, которое, вероятно, можно рассматривать как относящееся к переходной зоне между центром семантической сферы НСВ и периферией (можно говорить и о «ближней периферии»). Данное значение отличается специфичностью особого рода: в нем наиболее полно представлены имплицативные способности НСВ по отношению к признакам ЦЕЛОСТИ, и ОГР. (речь идет о той разновидности, которую мы называем забытийной; ср. конкуренцию видов типа *Я уже завтракал I позавтракал*). Если конкретно-процессное значение основано на системном отношении «ЦЕЛОСТИ.-», «ОГР.-» (или, что то же самое, «НЕЦЕЛОСТН.+». «НЕОГР.+»), то обобщенно-фактическое значение базируется на отношении «ЦЕЛОСТИ.+ / -», «ОГР.+ / -» (подробнее см. [2, с. 160—189]).

Другие частные значения НСВ характеризуются более четкими признаками периферийности, однако резкой грани между центральной и периферийной зонами, а также между ближней и дальней периферией нет. В частности, с обобщенно-назывной разновидностью обобщенно-фактического значения (*Пришлось возвращаться; Пора уходить; Не знаю, что и отвечать; Соглашаться или нет?* [2, с. 170—175]) пересекается нейтральное («неквалифицированное») значение: *Придется ехать на новое место; Противник был вынужден откатываться назад* и т. п. Нейтральное («неквалифицированное») значение [там же, с. 116, 140, 148, 174, 178], которое ранее не выделялось, нуждается в специальном исследовании и обосновании (представленная выше трактовка соотношения центральных и периферийных частных значений НСВ в их отношении к частным значениям СВ во всем основном согласуется с истолкованием системы частных видовых значений и типов противопоставлений СВ и НСВ, убедительно обоснованным Ю. С. Масловым [21, с. 70—84]).

Между отдельными значениями НСВ возможны отношения частичной («фрагментарной») производности, сочетающиеся с частичной самостоятельностью. Постоянной является лишь зависимость всех частных значений НСВ от семантической немаркированности данной формы.

Поясним наше понимание производности. Имеются в виду те случаи, когда в данном частном значении прослеживается его зависимость от другого значения, которое рассматривается как исходное, причем зависимость заключается в том, что элементы исходного значения сохраняются (хотя и в преобразованном виде) в значении производном, выступая как его основа (ср. иное истолкование производности в сфере частных значений НСВ, предложенное в интересной статье Е. В. Падучевой [42]).

Проявления ограниченной производности таковы.

1. Неограниченно-кратное значение НСВ в части случаев может рассматриваться как производное от конкретно-процессного значения. Кратность (узуальность) обозначаемой ситуации не устраняет процессности действия, поддерживаемой лексическим значением глагола и контекстом. Таким образом, передается кратность на процессной основе (*Каждый день он медленно поднимался по лестнице...*). Однако в других случаях связь с процессностью отсутствует. Это возможно как в тех условиях, когда данный глагол вообще не выступает в процессном употреблении (*Я часто замечал...*), так и при способности глагола выражать конкретно-процессное значение (*Обычно дети легко решали все предложенные задачи*). В высказываниях обоих типов итеративная ситуация производна от такой неитеративной ситуации, которая выражается с участием глагола СВ в конкретно-фактическом значении (ср. *Дети легко решили...; Я заметил...*).

2. Ограниченно-кратное значение в одних случаях может рассматриваться как производное от конкретно-процессного значения (*Я сегодня трижды поднимался по этой лестнице*), в других же — от обобщенно-фактического (*Его дважды предупредили*) — все зависит от лексического значения глагола и от контекста.

3. Потенциально качественное значение НСВ может быть истолковано как производное от значения неограниченно-кратного: в случаях типа *Стрелок был сумасшедший — пулеметом распиливал бревно, как пилой* (П. Павленко. Долг) обозначается неограниченная кратность, осложненная модальным элементом способности и элементом качественной характеристики субъекта. В высказываниях типа *Она вяжет, шьет, играет на гитаре* основой качественной характеристики субъекта также является

повторяемость и обычность обозначаемых действий.

Проявления семантической производности в сфере НСВ по своей фрагментарности, непоследовательности и множественности существенно отличаются от однонаправленной и однозначной производности всех вторичных частных значений СВ от первичного — конкретно-фактического. Эти различия в системно-структурной организации частных значений СВ и НСВ обусловлены различием маркированности / немаркированности и связанными с ним разными типами взаимодействия системного значения формы и окружающей среды.

Частные значения НСВ, о которых идет речь в аспектологических исследованиях, вряд ли исчерпывают всю семантическую зону НСВ. Кроме того, частные видовые значения в традиционном понимании не исключают других возможных членений видовой семантики. Так, может быть поставлен вопрос об особой группировке «импликативных» значений, связанных с немаркированностью НСВ. К этой группировке можно отнести 1) те разновидности обобщенно-фактического, неограниченно-кратного и ограниченно-кратного употребления НСВ, которые сопряжены с импликацией признаков ЦЕЛОСТИ, и ОГР. (ср. приведенные выше примеры типа *Ему уже (дважды) докладывали об этом; Он легко решил такие задачи*); 2) все типы употребления НСВ, в которых представлена импликация признаков, эксплицитно выражаемых формами СВ, в сочетании с некоторыми признаками НСВ (что позволяет в принципе ставить вопрос о полной или частичной нейтрализации видового противопоставления в некоторых «позициях» [43, с. 226—234]). Речь идет, в частности, о «несобственной несовершенности» (по выражению Э. Кошмидера [44]) в настоящем историческом (*Вдруг он вскакивает...*) и сценическом (*Входит Н.*). Ср. также «настоящее эмоциональной актуализации», например: *Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю... Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства*⁶. *Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю* (А. С. Пушкин. Дневники) и настоящее время намеченного действия в случаях типа *Завтра я уезжаю* (ср. анализ высказываний типа *Скоро я совсем бросаю курить* в [45]). В двух последних типах употребления форм настоящего времени «презентная импликативность» пересекается с той разновидностью обобщенно-фактического значения, которую М. Я. Гловинская называет общефактическим результативным [25, с. 116—144]. «Презентно-импликативное» употребление НСВ вряд ли может рассматриваться как одно из частных значений НСВ. Скорее речь может идти об особом измерении видовой семантики, возникающем при членении семантической сферы НСВ на «собственную» и «несобственную» несовершенство.

Выскажем некоторые замечания об отношении частных значений СВ и НСВ к различию локализованности / нелокализованности действия во времени (Л / НЛ).

Категориальные (общие) и частные значения обоих видов активно взаимодействуют с семантикой Л / НЛ. Это взаимодействие по-разному осуществляется в сферах СВ и НСВ, что опять-таки определяется свойствами семантической маркированности / немаркированности.

Основное (конкретно-фактическое) значение СВ представляет собой результат взаимодействия системных признаков ЦЕЛОСТИ, и ОГР. с исходящим от окружающей среды признаком Л. Этот признак настолько типичен для окружения формы СВ при ее функционировании, что он отчасти как бы сростается с самой формой и может восприниматься как ее

постоянное системное свойство. Однако, на наш взгляд, признак Л все же следует признать скорее высокочастотным, чем постоянным.

Существует точка зрения, согласно которой признак Л рассматривается как один из признаков значения или функции формы СВ. Таково, например, защищаемое Г. Мелигом истолкование признака АКТУАЛИТАТ — «актуальность» (в основном соответствующего признаку Л в нашем понимании) как одной из грамматических функций СВ, наряду с признаком TOTALITAT — «целостность» [46]. Мы предпочитаем отнести признак Л к основному значению СВ, но не к значению категориальному. На общекатегориальном уровне существенна вероятностная характеристика сочетаемости СВ преимущественно с признаком Л, но не с противоположным признаком НЛ (ср. используемое нами обозначение «СВ: Л + / (-); НСВ: Л + / —», где «+ / (-)» — «возможность невыражения данного признака является ограниченной» [43, с. 13–16]; впрочем, это явно дискуссионный вопрос, который может иметь разные решения).

Для НСВ характерна сочетаемость как с локализованностью, так и с нелокализованностью действия (и ситуации в целом) во времени («Л + + / —; НЛ + / —», ср.:— *Что это ты там делаешь?* (Л) и — *Ты всегда так делаешь!* (НЛ)). Разумеется, это лишь общая характеристика потенциальных возможностей функционирования данной формы, которая существенно дифференцируется на уровне анализа отдельных лексических классов глаголов и отдельных способов действия.

Интерпретационная доминанта видовых значений

В видовых значениях, как уже было отмечено выше, преобладает интерпретационный компонент, хотя в них представлен и компонент отразительный (ср., например, конкретно-процессное значение НСВ). Далее мы сосредоточим основное внимание на интерпретационной стороне семантики вида.

Тезис о преимущественно интерпретационном характере значений видовых форм, в частности формы СВ, становится особенно очевидным при сопоставлении с тем подходом к видовой семантике, который представляет собой своего рода контраст по отношению к «интерпретационной концепции вида». Примечательна в данном отношении точка зрения польского аспектолога А. Богуславского. Критикуя «довольно загадочное понятие неделимой целостности действия», он пишет, что это понятие «не только туманно, но и неверно постольку, поскольку оно предполагает отсутствие фаз, этапов действия» [47]. По этому поводу можно сказать следующее. Разумеется, в реальной действительности каждое действие имеет начало, середину и конец, однако не следует забывать о том, что мы изучаем не реальные действия, а их представление (интерпретацию) в языковых значениях. Эта интерпретация отнюдь не является прямым и непосредственным отражением всех свойств реальных действий. «Взгляд на действие», зафиксированный в категориальном значении видовой формы, не совпадает и не должен совпадать со всеми признаками действий во внеязыковом мире. Сошлемся на другие факты аналогичного характера. Всякое реальное действие характеризуется той или иной длительностью. Тем не менее формы обоих видов в их языковом значении далеко не всегда содержат отношение к данному семантическому признаку. Действие может быть представлено безотносительно к его длительности. Ср. НСВ: — *Клянусь...*; — *Меня вызывали!* и т. п., СВ: *Он сказал, что придет; Его вызвали* и т. п.

Особенно четко интерпретационная доминанта видовой семантики выступает при так называемой «конкуренции видов», когда различия видовых значений выступают как различия в оттенках представления характера протекания действия во времени при сохранении одного и того же смысла высказывания. Ср. соотношение конкретно-фактического значения СВ и обобщенно-фактического значения НСВ в следующем примере:— *Предлагала — не приказывают.— вздохнула она. — Правда, предложила? — спросила Маша...* (К. Симонов. Софья Леонидовна).

Разумеется, замена одного вида другим возможна далеко не всегда. В большинстве случаев такая замена влечет за собой либо изменение смысла высказывания (ср. в приведенном выше примере появление смысла повторяемости ситуации при употреблении форм НСВ *вздыхала* и *спрашивала*), либо нарушение существующих норм (так, нельзя сказать **Он долго поднялся*). Однако во всех случаях содержание видовых различий — это определенная интерпретация характера протекания действия в его отношении к признакам ЦЕЛОСТИ, и ОГР., обусловленная спецификой грамматической системы русского языка (и других славянских языков), требующей в каждом акте употребления глаголов обязательного выражения значения либо одного, либо другого вида. Не существует абсолютных и прямых соответствий между объективными свойствами внеязыковых действий и глагольным видом (хотя частичные и опосредствованные связи существуют). Именно в этом смысле мы говорим об интерпретационной доминанте семантики вида.

Облигаторность распределения содержания любого глагольного предиката по интерпретационным значениям СВ и НСВ (в условиях аспектуальной избыточности, усиливаемой связями вида с множеством способов действия) обуславливает сильно выраженную неуниверсальность русской (и шире — славянской) видовой системы. Отдельные значения могут проявлять общность с аспектуальной семантикой в других языках, но видовая система как целое не универсальна.

Грамматические значения с интерпретационной доминантой не однородны. В частности, существенны различия по «степени формальности». Могут быть выделены значения, характеризующиеся высокой степенью формальности. Таково, например, значение предметности, или субстанциональности, присущее всем именам существительным (не только таким, как *лампа, дом* и т. п., но и таким, как *бег, сон, белизна*). Оно заключается в интерпретации обозначаемого как отдельной субстанции, самостоятельного «предмета мысли» — носителя признаков [18, с. 62—80]. С другой стороны, существуют интерпретационные значения высокой степени мотивированности и «смысловой ясности». Ср., в частности, переносные значения типа настоящего исторического или настоящего воображаемого действия. Видовые значения, по-видимому, занимают промежуточное положение между крайними проявлениями степени формальности — максимальной и минимальной. Системные значения СВ и НСВ имеют отвлеченно-формальный характер, но формальность ослабляется в частных видовых значениях — более «простых», «прозрачных» и «доступных» благодаря воздействию контекста (и среды в целом).

Говоря об интерпретационной доминанте видовых значений, мы подразумеваем ту языковую семантическую интерпретацию, которая заложена в данной форме как результат исторического развития той грамматической подсистемы, в которую она включена. Высокая степень абстрактности и формальности различительных признаков, лежащих в основе

видового противопоставления, не препятствует функционированию данной грамматической подсистемы (напротив, может быть, благодаря этому создаются необходимые условия для многообразных вариаций ее взаимодействия со средой). Возможно, именно высокая степень абстрактности категориальных видовых значений создает необходимые предпосылки для их существования как подлинно инвариантных, «общих значений» (ср. иную точку зрения, согласно которой следует вовсе отказаться от понятия «семантическое содержание видовой характеристики» [48]).

Видовые значения, обогащенные воздействием внутрилексемной и внелексемной среды, включаются в содержание высказывания, однако сами по себе они не включают в себе такого словесного содержания, которое постоянно и регулярно осознавалось бы говорящими как мотивированный элемент речевого смысла. «Осознание» возможно, но для этого необходимы особо благоприятные условия внутрилексемной и внелексемной среды. Ср., например, высказывания типа *Объяснял, да не объяснил*. Значение ограниченности действия пределом получает здесь четко выраженный «выход в смысл» в условиях контраста глагола общезначительного способа действия *объяснил* с предшествующей формой НСВ, передающей направленность на достижение результата. Выражается недостижимый результат. В такой конкретной реализации значение СВ вполне может быть осознано говорящим и слушающим как один из существенных элементов речевого смысла (ср. — *Ты сдавал экзамен? — Сдавал, да не сдал*). Очевидно, однако, что такая осознаемость видового значения возможна далеко не всегда.

Причины «трудной осознаемости» грамматических значений могут быть различными. В отношении вида это прежде всего «всеобщность» видовой оппозиции, ее распространение на все глаголы и глагольные формы, а также связанная с этим далеко идущая избыточность категории вида. То или иное видовое значение, облигаторно выражаемое в каждом акте употребления глагола, далеко не всегда необходимо и обязательно для передаваемого речевого смысла.

Справедлива констатация того факта, что в предложении видовое значение может быть настолько тесно сплавленным с контекстуальными значениями, что уже не выступает в «оригинальной форме» [49, с. 150—151]. Как замечает В. Леманн, мотивацией к употреблению СВ в случаях типа *Петров придет* является не целостность (*Ganzheitlichkeit*), а скорее «будущее» и «однократность», «...но никто не скажет, что будущее — это значение СВ» [там же].

Необходимо проводить различие между двумя сущностями: 1) системным значением грамматической формы вида (которое в одних случаях может осознаваться говорящим как элемент смысловой цели и мотивации высказывания, а в других не осознается и не мотивируется, но во всех случаях сохраняет свойства системных значений, вступающих во взаимодействие со средой) и 2) смысловой целью и смысловой мотивацией употребления данной видовой формы: для чего и почему она употребляется (это может быть связано не со значением видов непосредственно, а с другими категориями и функциями, взаимодействующими с видом, а также со сложными правилами, обусловленными облигаторностью данной категории) *.

* Автор выражает искреннюю благодарность Т. Г. Акимовой, Н. А. Козинцевой и В. М. Павлову за полезные замечания, высказанные при обсуждении этой статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бондарко А. В.* Теория морфологических категорий. Л., 1976. С. 47—50.
2. *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
3. *Бондарко А. В.* Временная локализованность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 210—233.
4. *Степанов Ю. С.* Вид, залог, переходность (Балто-славянская проблема. I) // ИАН СЛЯ. 1976. № 5.
5. *Степанов Ю. С.* Вид, залог, переходность (Балто-славянская проблема. II) // ИАН СЛЯ. 1977. № 2.
6. *Пульнин Ю. А.* Взаимосвязи категорий вида и залога в русском языке при функционировании форм несовершенного вида в пассивных конструкциях // Теория грамматического значения и аспектологические исследования. Л., 1984.
7. *Храковский В. С.* Императивные формы НСВ и СВ в русском языке и их употребление // Russian linguistics. 1988. № 12.
8. *Rathmayr R.* Aspektkonkurrenz in modalen Kontexten // Slavistische Beiträge. Bd 113. Munchen, 1977.
9. *Lehmann V.* Kontextuelle Aspekt- und Tempussemantik im Russischen // Slavistische Beiträge. Bd 138. Munchen, 1980.
10. The scope of Slavic aspect / Ed. by Flier M. S., Timberlake A. Ohio, 1985.
11. *Birkenmaier W.* Aspekt, Aktionsart und nominale Determination im Russischen // ZSIPh. 1977. Bd 29.
12. *Salnikov N.* Funktionale Satzperspektive und Verbalaspekt im Russischen // Zielsprache Russisch. 1980. Hf. 3.
13. *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978. С. 128—170.
14. *Маслов Ю. С.* Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (Значение и употребление) // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.
15. *Dahl O.* Tense and aspect systems. Oxford; New York, 1985. P. 76.
16. *Размусен Л. П.* О глагольных временах и об отношении их к видам в русском, немецком и французском языках // ЖМНП. 1891. Т. 275.
17. *Comrie B.* Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge, 1976. P. 3.
18. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956.
19. *Бондарко А. В.* Содержание и типы аспектуальных отношений // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
20. *Исаченко А. В.* Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Ч. II: Морфология. Братислава, 1960. С. 131—133.
21. *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л., 1984.
22. *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 472.
23. *Фортунатов Ф. Ф.* Сравнительное языковедение // Фортунатов Ф. Ф. Избр. труды. Т. 1. М., 1956. С. 161.
24. *Тимберлейк А.* Инвариантность и синтаксические свойства вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985. С. 266—267, 284—285.
25. *Гловинская М. Я.* Семантические типы видового противопоставления русского глагола. М., 1982.
26. *Бондарко А. В.* Семантика предела // ВЯ. 1986. № 1. С. 17—18.
27. *Барентсен А. А.* Наблюдения над формированием союза *noка* // Dutch contributions to the VIII International congress of slavists. The Hague, 1978. P. 97.
28. *Breu W.* Zum kontrastiven Vergleich des Verbalaspekts im Englischen und Russischen // Probleme der Russischen Gegenwartssprache und -Literatur in Forschung und Lehre: Materialien des Internationalen MAPRJAL-Symposiums. Marburg. 8—10 Oktober 1985. Hamburg, 1985. S. 27.
29. *Гуревич В. В.* О значениях глагольного вида в русском языке // РЯШ. 1971. № 5. С. 73—79.
30. *Бондарко А. В.* Функциональная грамматика. Л., 1984.
31. *Giraud-Weber M.* L'aspect du verbe russe (Essais de presentation). P., 1988. P. 66.
32. *Wierzbicka A.* On the semantics of the verbal aspect in Polish // To honor Roman Jakobson. V. 3. The Hague; Paris, 1967. P. 2232—2234.
33. *Бондарко А. В.* Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды // ВЯ. 1985. № 1. С. 14.
34. *Булыгина Т. В.* Классы предикатов и аспектуальная характеристика высказы-

- вания//Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983. С. 303—316.
35. Бульгина Т. В., Шмелев А. Д. Ментальные предикаты в аспекте аспектологии// Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989. С. 31—54.
 36. Шелякин М. А. Категория вида и способа действия (теоретические основы). Таллинн, 1983.
 37. Guillaume G. Immanence et transcendence dans la categorie du verbe // Guillaume G. Langage et science du langage. 3-e ed. P., 1973. P. 47—48.
 38. Coseriu E. Aspect verbal ou aspects verbaux? Quelques questions de tbiorie et de methode// Recherches linguistiques. Etudes publiees par le Centre d'analyse syntaxique de l'Universite de Metz. V. P., 1980. P. 13—23.
 39. Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 19.
 40. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982. С. 345—346.
 41. Храковский В. С. Кратность//Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 145—146.
 42. Падучева Е. В. Семантика вида и точка отсчета (В поисках инварианта видового значения)// ИАН СЛЯ. 1986. № 5. С. 414, 423.
 43. Бондарко А. В. Вид и время русского глагола (значение и употребление). М., 1971.
 44. Koschmieder E. Aspektologie des Polnischen. Neuried, 1987. S. 83—98.
 45. Гловинская М. Я. Семантика, прагматика и стилистика видовременных форм // Грамматические исследования: Функционально-стилистический аспект. Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика. М., 1989. С. 88.
 46. Mehlig H. R. Linguistische und didaktische Oberlegungen zum Verbalaspekt im Russischen//Zielsprache Russisch. 1980. Hf. 1. S. 1—3.
 47. Богуславский А. К вопросу о семантической стороне глагольных видов // Z polskich studiow slawistycznych. Ser. 4: Językoznawstwo. Warszawa, 1972. S. 232.
 48. Милославский И. Г. К определению основных понятий аспектологии // ИАН СЛЯ. 1987. № 4. С. 329.
 49. Lehmann V. Satzsemantische oder verarbeitungssemaatische Aspektbeschreibung. // Slavistische Beitrage. 1986. Bd 200.

© 1990 г.

ЛЕВИЦКИЙ Ю. А.

О ЛОГИЧЕСКИХ АНАЛОГАХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯ И ПОДЧИНЕНИЯ

В синтаксической системе языка сочинение соотносится с подчинением. Логическое подчинение, с которым обычно связывают грамматическое подчинение, подобного коррелята не имеет. Определения сочинения в логике не проводится. Это дало повод французскому исследователю Ж. Антуану, автору двухтомного труда «Сочинение во французском языке», утверждать, что с точки зрения логики несомненным представляется лишь подчинение предложений, т. е. зависимость одного предложения от другого. Отношения же сочинения не существует [1].

В данной работе предпринимается попытка выяснить, имеет ли место прямое соответствие между грамматическими и логическими подчинением и сочинением, а если нет, то в чем заключается логическая сущность подчинения и сочинения. Необходимость этого определяется тем, что «когда какое-либо положение лингвистики, одноименное с логическим или параллельное ему, все же отличается от него, целесообразно уточнить его и максимально приблизить к логическому» [2].

В формальной логике подчинение достаточно четко определено: это «такое отношение между понятиями, когда объем одного понятия, называемого подчиненным понятием, входит в объем другого понятия, называемого подчиняющим понятием» [3]. Иными словами, отношение подчинения — это родо-видовое отношение (объем подчиненного понятия составляет часть объема подчиняющего понятия). В качестве примера можно предложить следующий ряд понятий: «четыреугольник» (А) — «прямоугольник» (В) — «квадрат» (С). Схематически это можно представить двумя способами (рис. 1). Таким образом, логическое подчинение может быть интерпретировано как последовательное отношение включения (включение), т. е. прямое, непосредственное отношение между А, В и С, причем направление этого отношения задано вполне однозначно.

Сочинение, обычно противопоставляемое подчинению, никоим образом не является чем-то прямо противоположным ему. Если бы это было так, не было бы стольких трудностей в разграничении этих связей.

С точки зрения логики сочинение может быть представлено как соподчинение [4], т. е. не прямое, опосредованное отношение между двумя понятиями. Эта опосредованность отношения обусловлена тем, что два понятия, порознь подчиненные некоторому третьему понятию, могут оказаться ничем не связанными друг с другом (по крайней мере — непосредственно) (рис. 2). В этом плане сочинение представляет собой параллельное включение (включение) объемов двух понятий в объем третьего. Так, понятия «сахар» и «снег» логически ничем между собой не связаны. Эта связь может выявиться лишь в том случае, когда они

будут рассматриваться как подчиненные понятию «белые предметы» [4, с. 30—31]. При этом сумма объемов входящих (включаемых) понятий может быть либо меньше объема подчиняющего (включающего), либо совпадать с ним, если в нем выделяются всего два соподчиненных понятия, исчерпывающих его объем.

Иначе говоря, для двух понятий, представляемых как сочиненные, всегда можно найти третье понятие, которому они будут соподчинены: «сущность сочинения в равном отношении двух мыслей, как независимых частей, к одному обнимаемому ими целому» [5]. Если соотнести в приведенном примере «белые предметы» с А, то понятиям «сахар» и «снег» будут

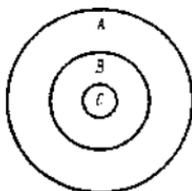


Рис. 1а

Рис. 1б

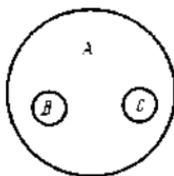


Рис. 2а



Рис. 2б

соответствовать В и С. На рис. 2 это вполне очевидно. Очевидно и отношение подчинения между понятиями «белые предметы» и «сахар», с одной стороны, и «белые предметы» и «снег» — с другой. Каждая из этих пар будет соответствовать схеме на рис. 1.

Гораздо менее очевидным предстает отношение между понятиями «сахар» и «снег» вне схем на рис. 2: отсутствие формального указания на какую-либо связь между ними может привести к тому, что эта связь останется за пределами нашего внимания и понимания. Именно поэтому и существует мнение, что сочинительная связь не имеет никакой логической интерпретации.

Итак, при подчинении имеется в виду отношение между включаемым и включающим понятиями, при сочинении — отношение между включающим и двумя (или более) включаемыми. Таким образом, оба вида отношений в этом плане представляют собой парадигматические отношения.

При сочинении между двумя понятиями устанавливается отношение некоторой эквивалентности, сходства: «соподчиненные члены должны объединяться мыслью как ...сходные в чем-либо между собой [6, с. 442] (разрядка моя.— Л. Ю.). Эта эквивалентность обуслов-

лена тем, что понятия В и С одинаково входят (включены) в одно и то же общее понятие А, одинаково ему подчинены. О некоторой же эквивалентности можно говорить потому, что В \neq С, между ними имеются определенные различия, благодаря которым они и представляют собой два разных понятия, а не одно.

Если при подчинении (см. рис. 1) отношения между А и В, с одной стороны, и между В и С — с другой, в общем однородны, то при сочинении однородными оказываются отношения между А и В, с одной стороны, и между А и С — с другой (см. рис. 2). Это различие можно было бы интерпретировать в терминах оппозиций: при подчинении А и В (так же, как В и С) находятся в отношении привативной оппозиции, при сочинении В и С находятся в отношении эквивалентной оппозиции.

В грамматике отношения, аналогичные рассмотренным, обнаруживаются, например, в морфологии — в разделе о грамматических классах слов. Здесь все слова распределяются между несколькими классами, каждый из которых содержит ряд последовательно и параллельно включенных подклассов. Так, например, классу «существительные» соподчинены подклассы «имена собственные» и «имена нарицательные», а последнему — (под)подклассы «имена исчисляемые» и «имена неисчисляемые»; классу «прилагательные» соподчинены подклассы «качественные прилагательные» и «относительные прилагательные» и т. п.

Следовательно, в морфологии мы имеем дело с отношениями подчинения и сочинения (соподчинения) классов и подклассов, аналогичными рассмотренным. Основное отличие морфологического сочинения и подчинения заключается в том, что каждый грамматический класс имеет свою систему грамматических форм, специфичных для данного класса. Кроме того, в отличие от логических понятий, грамматические классы слов являются функциональными классами. Каждый из них предназначен выполнять определенную роль (функцию) в построении высказываний. В соответствии с этим все исходные грамматические классы слов (части речи) оказываются уже «по природе» неравноправными. Все основные классы слов (существительные, прилагательные, наречия, глаголы) можно разделить в соответствии со степенью их самостоятельности на абсолютно определяемые и определяющие. К абсолютно определяемым принадлежат существительные, глаголы и прилагательные относятся к определяющим существительные (первый ранг зависимости), наречия — к определяющим глаголы и прилагательные (второй ранг зависимости) [7].

Здесь мы уже переходим в область синтаксиса, предметом которого, как известно, является сочетаемость слов и предложений. Сочетания слов образуют словосочетания, среди которых различаются сочинительные и подчинительные. Как же соотносятся логические и синтаксические сочинение и подчинение?

Если рассматривать общую структуру словосочетания, отношение его компонентов к самому словосочетанию как целостной единице, то, независимо от типа словосочетания, оно может быть представлено схемой сочинительного вхождения (рис. 26), где целому словосочетанию будет соответствовать А, а его компонентам — В и С: ((Петя) и (Мама)), ((интересная) (книга)). Таким образом, с позиции логики все словосочетания будут соответствовать логическому сочинению, поскольку в любом случае компоненты словосочетания входят (включены) в его состав. Однако будучи одинаково соотношенными с общим целым А, компоненты В и

С могут быть по-разному соотносены друг с другом в зависимости от того, к какому классу слов относится каждое из них и какое грамматическое оформление они имеют.

Иначе говоря, в рамках словосочетания существует два типа отношений: 1) отношение вхождения компонентов В и С в состав целого А (логическое сочинение = соподчинение); 2) отношение либо формального равноправия (грамматическое сочинение) между В и С, либо формальной и смысловой зависимости С от В или В от С (грамматическое подчинение).

Следовательно, грамматическое сочинение оказывается подобным логическому, причем не только в чисто структурном плане (компоненты входят в одну целостную единицу), но и в содержательном (оба компонента входят в один общий семантический класс, в одно обобщающее понятие). Однако несмотря на одинаковое отношение к этому обобщающему понятию, компоненты сочинительных словосочетаний, как уже отмечалось, не полностью эквивалентны друг другу. В их взаимоотношениях проявляется некоторая скрытая иерархия, которая заключается в том, что большая часть сочинительных словосочетаний оказывается необратимой. Эта необратимость обусловлена не системными отношениями, а скорее языковым узусом [8, 9]. При употреблении многих словосочетаний срабатывает «принцип приоритета» [10], благодаря чему устанавливается определенный порядок компонентов словосочетания. Ср., например, *отцы и дети, человек и закон, прошлое и настоящее* и т. п.

С подчинением дело обстоит иначе. Если в Шюле первого отношения (вхождение компонентов в состав целостной единицы) подчинительные словосочетания не отличаются от сочинительных, то в плане второго отношения компоненты словосочетания оказываются неравноправными (неоднородными).

Специфика подчинения и сочинения, выявленная на примере словосочетаний, сохраняется и в рамках сложного предложения, где отношения между целостной единицей (сложным предложением) и ее компонентами, а также и между самими компонентами аналогичны рассмотренным. При этом небезыntenесно отметить, что В. Брэндалл рассматривает придаточное предложение как подчиненное не главному предложению, а всему синтаксическому целому [И].

Таким образом, логическим сочинению и подчинению в языке соответствуют парадигматические отношения. Языковые же (грамматические) сочинение и подчинение представляют собой синтагматические отношения.

Синтагматические аспекты сочинения и подчинения предполагают рассмотрение характера сочетаемости компонентов и порядка их следования. Для подчинения, как известно, типична сочетаемость компонентов разных классов, разных рангов: *интересная книга* (прилагательное-существительное), *читать книгу* (глагол-существительное), *читать вслух* (глагол-наречие). Для сочинения типична сочетаемость компонентов одного класса, одного ранга: *Летя и Маша* (существительное-существительное), *большой и сильный* (прилагательное-прилагательное), *читать и писать* (глагол-глагол), *медленно, но верно* (наречие-наречие). Чтобы рассмотреть вопрос о порядке следования компонентов, необходимо прежде остановиться на различии между связью и отношением.

При логическом подчинении, как уже отмечалось, имеет место непосредственная зависимость одного понятия от другого. При логическом сочинении имеется не выраженное явно подчинение двух элементов третьему. Если в первом случае устанавливается вполне определенное

отношение между элементами А и В (рис. 1), то во втором — лишь указывается на наличие некоторой связи между двумя элементами В и С (рис. 2) без специального уточнения ее характера, причем как В, так и С находятся в одном и том же отношении к А. При этом следует учесть, что логическое соподчинение двух элементов третьему вовсе необязательно получает какую-либо языковую форму выражения, что еще более затрудняет установление факта их общности, соподчиненности, выявление объединяющего их общего третьего элемента (особенно при сочинении предложений).

Таким образом, представляется целесообразным различать понятия связи и отношения, подразумевая под первым простое указание на то, что два понятия или события находятся в некоторой зависимости друг от друга без дальнейшей конкретизации ее характера; под вторым подразумевается вполне определенный вид зависимости, в нашем случае — грамматической. Следовательно, понятие связи оказывается более общим, а отношения — частным. Отношение — это определенный вид связи.

Что касается логических связей, то к ним относятся конъюнкция («имеет место А, и имеет место В»), дизъюнкция («имеет место А, или имеет место В») и импликация («если имеет место А, то имеет место В»). Первые две связи являются обратимыми: $A \& B = B \& A$; $A \vee B = B \vee A$. В отличие от них импликация не может быть просто обратной — с переменной порядка членов должно быть изменено и направление связи: $A \rightarrow B = B \leftarrow A$. Иначе говоря, импликация представляет собой **н а п р а в л е н н у ю** связь в отличие от ненаправленных конъюнкции и дизъюнкции.

Различие между ненаправленной и направленной связью может быть пояснено путем раскрытия смысла импликации, путем выражения ее через другие связи. Это можно сделать, выразив, например, импликацию через дизъюнкцию и отрицание [3]: $A \rightarrow B = A \vee \bar{B}$. Поскольку при дизъюнкции порядок членов обратим, полученное соотношение может быть представлено так: $A \vee B = B \vee A$.

Очевидно, что такое обращение равносильно обращению исходной импликации. Следовательно, знак импликации (точнее — его направленность) определенным образом связан со свойствами одного из ее членов (А), и специфика импликации заключается в том, что здесь происходит своего рода отчуждение некоторых свойств от А (в данном случае — отрицания) и включение этих свойств в знак связи. Последний, включая в себя определенные свойства одного из компонентов, становится «привязанным» к этому компоненту, приобретает дополнительное значение — значение направленности — и превращается в знак направленной связи или отношения. В этом, на наш взгляд, заключается принципиальное отличие импликации от конъюнкции и дизъюнкции.

Таким образом, отношение в отличие от связи (ненаправленной) можно интерпретировать как направленную связь.

Конъюнкция и дизъюнкция выражаются в языке обычно при помощи сочинительных союзов: *Петя читает, и Маша читает; Петя читает, а Маша пишет; Петя читает, или Маша читает*. Что же касается разного рода отношений (временных, причинно-следственных и т. п.), которые выражаются при помощи подчинительных союзов, то их общее содержание в принципе не отличается от содержания импликации: «имеет место А, и имеет место В, причем так, что А всегда предшествует В, а В всегда следует за А». Иначе говоря, импликация прежде всего должна быть связана с подчинительными союзами как способами выражения, т. е. с подчи-

нением вообще: *Когда вы придете, я передам вам эту книгу; Если вы придете, я передам вам эту книгу* и т. п.

Как известно, имеются случаи, когда трудно установить различие между сочинением и подчинением — при наличии так называемого необратимого сочинения. Это происходит потому, что действительные события могут быть как одновременными, так и разновременными. В первом случае связи оказываются обратимыми, поскольку не имеют определенного направления: *Петя читает, и Машиа читает = Маша читает, и Петя читает; Петя читает, а Маша пишет = Маша пишет, а Петя читает; Петя читает, или Маша читает = Маша читает, или Петя читает*. При разновременности событий связь не может быть обратимой именно в силу ее направленности — ее нельзя направить «против течения» (в данном случае — течения времени); *Занавес опустился, и зрители вышли из зала ф. Зрители вышли из зала, и занавес опустился* (союз *и* — знак ненаправленной связи).

Отношение между событиями, как уже указывалось, представляет собой направленную связь, т. е. само отношение указывает определенное направление связи. Поэтому обращение цепи событий оказывается возможным, но только с изменением (обращением) отношения, его знака, тогда для А и В оно остается неизменным: *Он пришел до того, как я закончил работу = Я закончил работу после того, как он пришел*.

Конъюнкция и дизъюнкция представляют собой связи, а не отношения. Связываться могут самые разнообразные события, как параллельные, так и последовательные. Для логики этот момент безразличен, ибо главное здесь — истинность связи. Относительно имплицитного дела обстоит иначе. Когда отношение получает специальную языковую форму выражения, тогда порядок следования компонентов становится безразличным в силу того, что сам знак отношения показывает, который из компонентов является предыдущим, а который — последующим или, в языковой форме выражения, — который из компонентов является главным (подчиняющим), а который — зависимым (подчиненным): *Когда занавес опустился, зрители вышли из зала = Зрители вышли из зала, когда занавес опустился*.

Языковой формой выражения логических связей, как уже отмечалось, являются сочинение и подчинение. Сочинение выражает связь между параллельными и последовательными событиями, а подчинение — определенный тип отношения между ними, маркирующий соответствующим образом предыдущий или последующий член этого отношения (или оба члена одновременно). Поэтому при подчинении возможна как препозиция, так и постпозиция главного члена, поскольку один из членов отношения (чаще — подчиненный) всегда маркирован (ср. последний пример).

Таким образом, в грамматическом сочинении, так же, как и в конъюнкции и дизъюнкции, эксплицированной оказывается связь между событиями — устанавливается лишь наличие того и/или другого — и имплицировано их отношение (одновременность, последовательность и т. п.). В грамматическом подчинении, как и в имплицитации, имплицированная связь между событиями (подразумевается, что если А предшествует В, то, естественно, имеет место А, и имеет место В) и эксплицировано отношение — указано, который из двух компонентов является предшествующим, который — последующим. Короче говоря, при подчинении мы уточняем, специально выражая, тип отношения между двумя событиями, а при сочинении мы просто устанавливаем между ними некоторую связь, не уточняя ее типа, характера отношения.

Языковые формы выражения связей и отношения весьма разнообразны, что приводит зачастую к тому, что одно и то же отношение может быть выражено при помощи различных союзов, как подчинительных, так и сочинительных: *Я нажал кнопку, и лампочка загорелась* = *Как только я нажал кнопку, лампочка загорелась* = *Лампочка загорелась, когда я нажал кнопку* = *Лампочка загорелась, потому что я нажал кнопку* (знак равенства здесь несколько условен, поскольку каждый союз привносит свою семантику). С другой стороны, один и тот же союз, такой, например, как *и*, может использоваться не только как показатель конъюнкции, но и в тех конструкциях, где более уместным был бы какой-либо показатель отношения (импликации). Это обуславливает наличие двух типов сочинения — обратимого и необратимого.

Поскольку во втором случае (при необратимом сочинении) происходит нейтрализация некоторых различий между сочинением и подчинением [12, 13], можно говорить о слабой позиции сочинительного союза. Именно о таких случаях нейтрализации (слабой позиции сочинительного союза) и идет речь в грамматиках при описании тех типов отношений, которые могут передаваться в сложносочиненном предложении. К таким отношениям принадлежат обычно временные, причинно-следственные и т. п. Конечно, в каждом сложносочиненном предложении можно установить наличие того или иного из указанных отношений, ибо «... в *любом* предложении можно (и должно), как в „ячейке“ („клеточке“), вскрыть зачатки *всех* элементов диалектики» [14]. Однако не следует забывать, что эти разнообразные отношения в сложносочиненном предложении устанавливаются в результате анализа грамматических форм и лексического состава его компонентов, а не приписывания всевозможных значений союзу *и*. «Отношение причины и следствия в сочетании *У него болит голова, и он не пошел в школу* для нас есть отношение логическое, формально ничем не выраженное» (разрядка моя — Л. Ю.). И далее: «Союз *и* сам по себе совершенно не выражает предшествования и последования... он всегда выражает чистую идею соединения, т. е. соотношение само по себе, всегда обратимое» [6, с. 443, 446]. Для того, чтобы выявить специфику сочинения, нужно, скорее всего, искать не то, что сближает сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, а то, что их различает. Поэтому гораздо больший интерес должны представлять те сложносочиненные предложения, где союз находится в сильной позиции, где он служит для выражения «чистой» конъюнкции, а не импликации, которая сближает сложносочиненные и сложноподчиненные предложения [15].

Рассмотрев вкратце сочинение и подчинение как виды связей или отношений между логическими языковыми единицами, попытаемся выяснить, каким логическим процессам (операциям) соответствуют грамматические (и логические) сочинение и подчинение.

Грамматическое сочинение, как уже отмечалось, полностью соответствует логическому: в обоих случаях имеет место одинаковое отношение двух соподчиненных компонентов третьему. Сочинительный союз выполняет внутри предложения двойную функцию: 1) он приводит в связь два представления между собой и 2) он приводит в связь оба эти представления с одним и тем же третьим [6, с. 443]. Внутри простого предложения сочинительная связь устанавливается между однородными членами предложения, понятие которых обычно «опирается не на внутреннюю синтаксическую связь между такими членами, а на одинаковый характер синтаксической связи этих компонентов с каким-либо третьим компонентом» [16, с. 807—808]. Ср., например: *Петя и Маша читают* (два подлежащих при

одном сказуемом), *Петя читает и пишет* (два сказуемых при одном подлежащем), *Петя просматривает газеты и журналы* (два дополнения при одном сказуемом) и т. п. Но однородные члены предложения связаны не только одинаковыми синтаксическими отношениями с третьим компонентом, т. е. обязательно являются членами одного общего семантического класса [17–19]. При этом явно выраженной оказывается только синтаксическая связь, а вхождение в общий семантический класс оказывается за пределами синтаксического анализа.

То же имеет место и при сочинении предложений: «аналогом структурных связей однородных членов в области сложных структур является... синтаксическая связь между однородными придаточными предложениями в структуре сложного предложения усложненного типа» [16, с. 902]. Здесь речь идет о соподчиненных придаточных предложениях. Но дело в том, что любое сложносочиненное предложение можно представить как результат металингвистической операции «соутверждения». Так, например, предложение *Петя читает, и Маша читает* должно в таком случае иметь вид: *Я утверждаю, что Петя пишет, и что Маша читает* [20]. Очевидно, что при такой интерпретации компоненты сложносочиненного предложения оказываются эквивалентными соподчиненным придаточным предложениям.

Подобный способ представления семантики предложения введен, как известно, Ш. Балли, который показал, что так называемое эксплицитное предложение обязательно должно содержать две части: модус и диктум [21]. При этом первая часть не всегда получает выражение в реальном высказывании: предложение *Идет дождь* по существу представляет собой выражение мысли *Я утверждаю, что идет дождь*. Вполне естественным является распространение идеи Ш. Балли на сложное предложение. Более того, именно такая интерпретация семантики сложного предложения дает возможность разработать тесты для различения сочинительных и подчинительных союзов [22, 23].

Сущность таких тестов заключается в том, что в сложное предложение, которое рассматривается как диктум, вводится модусный компонент. Если предложение сложносочиненное (союз — сочинительный), то оно легко может быть преобразовано в два соподчиненных придаточных предложения, как это было показано. Если же предложение сложноподчиненное (союз — подчинительный), то подобное преобразование невозможно — сложноподчиненное предложение переходит в диктум как единое целое. Ср., например: *Занавес опустился, и публика вышла из зала* →* *Я утверждаю, что занавес опустился, и что публика вышла из зала. Когда он придет, он позвонит вам* — у* *Я утверждаю, что когда он придет, что он позвонит вам* —*• *Я утверждаю, что когда он придет, он позвонит вам*.

Таким образом, при сочинении предложений объединяющее (обобщающее) третье понятие (событие и т. п.) чаще всего оказывается не выраженным. Правда, в ряде случаев в составе одного из компонентов сложносочиненного предложения (чаще первого) имеется некоторый общий элемент, относящийся к обоим компонентам: *Когда я вошел, Петя читал книгу, а Маша писала письмо*. Он в известной степени может быть использован для интерпретации того общего целого, которое расчленяется на составляющие: *Когда я вошел, я застал такую ситуацию: Петя читал книгу, а Маша писала письмо*.

Очевидно, что сочинение (как логическое, так и грамматическое) представляет собой результат расчленения некоторого общего понятия (события) на его составляющие. В логике этому соответствует процесс деления

понятия: «Деление понятия есть такое логическое действие, посредством которого объем делимого понятия распределяется на известные множества с точки зрения определенного основания деления» [24, с. 84].

Специфика грамматического сочинения в этом плане заключается в меньшей строгости, определенности того общего класса (объема понятия), который подвергается делению, и часто в меньшей отчетливости того признака, на основании которого это деление производится. Здесь все зависит от коммуникативного намерения говорящего, который производит операцию деления понятия, выбирая признак, представляющийся ему наиболее важным. Формальным выражением принадлежности двух понятий (предметов, явлений, событий и т. п.) к одному общему классу (понятию) является союз. «Сваха, например, расхваливая приданое, может сказать *большой и каменный дом*, потому что для нее оба прилагательных указывают на обильное приданое. Если кто-нибудь утверждал, что только зимние его костюмы неисправны, а что летние целехоньки, то ему можно будет сказать: *А вот на вас летнее, но разорванное платье*» [6, с. 442-443].

Если между грамматическим и логическим сочинением существует полное соответствие, то в отношении подчинения этого сказать нельзя. Анализ любого подчинительного словосочетания показывает, что отношение между грамматически главным и зависимым компонентами никоим образом не аналогично отношению между подчиняющим и подчиненным понятиями. Так, в словосочетании *письменный стол* главным словом является *стол*, а зависимым — *письменный*. С точки зрения логики более широким, более общим понятием будет «стол», а подчиненным ему понятием — «письменный стол». Объем понятия «письменный стол» входит в объем понятия «стол». То же самое имеет место и в таких словосочетаниях, как *очень интересный, идти быстро, читать книгу* и т. п.

Синтаксически главное слово во всех случаях называет более широкое более общее (родовое) понятие, тогда как синтаксически зависимое слово называет некоторый признак, уточняющий данное понятие, сужающий его объем — видовой признак. В логике этому соответствует процесс определения понятия: «Определение есть логический прием, позволяющий ... уточнять значение уже введенного в науку термина» (выделено мною.— Л. Ю.) [24, с. 67]. При этом самым распространенным способом определения является определение через указание рода и видового отличия [24, с. 72].

Таким образом, грамматические сочинение и подчинение являются аналогами не столько логических отношений подчинения и сочинения, сколько процессов определения и деления понятий. В этом заключается близость и одновременное различие между сочинением и подчинением. Близость обусловлена тем, что одно и то же понятие (событие) может быть описано либо через определение (указание видового признака), либо через деление (перечисление входящих в него классов, предметов и т. п.), различие — тем, что описание одного и того же понятия (события) производится разными способами. Этим можно объяснить, что различия между сочинением и подчинением подчас очень тонки: *черное, низкое небо; черное низкое небо* [25]. В первом случае используется схема параллельного включения (признаки «черное» и «низкое» представлены говорящим как однородные, однопорядковые, равноправные), во втором — схема последовательного включения (признак «низкое» уточняет предмет «небо», а признак «черное» уточняет весь комплекс «низкое небо»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Antoine G.* La coordination en francais. V. I. P., 1959. P. 303.
2. *Степанов Ю. С.* Современные связи лингвистики и логики // ВЯ. 1974. № 4. С. 63.
3. *Кондаков И. И.* Логический словарь. М., 1971.
4. *Sandman M.* Subordination and coordination // Archivum linguisticum. 1950. V. 2.
5. *Басистое П. Е.* Система синтаксиса. М., 1848. С. 46.
6. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956.
7. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
8. *Cooper W. E., ROSS J. R.* Word order// Papers from the parasession on functionalism. 1975, 17 Apr. / Ed. by Grossman R. E. et al. Chicago, 1975.
9. *Клевиц А. К.* К вопросу о необратимости сочинительных конструкций (на материале русского и польского языков) // Вестн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. IV: Филология, журналистика, педагогика, психология. 1983. № 1.
10. *Бергельсон М. В., Кибрик А. Е.* Прагматический принцип «приоритета» и его отражение в грамматике языка // ИАН СЛЯ. 1980. 4.
11. *Rröndal V.* The problem of hypotaxis // Syntactic theory I / Ed. by Householder F. W. Harmondsworth, 1972.
12. *Левицкий Ю. А.* Проблемы сочинения. Пермь, 1980.
13. *Левицкий Ю. А.* Синтаксическая система языка. Пермь, 1983.
14. *Ленин В. И.* Философские тетради // Поли. собр. соч. Т. 29. С. 321.
15. *Левицкий Ю. А.* Семантические типы сложносочиненных предложений. Пермь, 1982.
16. Русская грамматика. Ч. 2. Praha, 1979.
17. *Lakoff R.* Its, and's and but's about conjunction // Studies in linguistic semantics / Ed. by Fillmore Ch., Langendoen D. T. N. Y., 1971.
18. *Wierzbicka A.* Semantic primitives // Linguistische Forschungen. 1972. Bd 22.
19. *Разина Р. И.* Союз как идентификатор семантического класса // Семантика служебных слов. Пермь, 1982.
20. *Harris Z.* A grammar of English on mathematical principles. N. Y., 1982.
21. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955. С.43 и сл.
22. *Krzyszowski T. P.* Contrastive generative grammar: theoretical foundations. Tubingen, 1979.
23. *Шурлев Е. Н.* Дифференциация сочинительных и подчинительных] союзов на синтаксической основе // ФН. 1980. № 2.
24. *Горский Д. П.* Логика. М., 1963.
25. *Норман Б. Ю.* Синтаксис речевой деятельности. Минск, 1978.

© 199» г.

УРЫСОН Е. В.

**ОБОСОБЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СМЫСЛОВОГО
ПОДЧЕРКИВАНИЯ**

Введение. Предлагаемая работа посвящена семантике одного синтаксического средства русского языка, а именно — обособления: делается попытка хотя бы частично эксплицировать то трудноуловимое различие, которое ощущается между предложениями типа

(1) *Молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина* (А. С. Пушкин. Капитанская дочка).

и

(1а) *Стройный и красивый молодой казак налил мне стакан простого вина*^х.

Специфика предложений типа (1) давно привлекает к себе внимание русистов. Начало интенсивной разработке обширного круга проблем, связанного с обособлением, было положено А. М. Пешковским (раздел «Обособленные второстепенные члены» в книге «Русский синтаксис в научном освещении»), который, ставя своей целью возможно более точное описание синтаксиса рассматриваемого явления, предвосхитил многие идеи, связанные с темо-рематическим членением предложения и с логическим выделением того или иного компонента его смысла (ср. его замечания о «двучленности простых предложений», о том, что обособление — это «проявление особого внимания» к данной синтаксической группе [1]). В дальнейшем русистика сосредоточилась в основном на несинтаксических аспектах обособления. Центральное место заняла проблема «глубинного» параллелизма обособленного второстепенного члена и отдельного предложения, или, иначе, проблема предикативности обособленного второстепенного члена (из основных работ см. [2—7]). При этом неявно признается, что несинтаксическая специфика обособленного члена предложения, по крайней мере — в некоторых случаях, сводится к выражению им некоторой «предикативности», т. е. в уподоблении его — с точки зрения членения заданного смысла — отдельному предложению. Действительно, в примере (1а) смысл «стройный и красивый» подается в общем потоке, а в предложении (1) соответствующий смысл как бы образует высказывание внутри высказывания.

Существенно меньше внимания уделяется самим средствам обособления, т. е. интонации и пунктуации². Правда, знаки препинания, ис-

¹ Наряду с примерами из художественной литературы в настоящей работе широко используются специально сконструированные примеры, а кроме того, приводятся предложения из научных и популярных текстов, публицистики. Ссылки на источник даются лишь в первом случае.

² Большинство известных нам работ, посвященных обособлению, ориентировано на письменную речь. Исключением является Гр.-80, в которой специально описывается обособляющая интонация (раздел «Интонация при обособлении», написанный Е. В. Брызгуновой),

пользуемые при обособлении, перечисляются практически во всех учебных пособиях по синтаксису, монографиях и справочниках по пунктуации. В соответствии с господствующим мнением такие знаки представляют собой чисто синтаксические маркеры — различие между ними в лучшем случае сводится к большей или меньшей «выделительной силе» (см., например, монографию [9]). Однако можно заметить, что немногочисленные работы, рассматривающие отдельные пунктуационные способы обособления конкретных синтаксических групп (см. [10—12], а также [13]) идут вразрез с этим мнением, подводя к существенному выводу: выбор знаков препинания при обособлении может быть связан со смыслом предложения. Иными словами, по крайней мере некоторые знаки препинания могут быть «семантическими». Следовательно, точное описание обособления оказывается невозможным без детального рассмотрения самих средств обособления. Эта задача и ставится в предлагаемой работе. Упомянутая выше проблема предикативности обособленных оборотов в данной статье не затрагивается.

Сразу оговорим, что объектом настоящей работы являются письменные тексты. Это значит, что нами рассматриваются лишь пунктуационные способы обособления. Дело не только в том, что звучащая речь требует совершенно иных методов исследования: письменный и устный языки, скорее всего, представляют собой автономные системы, между которыми, вообще говоря, нет «изоморфизма» (убедительное обоснование этого см. в работах Й. Вахека [14] и А. А. Реформатского [15]).

Уточним объект исследования. Обособлением принято называть синтаксическое средство, заключающееся в специфическом выделении фрагмента предложения, состоящего из второстепенного члена и его синтаксических зависимых (если таковые имеются) — как непосредственных, так и опосредствованных. Обособление в устной речи — это выделение соответствующего фрагмента паузами и особое его интонирование. Обособление в письменной речи — это выделение фрагмента предложения определенными знаками препинания. Выделяемый фрагмент предложения (независимо от того, состоит он из одного слова или нескольких) мы будем называть обособленным оборотом (или — в соответствии с более традиционным словоупотреблением — обособленным членом предложения). Ср. пример (1), а также следующие предложения:

(2) *Доктор, со шпагой в руке, выбежал в спальную* (Ю. Н. Тынянов. Смерть Вазир Мухтара).

(3) *Со мной был чужинный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу* (М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени).

В качестве обособляющих знаков препинания в русском языке выступают запятые, тире, скобки, а также двоеточие (см. ниже). Скобки в настоящей работе рассматриваться не будут: это очень специфический знак препинания, заслуживающий отдельного рассмотрения [достаточно вспомнить, что в скобки могут заключаться отдельные предложения (не входящие в состав сложных), последовательности таких предложений и даже абзацы].

Обособлению может подвергаться практически любой второстепенный член предложения (вместе со своими зависимыми). Предлагаемый анализ, однако, ограничивается присубстантивными обособленными оборотами, т. е. обособленными определениями, атрибутами, приложениями, присубстантивными комплетивами. Тем самым исключаются из рассмотрения предложения типа *Мы гуляли довольно долго, до самого вечера; Поиски универсальной Грамматики продолжались — с переменным успехом — на*

протяжении более чем двадцати столетий; Туманы, клубясь и извиваясь, сползали по морщинам соседних скал.

З а м е ч а н и е . Разграничим два случая, иллюстрирующиеся следующими примерами:

(4) *Мы повернули в соседний коридор — узкий и темный.*

(4а) *Мы повернули в соседний — узкий и темный — коридор.*

Приведенные предложения различаются порядком слов: в (4) обособленный определительный оборот располагается после своего синтаксического «хозяина» (это существительное *коридор*), а в (4а) обособленный оборот предшествует «хозяину», располагаясь непосредственно после необособленного определения к тому же «хозяину», т. е. после прилагательного *соседний*. Существенно, что в первом предложении определение *соседний* можно опустить без нарушения грамматической правильности предложения, а во втором примере этого сделать нельзя — для того чтобы полученное предложение было нормальным, нужно удалить и обособление, ср.:

(4') *Мы повернули в коридор — узкий и темный.*

(4а') **Мы повернули в — узкий и темный — коридор*

Аналогичная ситуация (с точностью до линейного расположения обособленного оборота относительно синтаксического «хозяина») может иметь место и при обособлении других членов предложения. Ср.: *В деревне его ждала домашняя, по-черному, баня; Мы уехали довольно долго, до самого вечера.* Подобные примеры ниже не рассматриваются, хотя полученные выводы в большой степени распространяются и на них.

1. Предварительная классификация материала. Необходимо оговорить, что обособление не всегда выражает смысловое подчеркивание. Кроме того, в определенных случаях оно обозначает не только это. Поэтому для решения поставленной задачи — экспликации смыслового акцента, выражаемого обособлением, — необходимо выделить такой материал, когда обособление выражает явное смысловое подчеркивание — и ничего другого. Перечислим те обособленные присубстантивные обороты, которые не удовлетворяют этому требованию.

1.1. Не является средством явного акцентирования обособление постпозитивного причастия или прилагательного с зависимыми словами, причем связанными с причастием (прилагательным) подчинительной, а не сочинительной связью. Ср.: *По пыльной дороге, ведущей к садам, танулись скрипучие арбы, наполненные черным виноградом* (Л. Толстой. Казаки); *Мы вошли в рошу, мокрую от дождя.* Этот факт обнаружен А. А. Камыниной, впервые рассмотревшей подобные, считавшиеся хрестоматийными, примеры обособления под данным углом зрения (см. [16], а также [17]),

1.2. Обособление выражает не только смысловое подчеркивание в целом ряде случаев. Специально отметим те, когда наличие особого смысла, выражаемого обособлением, маркируется синтаксисом — оно устанавливается без обращения к семантике фразы. Это препозитивные обособленные определения и приложения, расположенные в абсолютном начале предложения — они выражают некое обстоятельственное значение. Ср.: *Высокоролые, ловкие, физически сильные — эти люди были отличными воинами; Прекрасная гимнастка, она несколько раз занимала на первенстве Москвы второе место.* О характере этого обстоятельственного значения см. [17]³.

2. Метапредикаты, выражаемые обособлением. Сравним два предложения:

³ Ср. также обособленное деепричастие (не рассматриваемое в данной работе) — которое может вступать в различные смысловые связи со сказуемым, к которому оно синтаксически относится, например, *Играя на рояле, он раскачивается всем корпусом* (деепричастный оборот — обстоятельство времени) vs. *Он играет на рояле, раскачиваясь всем корпусом* (деепричастный оборот — обстоятельство образа действия).

(5) *В другом письме к тому же адресату Анненский пишет и своем несбывшемся желании — покинуть службу.*

(5a) *В другом письме к тому же адресату Анненский пишет о своем несбывшемся желании покинуть службу.*

Эти примеры, безусловно, ситуативно равнозначны — они описывают в точности одну и ту же ситуацию. Очевидно также, что они различаются смысловыми акцентами. Попытаемся уловить их хотя бы в самом первом приближении. Не ставя своей целью анализ интонации примера (5), используем некоторые сведения о ней в качестве эмпирического подспорья.

В предложении (5) два фрагмента подвергаются интонационному выделению — сам обособленный оборот и непосредственно предшествующая ему часть предложения — а именно, слова *несбывшемся желании*. На них имеет место повышение тона, а обособленный оборот выделен паузой, и интонация на его первом слове тоже повышается. Интонация на фрагменте *несбывшемся желании* — это своего рода предупреждение о том, что сейчас будут поданы особые сведения о сообщаемом в данном фрагменте (т. е. об этом желании). Интонация на обособленном обороте сигнализирует подачу сведений, о которых было сделано предупреждение. (На письме это передается пунктуацией — перед группой *покинуть службу* поставлено тире.) Благодаря этому в предложении (5) привлекается особое внимание к желанию Анненского, акцентируется его содержание.

Что касается предложения (5a), то оно подает соответствующий смысл «сплошным потоком». Это отражает и его интонация, и пунктуация — во фразе нет никаких знаков препинания, кроме точки. К факту существования несбывшегося желания Анненского как таковому в предложении (5a) внимание специально не привлекается. По сравнению с ним содержание желания подано как более информативное (оно располагается на конце интонационной синтагмы, соответствующей реме).

Итак, в предложении (5) смысл не просто сформулирован, как во фразе (5a): в первом случае автор как бы специальными ремарками отмечает наиболее важные для него части сообщения. Эти ремарки не относятся непосредственно к смыслу фразы — они являются авторским к нему комментарием.

Тот факт, что текст может комментироваться самим автором, причем «внутри» того же текста, впервые был отмечен А. Вежицкой: «Комментатором текста может быть и сам автор. Высказывание о предмете может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании... Сами эти метатекстовые нити являются инородным телом... По своей природе двутекст не может быть текстом связным: при составлении семантической записи не только можно, но и *нужно* разделить эти гетерогенные компоненты» [18, с. 404]. А. Вежицкой выделен и описан широкий круг «метатекстовых предикатов» — метатекстовые глаголы типа *повторяю, что..., обращаю внимание, что..., подчеркиваю, что..., добавлю, что...* и т. д.; метатекстовые союзы и частицы — *итак, а именно, то есть, или* [то есть], *например, во-первых, во-вторых, далее, кстати, между прочим, впрочем* и т. д. Метатекстовый характер этих лексем заключается в том, что они вводят в семантическую запись метаплеонастический элемент «говоряю» [18].

Метаплеоназм в предложении (5) интересен тем, что он выражен не лексическими средствами, а синтаксическими — а именно, интонацией (пунктуацией). Требуется $\text{ФКсннмгПроВаТЬ*9ТОГ}$ метаплеоназм, т. е. дать обособлению толкование на семантическом языке, представляющем собой «упрощенный стандартизованный русский язык, состоящий из ограни-

ченного числа относительно простых слов и конструкций» [19].

В соответствии со сказанным выше в семантике русского обособления как будто присутствует следующий компонент: «говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать X об Y». Первому месту (X) этого предиката тогда соответствует семантической образ обособленного оборота, а второму месту (Y) — семантический образ того фрагмента предложения, на который падает «предупреждающая» интонация [для примера (5) это, в огрубленном виде, смысл «несбывшееся желание»]. Однако такое толкование полностью игнорирует линейный характер раз^вертывания высказывания во времени. С учетом динамичности высказывания толкование переписывается в виде: «говорящий предупреждает слу*шающего, что он каузирует его знать нечто об X, это нечто таково: P», Первая часть толкования — это собственно метаплеоназм, выражаемый обособлением. Вторая часть («это нечто таково: P») является метапометой, устанавливающей тождество между тем смыслом, который был обещан, и тем смыслом, который был сообщен (после этого обещания-предупреждения).

Оказалось, что в русском языке с помощью обособления выражаются три метапредиката, толкования которых во второй части не различаются. Рассмотрим их.

2.1. Первый метапредикат. Обратимся к новой паре примеров:

(6) *Родители подарили мальчику электронный пистолет — замена? тельную игрушку для детей любого возраста.*

(7) *Родители подарили мальчику замечательную игрушку для детей любого возраста — электронный пистолет.*

На первый взгляд эти примеры отличаются друг от друга только порядком слов. Однако более пристальное рассмотрение показывает, что за ним скрываются тонкие различия, связанные с обособлением. Действительно, перед обособленным оборотом в предложении (7) возможно не только двоеточие, но и тире, а фраза (6) двоеточия не допускает. Ср.:

(6a) ^Родители подарили мальчику электронный пистолет: замечательную игрушку для детей любого возраста.

(7a) Родители подарили мальчику замечательную игрушку для детей любого возраста: электронный пистолет.

Кроме того, предложение (7) — в отличие от (6) — допускает перифразирование с союзом *а именно*, ср.:

(7б) *Родители подарили мальчику замечательную игрушку для детей любого возраста, а именно — электронный пистолет.*

(6б) ^Родители подарили мальчику электронный пистолет, а именно — замечательную игрушку для детей любого возраста.

З а м е ч а н и е . Отметим также, что именная группа *замечательная игрушка для детей любого возраста* в обоих предложениях употреблена нерезферентно. Поэтому часть примера (6) — за вычетом обособленного оборота — может функционировать как нормальное предложение, ср.: *Родители подарили мальчику электронный пистолет*, а для примера (7) это неверно, ср.: *Родители подарили мальчику замечательную игрушку для детей любого возраста.* (Наблюдение принадлежит Н. В. Виноградовой [20].)

Очевидно, что обособление как во фразе (6), так и в примере (7) выра^жает какую-то авторскую разметку смысла, т. е. метапредикат. Но в предложении (6) информация, подаваемая после специального предупреждения (ее составляет смысл обособленного оборота), просто описывает подарок, сделанный мальчику родителями, а в примере (7) та же информация необходима для идентификации подарка. Это различие/которое, безусловно,

имеет отношение к энциклопедическому, не собственно языковому знанию, маркируется синтаксическими средствами — способом обособления. Поэтому его необходимо отразить в толковании метапредиката.

Мы считаем, что в предложениях (6) и (7) представлены разные метапредикаты, отличающиеся друг от друга прагматической оценкой отмечаемой информации. А именно, первая часть толкования метапредиката из примера (6) имеет такой вид:

(i) «говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать нечто об X».

Соответствующая часть толкования метапредиката из предложения (7) устроена сложнее: в нее входят сведения о том, что выделяемая метапредикатом информация необходима для идентифицирования объекта (или ситуации — см. ниже):

(ii) «говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать нечто об X, необходимое для идентификации X».

Ср. фрагменты семантических структур (SemC) примеров (6) и (7):

(6i) «...говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать нечто о подаренном родителями мальчику электронном пистолете...».

(7i) «...говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать нечто о подаренной родителями мальчику замечательной игрушке для детей любого возраста, необходимое для ее [игрушки] идентификации...».

Вопрос о том, какая информация об X необходима для идентифицирования X, а какая просто сообщает пусть очень интересные, но «дополнительные» сведения о нем,— нуждается в отдельном исследовании. Пока условимся, что: 1) идентифицировать объект N — это выделить его из множества подобных объектов так, чтобы на основании его описания он мог быть однозначно выбран и слушающим; 2) идентифицировать ситуацию P — это назвать всех ее участников (перечислить аргументы предиката P).

З а м е ч а н и е . Проблема идентификации X смыкается с задачей выбора корректного ответа на вопрос со словом *какой*, ср.: *Какой французский писатель венчался в Бердичеве?* (см. [21]). Действительно, задавая вопрос типа *Какой X P?*, спрашивающий предполагает получить об X вполне определенную информацию, а именно — ту, которая позволяет идентифицировать X. Так, на вопрос *Какой французский писатель венчался в Бердичеве?* корректным является ответ *Бальзак*, а не ответы *Великий; Очень тучный; Автор многих романов* и т. п. В соответствии с работой [21], если в вопросе вида *Какой X P?* X является отпредикатным именем, то в корректном ответе на него должны быть заполнены (не заполненные в вопросе) валентности X. Ср.: *Какие раскопки на территории Москвы проводил этим летом Институт археологии! — Раскопки Кремля;* здесь имя X — *раскопки*, это слово имеет не заполненную в вопросе валентность со значением объекта, которая и заполняется в ответе. Ср. йкорректные ответы на этот вопрос — *Очень интересные; С участием археологов из Парижа* и т. д. При этом с точки зрения вопросоответного соответствия самой приоритетной является валентность содержания. Отметим, что синтаксические зависимые именно по этой валентности вводятся только метапредикатом (ii), с помощью которого вообще подаются только семантические аргументы некоторого предиката (см. примеры в следующем разделе этого параграфа). Если в вопросе вида *Какой X P?* X не является отпредикатным именем, то выбор (для корректного ответа) информации об X осуществляется на основании энциклопедических знаний об X и обих, часто неязыковых, представлений о том, какие из них могут оказаться необходимыми для выделения X из группы одноименных объектов. Ср.: *А на какой улице вы жили? — На Пресне. Какие стулья завезли? — Импортные (По семь рублей, С изогнутыми ножками, Венские).*

Различие между метапредикатами (i) и (ii) отчасти напоминает различие между лексемами *сообщить* и *указать*: лексема *указать* в большей степени актуализирует вводимую информацию, ср.: *Сообщите эти данные* — *Укажите эти данные*; *Сообщите, в каких книгах вырваны страницы* — *Укажите, в каких книгах вырваны страницы*. Приведем еще пример, в котором обособление выражает метапредикат (i).

- (8) *Постепенно разговор перешел на ее повесть «Последний месяц года» — о лицейском друге Пушкина Дельвиге* (Московский комсомолец, 1984. 18 ноября).

Очевидно, что смысл обособленного оборота не идентифицирует повести —, она уже идентифицирована названием, так что соответствующая информация носит чисто описательный характер. Это предложение не допускает перифраза с союзом *а именно*: двоеточие перед обособленным оборотом в нем невозможно, ср.:

- (8а) **Постепенно разговор перешел на ее повесть «Последний месяц года», а именно — о лицейском друге Пушкина Дельвиге.*
(8б) *^Постепенно разговор перешел на ее повесть «Последний месяц года»: о лицейском друге Пушкина Дельвиге.*

Метапредикат (i) обозначается только тире. В примере (8) замена тире на запятую дает аномальный результат, ср.:

- (8в) *^Постепенно разговор перешел на ее повесть «Последний месяц года», о лицейском друге Пушкина **.

Ср. еще примеры с метапредикатом (i): *Западногерманские исследователи из Геолого-палеонтологического института обнаружили в кварцитовых шифах крохотные пустоты — шарообразные и удлиненно-овальные; Отношению включения — социологическому — противоположно семиологическое отношение интерпретирования; Вошел новый учитель — немецкого языка, Борис Борисович Кноп (Н. Гарин-Мнхайловский. Гимназисты), Союз потому что — местоименного происхождения — может присоединять отрицание; Следующие предложения — с ложным посылкой — иногда квалифицируются как бессмысленные; Он помог бежать Ярославу Домбровскому — будущему генералу Парижской Коммуны.* Ср. также пример (3).

2.2. Второй метапредикат. Метапредикат (ii) усматривается в тех предложениях с обособлением, которые допускают перифраз с союзом *а именно*. Маркируется он тире или двоеточием, но не запятыми. Кроме примера (7), он присутствует также в предложении (5), ср. его перифраз с союзом *а именно*, а также примеры, демонстрирующие способы письменного обозначения этого метапредиката:

- (5а) *В другом письме к тому же адресату Анненский пишет о своем несбывшемся желании, а именно — покинуть службу.*
(5б) *В другом письме к тому же адресату Анненский пишет о своем несбывшемся желании: покинуть службу.*
(5в) **В другом письме к тому же адресату Анненский пишет о своем несбывшемся желании, покинуть службу.*

Приведем фрагмент СемС предложения (5):

- (5i) *«... говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать нечто о несбывшемся желании Анненского, о котором он пишет в другом письме к тому же*адресату, необходимое для его [желания] идентификации...».*

⁴ Если фраза (8в) — удачна, то скорее здесь следует говорить не об обособлении, а о своего рода парцелляции. Ср. предложение: *Их самолет опоздал, на два часа.*

Двоеточие как средство обособления (не в случае однородных членов при обобщающем слове) не отмечено ни в своде правил [22], ни в известных нам справочниках⁵. По нашим наблюдениям, двоеточие — наряду с тире — очень последовательно обозначает метапредикат (и) в двух случаях: а) если обособленный оборот расположен в конце фразы; б) если обособленный оборот представляет собой сочинительную конструкцию, ср.: *Оба желания юноши: уехать за границу и стать художником — показали его родителям безумными.*

Ср. еще примеры с метапредикатом (ii): *Ограничимся для простоты наиболее «чистым» случаем дедуктивных рассуждений — математическим; Это множество объектов можно подвергнуть классификации по двум схемам — моноиерархической и полииерархической — с использованием одного и того же набора признаков классификации; Средняя скорость передвижения стаи в характерном для нее строг — гуськом — составляет зимой, когда волки стараются держаться русла замерзшей реки, 8 км/ч; Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название — меланхолия (М. Булгаков. Театральный роман); Сицилийцы подарили мировой литературе новую стихотворную форму; сонет; Она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей Вронскому мысли — о неизбежности теперь дуэли (Л. Н. Толстой. Анна Каренина).*

2.3. Третий метапредикат. До сих пор мы рассматривали только такие обособленные обороты, выделение которых запятыми неуместно или даже невозможно. Перейдем к иному материалу, на котором можно продемонстрировать и этот вид обособления — а именно, к постпозитивным определениям.

Для того чтобы разобраться в специфике обособления запятыми, сравним следующие три фразы:

- (9а) *Все эти элементы художественного языка согласованы общей ритмикой — плавной и замедленной.*
(9) *Все эти элементы художественного языка согласованы общей ритмикой, плавной и замедленной.*
(9б) *Все эти элементы художественного языка согласованы общей ритмикой {плавной и замедленной}.*

При всем сходстве этих фраз — и их полной ситуативной равнозначности — они все же не совсем синонимичны друг другу. Попытаемся сформулировать трудноуловимое различие между ними. Сравним сначала предложения (9а) и (9б). В предложении (9б) информация о том, что общая ритмика, которой согласованы элементы художественного языка, является плавной и замедленной, предподносится как бы между прочим, на всякий случай — «в скобках». Во фразе (9а) соответствующая информация, напротив, подается как безусловно заслуживающая внимания.

Что касается предложения (9), то оно, будучи очень близко фразе (9а), все-таки «сдвинуто» в сторону случая (9б). Действительно, та же информация об общей ритмике, которой согласованы элементы художественного языка, не столь выделена здесь, как в предложении (9а) — акцентируя «е, говорящий все же просто продолжает свое повествование, поэтому характер специального разъяснения того, что представляет собой эта ритмика, весьма ярко выраженный во фразе (9а), здесь отодвинут на задний план.

⁵ Оно рассматривается в работе [10].

Тот же характер — скорее продолжения повествования, нежели раз»
явление — имеет обособление и в следующем предложении:

- (10) *Я любил ухаживать за больными, знакомыми и незнакомыми.* Ср., соответствующую фразу с тире, в которой сразу появляется боль* шее выделение «обособляемого» смысла и как следствие — оттенок разъяснения:
- (10а) *Я любил ухаживать за больными — знакомыми и незнакомыми.* Тонкое смысловое различие можно уловить и между следующими предложениями:
- (11) *Это предложение, просторечное, нарушает одновременно правило об обязательности антецедента и правило о субстантивности меС" тоимения.*
- (11а) *Это предложение — просторечное — нарушает одновременно пра* вило об обязательности антецедента и правило о субстантивно^ сти местоимения.*

Во фразах (9а), (10а) и (На) — с обособлением тире — мы усматриваем метапредикат (i). Метапредикат, выражаемый обособлением запятыми, очень близок ему, но акцентирует соответствующие фрагменты смысла в меньшей степени. Он сближается с метапредикатом — лексемой *продол* жаяю*. Последний, разумеется, акцентирует вводимый им смысл, выделяя его некоей предшествующей «паузой». Однако это всего лишь «пауза»: информация после нее не подается как отличающаяся по важности от всей остальной.

Предлагается следующее толкование обособления запятыми:

- (ш) «говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать нечто об X, одновременно говорящий сообщает слушающему, что соответствующая информация не является ни более, ни не^ нее важной, чем остальная»⁶.

Ср. соответствующие фрагменты семантических структур предложений (9), (10) и (И):

- (9) «... говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать нечто об общей ритмике... (больных..., предложении (4)...>, одновременно говорящий сообщает слушающему, что соответст* вующая информация не является ни более, ни менее важной, чем остальная...».

Приведем еще некоторые примеры с метапредикатом (iii). *С Амалией Ризнич, двадцатилетней женой одесского коммерсанта, Пушкин познано* млея в июле 1823 года и пережил к ней сильное, хотя, видимо, непродолжи* тельное чувство; В те дни мы, технический персонал, чувствовали беспо* койство; ...убил тоже сестру ее, по имени Лизавету, нечаянно вошедшую во время убийства сестры* (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание); *Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Ризи до Камчатки, непремен* но примут на свой счет* (Н. В. Гоголь. Мертвые души). Ср. также при* мер (2).

Отметим определенную несимметричность метапредикатов (п) и (iii); первый выделяет сведения, которые объективно необходимы для иденти^ фикации объекта, второй отмечает важность вводимой информации только

⁶ Под «остальной информацией» понимается информация, ""не^ выделяемая с помощью каких-либо специальных средств.

е точки зрения повествования. Особый интерес представляют примеры, не допускающие замены одного метапредиката на другой. Это относится прежде всего к двум «полярным» метапредикатам: (И) и (in). Ср. примеры из раздела 2.2, а также фразы внутри следующих пар: *Арабские ученые считали, что язык имеет две функции — коммуникативную и экспрессивную.* — * *Арабские ученые считали, что язык имеет две функции, коммуникативную и экспрессивную; Подчеркнем существенную для идиостиля Блока черту — видоизменение творческого почерка на пространстве отдельного стихотворения.* — * *Подчеркнем существенную для идиостиля Блока черту, видоизменение творческого почерка на пространстве отдельного стихотворения; На этом отрезке пути и происходит метаморфоза — превращение странствующего монаха в царевича.* — * *На этом отрезке пути и происходит метаморфоза, превращение странствующего монаха в царевича.*

3. Аргументы метапредикатов. Мы рассмотрим здесь только аргументы метапредикатов по первому месту (переменная X). Вернемся к предложению (5). Первым аргументом метапредиката является здесь смысл «несбывшееся желание Анненского, о котором он пишет в другом письме к тому же адресату», т. е. семантический образ синтаксического «хозяина» обособленного оборота (это словоформа *желание*), но взятый не изолированно, а в контексте уже сообщенной части предложения. Аналогичным образом обстоит дело и во всех остальных разбиравшихся примерах.

Однако возможна и другая ситуация: аргументом метапредиката по первому месту является семантический образ слова, синтаксически зависящего от хозяина обособленного оборота (взятый, опять-таки, в контексте всего сообщенного в предыдущей части предложения). Ср. следующие предложения:

(12) *Вечером она пришла в другом шелковом платье — удлиненном и открытом.*

(12a) *Вечером она пришла в старом шелковом платье — удлиненном и открытом.*

В предложении (12) обособленный оборот раскрывает, в чем состоит отличие данного шелкового платья от упомянутого ранее. Предупреждение о новой информации относится здесь не к «хозяину» оборота — словоформе *платье*, а к определению хозяина — словоформе *другой*, семантический образ которого и является первым аргументом метапредиката. В примере (12a) предупреждение о новой информации относится к словоформе *Платье*. Ср. фрагменты условных СемС этих предложений: (12i) «... говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать нечто об Блличии шелкового платья, в котором она пришла вечером...»; (12ai) «... говорящий предупреждает слушающего, что он каузирует его знать нечто о старом шелковом платье, в котором она пришла вечером...».

Ср. еще один пример: *В комнате Анечки Прокопович стояла замечательная кровать — из дорогого, покрытого темно-вишневым лаком дерева, i зеркальными арками на внутренней стороне спинки* (Ю. Олеша. Зависть). Обособленный оборот в этом примере раскрывает, в чем состоит замечательность кровати — предупреждение о новой информации относится здесь не к синтаксическому «хозяину» оборота — словоформе *кровать*, а к ее определению — словоформе *замечательная*.

Представляется, что исследование обособления позволяет лучше уяснить специфику одного из основных лингвистических объектов — а именно, предложения. СемС предложения — в отличие от СемС словосочетания (или толкования слова) — характеризуется присутствием некоторых

специальных, «предложенческих» предикатов. В настоящей работе рассмотрен один класс таких предикатов, правда, выражаемых факультативно,— это метапредикаты, обозначаемые обособлением⁷.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956. С. 417-418, 422.
2. *Богданов П. Д.* Обособленные члены предложения в современном русском языке. Орджоникидзе, 1977.
3. *Брицын В. М.* Синонимия причастных оборотов и придаточных определительных предложений // Культура русской речи на Украине. Киев. 1976.
4. *Дмитриева Л. К.* Осложняющие категории и осложнение предложения в современном русском литературном языке: Автореф. ... докт. филол. наук. Л., 1981.
5. *Камынина А. А.* О роли сказуемого в организации «полипредикативных» простых предложений // Вопросы русского языкознания. Вып. 1. М., 1976.
6. *Камынина А. А.* Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. Осложнение простого предложения полупредикативными членами. М., 1983.
7. *Фурашов В. И., Чернышева М. М.* Субъективная модальность и обособление // РЯШ. 1983. № 1.
8. Грамматика русского языка. Т. II: Синтаксис. М., 1980.
9. *Шварцкопф Б. С.* Современная русская пунктуация: система и ее функционирование. М., 1988.
10. *Барулина П. Н.* О некоторых закономерностях в смешении тире и двоеточия // Современная русская пунктуация. М., 1979.
11. *Гамбург Н. И.* Вариативность знаков препинания и семантика предложений // Семантика переходности. Л., 1977.
12. *Затопляев А. В.* Обособленные определения и приложения // Уч. зап. Свердловск, пед. ин-та. 1955. Вып. II: Русский язык, литература и история.
13. *Наумович А. Н.* Современная русская пунктуация. Минск, 1983.
14. *Вахей К.* К проблеме письменного языка // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
15. *Реформатский А. А.* О перекодировании и трансформации языковых систем // Исследования по структурной ТИПОЛОГИИ. М., 1963.
16. *Камынина А. А.* Причастия и прилагательные в роли обособленных определений: к вопросу о языковом статусе полупредикативных атрибутов существительного // Вестник МГУ. Сер. 9: Филология. 1984. № 1.
17. *Урысон Е. В.* О специфике некоторых русских обособленных оборотов // ИРЯЗ АН СССР. Предварительные публикации. Вып. 163. М., 1985.
18. *Везжицка А.* Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
19. *Апресян Ю. Д.* Английские синонимы синонимический словарь // Апресян Ю. Д., Ботякова В. В. и др. Англо-русский синонимический словарь. М., 1979. С. 514.
20. *Виноградова Н. В.* Обособленное приложение в современном русском языке (семантико-функциональный аспект): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.
21. *Крейдлин Г. В., Рахилина Е. В.* Семантический анализ вопросоответных структур со словом *какой* // ИАН СЛЯ. 1984. № 5.
22. Правила русской орфографии и пунктуации. М., 1956.

⁷ Автор благодарит Ю. Д. Апресяна и А. А. Камынину, сделавших полезные замечания при обсуждении этой работы.

© 1990 г.

ТЕЛЕГИН Д. Я.

ИЛЛИРИЙСКИЕ И ФРАКИЙСКИЕ ГИДРОНИМЫ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Достижения лингвистической и археологической наук в изучении далекого прошлого нашей Родины несомненны. Много сделано также исследователями (как лингвистами [1—7], так и археологами [8—И]) в части комплексного анализа данных этих наук.

Как известно, традиционным во многих работах археологов является вопрос определения этнической принадлежности археологических культур, который решается с привлечением данных лингвистики, и прежде всего гидронимии. К сожалению, рассматривается эта проблематика, по нашему мнению, обычно очень узко, без учета всей суммы фактов в территориальном и хронологическом диапазонах. Нередко определение этнической принадлежности той или иной культуры проводится в отрыве от ее исторического окружения на узкой территории. А в связи с тем, что хронологизация гидронимов разработана еще крайне слабо, то часто одни и те же гидронимы привлекаются разными авторами для «определения» этнической принадлежности археологических культур разных эпох бронзы, скифского и раннеславянского времени. Так, например, выделенные лингвистами на Украине фракийские гидронимы связываются в одном случае с трипольем медного века [12, с. 254], в другом — с чернолесской культурой эпохи бронзы (С. С. Березанская [10]), а в третьем — с памятниками зарубинецкого типа (Е. В. Максимов) [13].

В отличие от наших предшественников, мы ставим своей задачей рассмотреть возможность датировки гидронимов Поднепровья, а равно и определения этнической принадлежности археологических культур не отдельной ограниченной области или одной какой-то культуры, а значительно шире, как в территориальном, так и в хронологическом отношении. Здесь, в частности, нами учтены гидронимические данные всего бассейна Днепра в пределах Украины и Белоруссии и привлечены к рассмотрению все археологические культуры этого региона, начиная с неолита, т. е. времени начала оседлости, и до раннеславянского времени. На территории Украины анализируются также лингвистические и археологические данные, касающиеся долин рек Южного Буга, Днестра и др.

Применяемый в работе метод включает полное картографирование данных гидронимии и археологии с последующим наложением этих карт друг на друга. Вывод о датировке гидронимов и этнической принадлежности культур делается на основании полного или более-менее полного совмещения области группы речных одноэтнических названий с территорией распространения той или иной культуры. Следовательно, ключевым моментом в данном случае является общность территории гидронимов одной этнической принадлежности и археологических памятников определенной куль-

туры. Полное или значительное совпадение карт скоплений гидронимов с границами археологических культур несомненно должно указывать на принадлежность тех и других какому-то одному этническому образованию. А на основании этого путем «перекрестной интерполяции» решаются два иных вопроса: хронологическая приуроченность гидронимов по хорошо датированным памятникам археологии и, наоборот, — этническая принадлежность носителей археологических культур на основании гидронимов. Эту ситуацию условно можно изобразить следующим образом:

	Археологическая культура	Гидронимы
Хронология	⊥	?/+
Этническая принадлежность	?/+	4-
Территория	+	+

Естественно, что при отсутствии территориального совпадения гидронимических и археологических данных рассмотрение этих проблем само собой исключается.

Необходимо подчеркнуть также, что для решения вопроса хронологической приуроченности гидронимов, а равно и определения по ним этнической принадлежности археологических культур нужен, несомненно, комплексный подход. Кроме анализа географии распространения археологических и лингвистических данных, бесспорно важное значение имеет всестороннее изучение самих культур с точки зрения их состава, генезиса, их исторического окружения и др. Сказанное в полной мере относится также и к гидронимам.

Основные материалы по гидронимии Поднепровья изложены в работе В. Н. Топорова, О. Н. Трубочева [14] и книге О. Н. Трубочева [7]. Сведения по этому вопросу можно найти в исследованиях А. С. Стрижака [15], М. Ф. Пономаренко [16], В. В. Лободы [17], И. М. Железняк [18]. Еще раньше вопросом определения этнической принадлежности названий рек и водоемов Белоруссии и Украины занимались А. Л. Погодин, И. А. Соболевский, М. Фасмер, К. Мошинский и др. В настоящее время для бассейна Днепра уже определена этническая принадлежность нескольких сот древних гидронимов, в том числе иллирийских, или западнобалканских, фракийских, или восточнобалканских, иранских (индоиранских), древнеславянских, балтийских и финно-угорских. Названия двух рек в бассейне Среднего Днепра определяются как древнегерманские. Несколько больше их известно на Днестре [рис. 1].

Район распространения иллирийских гидронимов, таких, например, как *Иква*, *Луна*, *Товмень*, *Горынь*, *Тня*, *Отавин*, *Мурава* и др., охватывает лесостепное Правобережье Украины, а также Верхний Днестр — *Бахонка*, *Стриква*, *Лука* и др. Все наименования водоемов фракийского происхождения (*Янтра*, *Альта*, *Кодра*, *Ибр*, *Иртица*) сосредоточиваются также на Правобережье, но в целом южнее иллирийских.

Несмотря на то, что в интерпретации этимологии и этнической принадлежности отдельных гидронимов среди специалистов не всегда отмечается полное единодушие, а иногда и вообще скептическое отношение к их

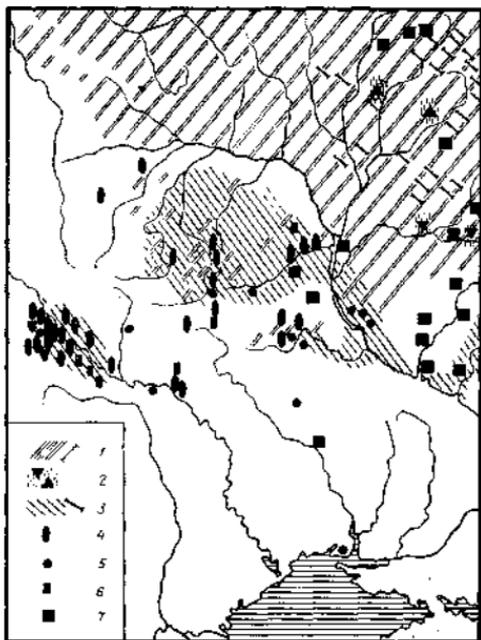


Рис. 1. Древние гидронимы Поднепровья и Верхнего Днестра

(По данным Топорова, Трубачева [14]; Трубачева [7])
 1) Балтийские; 2) Финно-угорские (прибалтийские и волжские); 3) Древнеславянские; 4) Иллирийские;
 5) Фракийские; 6) Германские; 7) Иранские.

толкованию [19], значение данного источника для изучения этнокультурного состава древнего населения каждой отдельной территории имеет, безусловно, исключительное важное значение. Одним из основных достоинств гидронимов в этом плане является жесткая увязка их с географической картой, что определенно указывает на район расселения тех или иных племен или народностей. Лингвистами, кроме того, делаются попытки установления относительной хронологии гидронимов или их синхронизации и определения абсолютного возраста. В последнем случае, однако, лингвисты обращаются к данным археологии, где вопросы хронологии изучены значительно лучше, чем в лингвистике.

Необходимо подчеркнуть, что среди условий возникновения гидронимов, конечно, важную роль играет продолжительность заселения той или иной территории определенным этническим массивом, т. е. время бытования культур, которое измеряется нередко тысячелетиями. Важным обстоятельством при этом надо считать и сам механизм весьма продолжительного сохранения древних гидронимов, иногда вплоть до наших дней, при несомненной смене в данном регионе населения, нередко многократной.

Надо полагать, что это возможно только в случае непосредственных контактов населения, оставившего гидронимы и их принявшего. Причем такая ситуация скорее всего могла сложиться в пограничных районах между разными культурами, где разноэтничные племена определенное время бытовали одновременно или, во всяком случае, имели какие-то культурные контакты, в том числе и языковые.

Привлечению археологических данных при лингвистических исследованиях до недавнего времени в значительной мере мешала сравнительно слабая изученность археологических памятников Днепровского бассейна и смежных областей. За последние 20—30 лет положение в этом плане значительно изменилось в лучшую сторону. Археологами здесь изучены уже сотни новых памятников — городищ и поселений, плоских могильников и курганов разных эпох, начиная с конца каменного века и кончая средневековьем. Специалисты для каждой из эпох выделяют многие археологические культуры. А каждая из них в принципе является отражением древних этнических образований — племен, их групп или, для позднего времени, народностей. Подробные результаты этих исследований опубликованы как в отдельных статьях, так и в обобщающих коллективных трудах [20—23], где хорошо представлены карты культур Поднепровья. В этих и других исследованиях археологов неоднократно делались заключения и об этнической принадлежности носителей отдельных культур.

Археологические культуры (как и скопления гидронимов) занимают определенную территорию, все они, в отличие от гидронимов, обычно достаточно надежно датированы, в том числе методами точных и естественных наук. На основании анализа материалов (орудий труда, керамики, украшений, занятий населения, домостроительства, погребального обряда и др.) устанавливается происхождение археологических культур, среди которых можно выделять как местные автохтонные, сугубо днепровские образования, так и пришедшие извне. Те же источники позволяют говорить о проявлении инкультурных влияний или возникновении синкретических культур.

В этом плане необходимо подчеркнуть исключительно важное значение древней керамики, которая является наиболее ярким показателем этнографического своеобразия каждой культуры. Более того, пожалуй, только по керамике в археологии удастся выделять группы близкородственных культур, образующих целые области культур и «керамические провинции». Как для каждой археологической культуры, так и такой «провинции» характерны свои формы сосудов, своя технология изготовления, свои стили орнамента и т. п.

Исконно «днепровская» керамика, которую мы далее будем называть «местной», «грубой» или «кухонной», во все времена, начиная с каменного века и вплоть до раннеславянской эпохи, отличалась примитивностью. Здесь почти всегда бытовала одна форма — горшок или его модификации, редко встречаются миски. В неолите эти сосуды остродонные, но острое или округлое дно затем нередко сохраняется долго, вплоть до раннего железного века. Техника изготовления горшков грубая, в тесте трава, песок, ракушка, дресва или шамот. Поверхность, как правило, неровная, расчесанная штрихованием или шершавая. Для этой керамики характерны свои стили декора, выполненные обычно отрисками палочки, гребенки, шнура или в виде разного рода вмятин, зашипов и т. п. Орнаментальные мотивы состоят в основном из прямолинейных композиций. Чтобы представить себе, о чем идет конкретно речь, укажем, на такие типы керамики, как гребенчато-накольчатая керамика неолита, «кухонная» керамика ле-

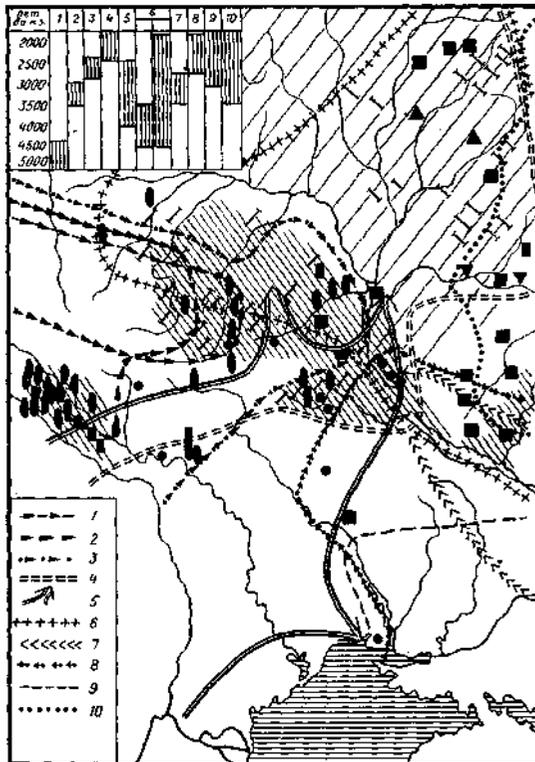


Рис. 2. Древние гидронимы и археологические культуры эпохи неолита, энеолита и ранней бронзы на Поднепровье

1) Дунайская культура линейно-ленточной керамики; 2) Лендель; 3) Культура шаровидных амфор; 4) Культуры шнуровой керамики; 5) Триполье; 6) Культуры днепродонецкой общины с гребенчато-накольчатой керамикой; 7) Среднестоговская культура; 8) Ямная культура; 9) Нижнемихайловско-кемниобинская культура; 10) Культура ямочно-гребенчатой керамики (объяснение гидронимов см. рис. 1).

состепных скифов, керамика милоградской культуры, штрихованная керамика раннего железного века, а также на керамику средневековья — Пеньковка, Корчак и др.

Керамика, имеющая балканское и центральноевропейское происхождение, обнаруживает совершенно иные свойства и качества. Здесь часто одновременно бытует несколько или даже множество керамических форм — горшки, миски, кубки, чашки, амфоры, кувшиновидные сосуды и т. п. Остродонная посуда неизвестна совсем. Керамическое тесто обычно хорошо вымешано, тонкое, примесей мало или они совсем незаметны. Сосуды, как правило, тонкостенные, обжиг совершенный. Поверхность хо-

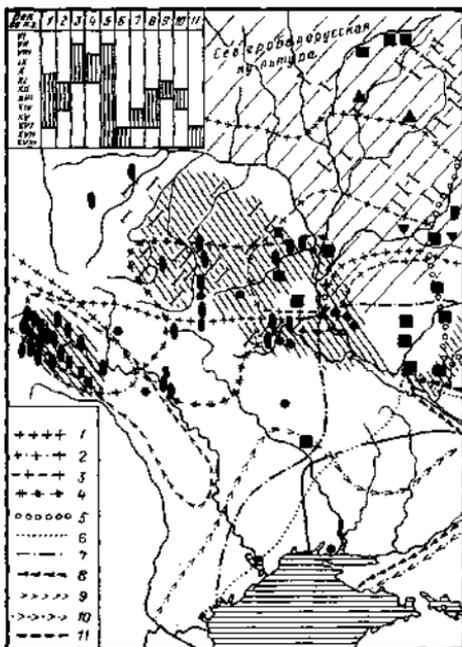


Рис. 3. Древние гидронимы и археологические культуры средней и поздней бронзы Поднепровья

- 1) Тшинская, включая сосницкий вариант, 2) Комаровская; 3) Лебединская; 5) Белогрудовская; 5) Марьяновско-бондарихинская; 6) Катакомбная общность; 7) Культура многоваликовой керамики; 8) Срубная; 9) Культура Ноа; 10) Сабатиновская; 11) Нижнемихайловско-кемиобинская (объяснение гидронимов см. рис. 1).

рошо оглажена, часто подлощена или лощеная до блеска. Орнамент линейный или расписной, преобладают криволинейные композиции. Керамика этой категории, которую дальше мы будем называть «тонкой», «привозной» или «парадной», нередко встречается и в культурах Днепровского бассейна. В этой связи можно назвать, например, высококачественную линейно-ленточную посуду неолита, трипольскую — медного века, керамику так называемого фракийского гальштата поздней бронзы, «столовую» лощеную посуду зарубинецкой культуры или уже изготовленную на круге керамику черняховской культуры раннеславянского времени.

Полный состав археологических культур изучаемого района Украины по эпохам приведен на прилагаемых картах, из которых видно, что эти культуры как по территориальному охвату, так и по времени их бытования были далеко не одинаковы (рис. 2—4). Различным был и их генезис. Одни из них были безусловно пришлыми, не имеющими местных генетических корней. Другие же являются несомненно автохтонными, сложившимися на местной генетической подоснове.

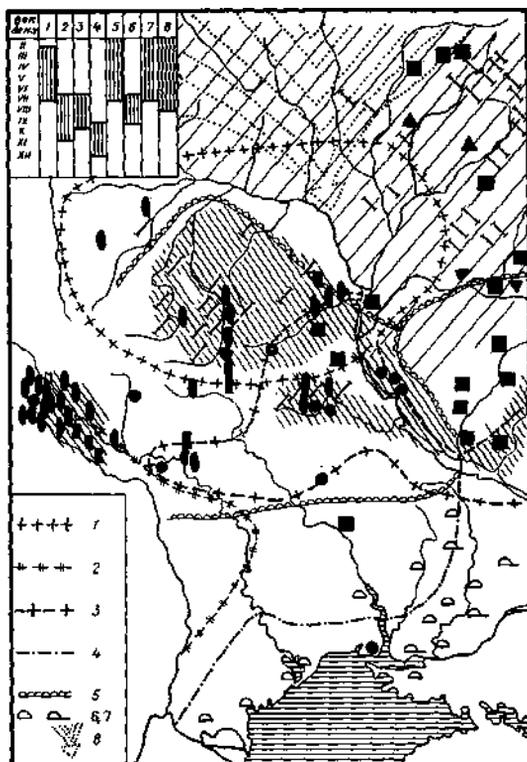


Рис. 4. Древние гидронимы и культуры позднейшей бронзы скифского времени Поднепровья
 1) Милоградская; 2) Фракийский Гальптит; 3) Чернолесская; 4) Белозерский; 5) Скифская левобережная и правобережная (сколотская); 6—7) Степные курганы киммерийцев и скифов; 8) Культура штрихованной керамики Белоруссии (объяснение гидронимов см. рис. 1).

Среди пришлых культур можно назвать, например, дунайскую, лендельскую, шаровидных амфор и трипольскую эпохи неолита-меди на правобережье Украины. Исходные их территории находятся в Центральной Европе и Подунавье, т. е. областях, издревле заселявшихся фракийскими, иллирийскими и др. племенами.

Судя по составу материалов, и прежде всего керамики, подавляющее большинство археологических культур бассейна Днепра было, однако, местным, автохтонным. Причем одни из них почти совершенно не испытали внешних «чуждых» влияний, в других же это ощущается весьма сильно. Среди первых можно отметить группу неолитических культур днепродонецкой общности, тшинецкую, многоваликовой керамики, белогрудовскую, милоградскую культуры — эпохи бронзы и раннего железного

века, а также киевскую, колочинскую к лтыры раннего средневековья и др. «Местными», видимо, следует считать и такие культуры, которые складывались на больших территориях, включающих и бассейн Днепра. Это, например, культуры ямочно-гребенчатой керамики, среднестоговская, ямная, срубная и др.

Среди культур Поднепровья, имевших также местное автохтонное происхождение, отмечается ряд таких, которые сложились и развивались под заметными внешними влияниями, в связи с чем они имеют выражение синкретического характера. К числу таких относятся, например, культура шнуровой керамики — сабастиновская, белозерская, чернолесская, лесостепная скифская и др.

После этих общих замечаний перейдем к рассмотрению двух конкретных вопросов, связанных с наличием на Правобережье Украины иллирийских и фракийских гидронимов.

Иллирийских гидронимов на Украине выделено более 40. Большинство из них «чисто» иллирийские, а некоторые в «кельтской оболочке» или же вообще в «кельтском употреблении» [7, с. 276—284]. По своему географическому размещению все иллирийские (кельтско-иллирийские) гидронимы на Украине образуют три скопления — «житомирское», «прикиевское» и «верхнеднепровское». Первые два включают более десяти наименований, третье — около 30. В Прикарпатье, кроме того, известны еще ряд иллирийских названий местностей (*Бескиды, Дукля*). Время появления этих гидронимов и топонимов лингвистически датировать весьма трудно, как у нас, так и в Центральной Европе, где иллирийские гидронимы также присутствуют.

Об иллирийцах Центральной Европы и Среднего Подунавья имеется уже значительная литература. Лингвистом Г. Краэ им посвящена отдельная книга. Иллирийцы в древности (до нашествия кельтов) занимали Западные Балканы и южную Паннонию; тут же обитали венеты [24, с. 14]. Г. Краэ полагает, что первоначально иллирийцы расселялись «к югу от Балтийского моря» [25, с. 169]. Считается, что иллирийцы наряду с другими народами Европы — кельтами, италиками, германцами, балтами и др. — входили в отдельную «западную», или «древнеевропейскую», лингвистическую общность [26, 27]. Иллирийские гидронимы выделены в разных местах Средней Европы — в Подунавье (*Срем, Сава, Драва* и др.), в междуречье Эльбы и Вислы и др. [28; 29, с. 202]. Предпринят ряд попыток увязать эти гидронимы с отдельными археологическими культурами разных эпох — гальплатской середины I тыс. до н. э.; лужицкой XII—V вв. до н. э. [25, с. 108—114; 29, с. 242; 30]. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, считают, что праиллирийцы, как и пракельты, протоиталики и др., «покрывались» унетичской культурой первой половины II тыс. до н. э. [31]. А по В. Георгиеву [6, с. 144], все эти племена в генетическом плане восходят к носителям дунайских культур V—III тыс. до н. э. — линейно-ленточной керамики и Лендель. Как упоминалось выше, носители последних проникали также далеко на восток, вплоть до Волины, где территория их распространения полностью совпадает с областью иллирийских гидронимов.

Следовательно, если иллирийская принадлежность гидронимов Украины лингвистами определена правильно, то время их появления здесь археологически устанавливается весьма определенно — V—IV тыс. до н. э. Во всяком случае это можно сказать о днепровской и житомирской группах (рис. 2). Дунайские племена на Украине обитали около четырех — пяти веков от середины V до начала IV тыс. до н. э. Район распростране-

ния памятников этой культуры полностью совпадает с областью днестровской и житомирской групп иллирийских гидронимов. Лендельская культура Волины датируется второй и третьей четвертью IV тыс. до н. э. Район ее распространения был «несколько уже, чем дунайской, но он также хорошо совпадает с житомирской группой гидронимов. Несколько сложнее решать вопрос о появлении иллирийских гидронимов киевской группы, которые не прерываются ареалами культур линейно-ленточной керамики и лендельской. Последние, как и обе более западные группы иллирийских гидронимов, хорошо вписываются, однако, в область культуры шаровидных амфор III тыс. до н. э., которая также имеет западное происхождение. Вопрос о генезисе культуры шаровидных амфор, которая возникла в IV тыс. до н. э. в междуречье Вислы и Одера,— сложный. Но несомненно, что в ее происхождении важную роль играли и дунайские элементы [32]. Следовательно, в составе ее носителей был, очевидно, и «дунайский» иллирийский этнический элемент. Такому столь полному совпадению скоплений иллирийских гидронимов и памятников указанных культур на Украине следует придавать особое значение, если учесть также и то, что все они имеют явно западное происхождение, т. е. связаны с районами исконного обитания иллирийских племен. Полное тождество материалов всех этих культур в Центральной Европе и на Украине не вызывает никакого сомнения.

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать ряд заключений: речь идет, во-первых, о появлении наиболее ранних иллирийских гидронимов на Украине — днестровской и житомирской групп (датируются второй половиной V—IV тыс. до н. э.); во-вторых, они возникли здесь в результате проникновения на Подолию и Волинь носителей дунайской и лендельской культур; в-третьих, гидронимы прикиевской группы, видимо, появились здесь несколько позже (вторая половина III тыс. до н. э.) в связи с распространением в этом районе племен культуры шаровидных амфор и, в-четвертых, носители всех этих культур в этническом плане были иллирийцами.

Остановимся далее кратко на рассмотрении вопроса о судьбах иллирийских гидронимов, возникших у нас в нео-энеолитическое время, а также на возможности увязки их в культурно-хронологическом плане с археологическими памятниками более поздних эпох. В этом отношении следует сразу сказать, что ни в эпоху бронзы, ни в раннем железном веке или раннеславянскую эпоху мы не видим столь полного совпадения лингвистических и археологических карт, как в неолите и энеолите. Особенно очевидным это становится на примере житомирского и прикиевского скопления гидронимов, которые выступают на картах культур эпохи бронзы, железа и ранних славян, например, шнуровой керамики, тшинецкой, белогрудовской, скифской, пеньковской и др., лишь в виде небольших локальных пятен. Все это, по нашему мнению, исключает возможность видеть в носителях этих культур создателей иллирийских гидронимов.

Несколько иная ситуация наблюдается, однако, в районе днестровской группы иллирийских гидронимов, которая довольно полно совпадает с картами распространения двух культур — комаровской, эпохи бронзы (рис. 3) и липецкой, раннего железного века. Интерпретация данного факта в плане определения иллирийской принадлежности и этих культур представляет определенную трудность. Что касается, например, комаровской культуры, то она является составной частью большой комаровско-тшинецко-сосницкой общности, занимающей пространства от Вислы до Десны. Причем на территории сосницкой и тшинецкой культур, в олиг-

чие от комаровской, иллирийские гидронимы практически отсутствуют, следовательно, говорить об иллирийской этнической принадлежности этих культур у нас нет никаких оснований. А если учесть, что основу комаровских комплексов составляют элементы, близкие к тшинецким [33], то этот вывод может быть распространен также и на комаровскую культуру. Это, однако, в целом, но в деталях проблема генезиса комаровской культуры была, видимо, значительно сложнее. Дело в том, что в составе материальной культуры, и прежде всего керамики комаровских памятников, в отличие от тшинецкой и сосницкой, присутствуют несомненно черты влияния культур карпато-дунайского круга, например, Монтеору, Костешти и др. Последнее проявляется в наличии здесь, кроме обычной кухонной керамики, «парадных» сосудов в виде двуручных ваз, черепков, украшенных нередко каннелюрным орнаментом [33; 21, I, с. 434]. Культуры Монтеору и Костешти, по мнению исследователей, были фракийскими или прафракийскими. Учитывая все сказанное выше, географическое совпадение днестровской группы иллирийских гидронимов и памятников комаровской культуры, видимо, надо считать случайным.

Еще больше, чем в комаровской, фракийских элементов отмечается в липецкой культуре, географически также довольно полно совпадающей с группой днестровских гидронимов. Однако ряд авторов у нас (М. Ю. Смишко, М. А. Тихонова, В. Д. Баран и др.) и за рубежом (С. Моринц, А. Точек и др.) считает, что липецкая культура является дакийской [21, III, с. 691]. Приведенные выше заключения о наличии заметных фракийских влияний в комаровской культуре и фрако-дакийской этнической принадлежности липецкой в известной мере вступают в противоречие с данными лингвистики, поскольку фракийские гидронимы на Верхнем Днестре количественно значительно уступают иллирийским (рис. 1). Не исключена возможность, что в нашей историографии существует еще известного рода недооценка присутствия в районе Верхнего Днестра иллирийско-кельтского этнического элемента, на что уже обращали внимание некоторые авторы [34]. Возможно, и среди отмеченных исследователями фракийских элементов в комаровской, липецкой и других культурах имели место и черты кельтско-иллирийской культуры. О присутствии кельтов на Верхнем Днестре в конце I тыс. до н. э. указывает, например, комплекс из Вовшева, исследованный Л. И. Крушельницкой. Определенные черты кельтских влияний прослеживаются, несомненно, и в расположенных на Верхнем Днестре пшеворских памятниках, особенно погребениях, например, таких, как Грини на Львовщине и др. [35]. Находки изделий кельтского происхождения в отдельных случаях встречаются и далеко на востоке, вплоть до Днестра, на основании чего Д. А. Мачинский делает заключение о появлении здесь иллирийских гидронимов только на рубеже эр [34]. С таким мнением, однако, согласиться трудно.

Итак, появление первых иллирийских гидронимов в Поднепровье и Волини и Киевском Поднепровье следует относить к V—III тыс. до н. э. в связи с проникновением сюда носителей дунайской, лендельской и шаровидных амфор культур, обитавших здесь, видимо, с некоторыми перерывами, более двух тысяч лет. Этим племенам, следовательно, принадлежит основная генеративная роль в сложении у нас иллирийской гидроними.

Фракийских (дако-фракийских) гидронимов на Украине выделено более десяти. Почти все они, за исключением одного (*Березань* в Причерноморье), сосредоточиваются в лесостепном Правобережье. Три из них здесь переходят на левый берег Днестра, не отдаляясь, однако, от его долины. Все эти гидронимы из бассейнов Южного Буга, Роси, Тетерева, ни-

зовья Случи и нижнего течения Трубежа образуют одно «бугско-днепровское» скопление (*Ибр, Янтра, Альта, Олт* и др.)- Три фракийских гидронима, кроме того, выделены также в бассейне Днестра, в том числе два на среднем и один на верхнем его течении (рис. 1).

Важно подчеркнуть, что ряд фракийских гидронимов Украины находит себе соответствующие пары на востоке Балканского п-ва, во Фракии, Мазии (*Янтра*) и Дакии (*Олт*). Во всех случаях это также, как и на Украине, названия рек [7, с. 282; 6, с. 136]. Видимо, здесь имеет место прямой перенос древними переселенцами фракийских наименований рек с Балкан в бассейн Южного Буга и Среднего Днепра. О. Н. Трубачев особо подчеркивает большую древность этого факта, когда культурные влияния и расселения племен шли с Балкан на территорию Восточной Европы, а не наоборот, что имело место, как известно, в раннеславянское время [7, с. 284].

Установлено, что многочисленные племена фракийцев издревле заселяли значительные территории Балкан от Вардаро-Моравского бассейна на западе до Пруто-Днестровского междуречья и западного побережья Черного моря — на востоке. По данным античных источников, здесь насчитывалось более 80 фракийских племен — бессы, одриссы, мизийцы, даки, геты, агафирсы и др. Дакоязычное население обитало в северных районах фракийского мира на Дунае, в Карпатах и бассейне Тисы, мизийцы — в Добрудже и на Дунае, агафирсы, как известно, были ближайшими соседями скифов. Греки называли всех фракийцев гетами, а римляне — даками [29, с. 205; 36, с. 3—4; 24, с. 14].

Древнейшие письменные сведения о фракийцах относятся к VIII—VI вв. до н. э., хотя о них упоминает еще Гомер. Исследователи считают, что фракийцы, дакийцы, мизийцы являются самым древним населением Балканского п-ва [6, с. 137, 144; 24, с. 16]. По мнению В. Георгиева, фракийцы были носителями культуры Караново I с расписной керамикой V тыс. до н. э., а дако-мизийцы — культуры Криш — Старчево того же времени. В эпоху бронзы и раннего железного века отмечается распространение фракоязычных племен вплоть до Верхнего Поднепровья и Северо-Восточного Прикарпатья, где к этому времени приурочиваются культуры фракийского галынтата (*Гава-Голиград*), типа Сахарны, Шолданешти и др. [36].

Фракийские племена, таким образом, на протяжении тысячелетий были ближайшими соседями населения Правобережья Днепра, в связи с чем появление здесь фракийских гидронимов нельзя считать чем-то особенным. Это тем более, что, судя по археологическим данным между Нижним Подунавьем и Прикарпатьем, с одной стороны, и Поднепровьем и Побужьем — с другой, всегда, начиная уже с эпохи неолита и энеолита, были оживленные культурные связи. Несомненны также факты миграции больших масс балканского, надо полагать, фракийского, населения из Нижнего Подунавья и Прикарпатья в междуречье Днестра — Южного Буга, а также на Средний и Верхний Днестр. Именно с этими инвазиями и следует связывать появившиеся здесь фракийские гидронимы. В этом плане мы и рассмотрим некоторые культуры Украины разных эпох, территории которых в большей или меньшей степени совпадают со скоплениями гидронимов. Речь пойдет, прежде всего, о трипольской культуре медного века, памятники которой, несомненно, территориально наиболее полно совпадают с очагами фракийских гидронимов в Поднепровье (рис. 2). Причем область этой культуры перекрывает почти все известные на Украине фракийские гидронимы, в том числе всю буго-днепровскую их группу и от-

дельные фракийские наименования рек Поднепровья. В плане этнокультурной увязки рассматриваемых гидронимов с Трипольем важно подчеркнуть и то обстоятельство, что, во-первых, трипольская культура имеет несомненно нижнедунайско-карпатское происхождение. Ее генетические корни ведут нас на Балканы и в Трансильванию, в область распространения с древнейшей эпохи культур с расписной керамикой [37, 38], т. е. районов, издревле заселявшихся фракийскими племенами. Во-вторых, трипольская культура занимала большие территории Украины, Молдавии и Румынии; несомненно, это было многочисленное оседлое население, от которого остались сотни поселений. В-третьих, трипольцы на указанной территории обитали как носители основного лингвистического субстрата весьма продолжительное время — более 1500 лет. За такой отрезок времени, безусловно, могли возникнуть многие топонимы и гидронимы.

Итак, появление первых фракийских гидронимов в Поднепровье следует датировать IV — первой половиной III тыс. до н. э., а равно считать трипольское население этого района своеобразным форпостом в расселении фракийских племен далеко на северо-восточном направлении, вплоть до Киево-Каневского Поднепровья.

Нужно отметить, что определение фракийской принадлежности племен трипольской культуры нельзя считать чем-то новым. Еще А. Я. Брюсов писал, что древнее население юго-запада СССР, в том числе и трипольцы — были фракийцами [12, с. 254]. О принадлежности фракийских гидронимов Поднепровья трипольцам говорит также О. Н. Трубочев [7, с. 282].

Среди культур эпохи бронзы и раннего железа заметное совпадение скоплений фракийских гидронимов отмечается еще только с памятниками чернолесской культуры (рис. 3, 4). На ее территорию попадают почти все фракийские наименования Среднего Поднепровья и один гидроним на Днестре. О происхождении и путях развития чернолесской культуры среди специалистов единого мнения нет. А. И. Тереножкин [39] считал, что она сложилась полностью на местной тишинско-белогрудовской подоснове. Многие авторы, однако, отмечают также значительную роль в этом процессе внешних влияний, шедших на Правобережье со стороны культур фракийского галыптата Поднепровья [40; 36, с. 87]. Степень участия последних при этом расценивается по-разному. Видимо, крайнюю позицию в этом вопросе занимает С. С. Березанская [41], которая считает, что чернолесская культура вообще возникла в лесостепном Левобережье Украины в результате инвазии фракийских племен агафиров в лесостепное Правобережье и даже на левый берег Днепра. С такой постановкой вопроса согласиться трудно, как и с мнением В. А. Ильинской [42], которая, наоборот, предполагает формирование культур Поднепровья всецело под влиянием Чернолесья Поднепровья.

Для выяснения вопроса взаимоотношения культур Среднего Поднепровья и Поднепровья в чернолесское время обратимся кратко к фактическим материалам. Чернолесская культура бытовала более двух веков, в ее комплексах материальной культуры действительно заметны значительные черты культур Поднепровья, фракийская принадлежность которых считается общепризнанной. Лучше всего эти элементы прослеживаются в керамике, где наряду с местными грубыми «кухонными» сосудами бытует и «парадная» высококачественная чернолощенная посуда явно заимствованных типов. Причем процент этой керамики иногда бывает здесь весьма значительным. На позднечернолесском поселении Жаботин в долине Тясмина чернолощенной «фракийской» керамики — более 50%. Еще

больше обнаружено на одном из участков Вельского городища в бассейне Ворсклы. Обращает на себя внимание и тот важный факт, что в керамическом комплексе Жаботина и простые «кухонные» горшки в целом изготовлены по технологии черно лощенной «парадной» керамики, хотя и обработаны менее тщательно, чем последняя (см. фонды ИА АН УССР). Все это указывает на то, что и «кухонная» и чернолощенная «парадная» керамика этого поселения изготавливалась на месте, видимо, одними и теми же мастерами, возможно, действительно фракийцами по происхождению. Следует, однако, заметить, что таких комплексов, как Жаботинский, в чернолесской культуре Поднепровья — единицы. В остальных же случаях на поселениях решительно преобладает грубая «кухонная» посуда, обычно при незначительной примеси чернолощенных «парадных» форм. Исходя из вышеизложенного, видимо, следует считать, что в вопросе генезиса чернолесской культуры ближе к истине стоят те авторы, которые предполагают сложение Чернолесья на местной белогрудовской подоснове при больших или меньших влияниях фракийских культур Поднепровья, например, типа культур Сахарны, Басарабы и др.

В свете изложенного возможность возникновения фракийских гидронимов в чернолесской среде, по нашему мнению, не исключается, хотя в это время условия их появления были куда менее благоприятны, чем в трипольское время. То же следует сказать и о культурах более позднего времени, например, скифской, где фракийские элементы представлены еще меньше, чем в Чернолесье, и географическое совмещение фракийской гидронимии с памятником этих культур, как и в чернолесское время, далеко уступает ситуации периода Триполья.

В послескифское время Правобережье Украины и Поднепровье перекраиваются границами ряда культур рубежа эр и I тыс. до н. э. — зарубинецкой, Черняховской, пеньковской и др. Охватывают они большие территории, на фоне которых скопления фракийских гидронимов выступают лишь в виде небольших локальных пятен в самой южной части области зарубинецких памятников на севере черняховской и примерно в середине области распространения пеньковской культуры. Учитывая это обстоятельство, а также характер общеисторической ситуации этого времени (завоевание Дакии Римом, переселение славян на Балканы и др.), говорить о возникновении фракийских гидронимов на Украине в связи с этими культурами, видимо, нет оснований.

*

Итак, выше в комплексе были рассмотрены данные гидронимии и археологии Правобережной Украины, согласно которым формирование здесь иллирийских и фракийских гидронимов следует отнести к глубокой древности. Иллирийские речные названия на Верхнем Днестре, на Волыни и Киевском Правобережье возникли еще в конце V—III тыс. до н. э. в связи с проникновением сюда носителей культур линейно-ленточной керамики, Лендель и шаровидных амфор, которые, следовательно, были иллирийцами. Появление фракийских гидронимов на более южных территориях Правобережья связывается с появлением здесь племен трипольской культуры, которая датируется IV — первой половиной III тыс. до н. э.

В силу культурно-языковых контактов иллирийцев и фракийцев с местным днепровским населением культур гребенчато-накольчатой, и, видимо, шнуровой керамики иллирийские и фракийские гидронимы перешли к местному днепровскому населению, а от него — к генетическим с ним связанным

племенам эпохи бронзы и раннего железного века, среди которых, считают, уже были и языковые предки славян. Впрочем, по нашему мнению, языковые предки славян могли быть уже и среди носителей культур гребенчато-накольчатой и шнуровой керамики конца IV—III тыс. до н. э., но этот вопрос здесь не рассматривался.

В заключение следует подчеркнуть, что выяснение такого очевидного соответствия лингвистических и археологических данных определяется в значительной степени периферийным положением на Украине иллирийцев и фракийцев, проникших в чужеродную среду.

В районах же их исконного расселения, т. е. в Центральной Европе и на Балканах, при наличии там многих родственных племен с близким составом материальной культуры такое соответствие гидронимов и археологических культур проследить, конечно, намного труднее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лер-Сплавинский Т. К. К современному состоянию проблемы происхождения славян // ВЯ. 1960. № 4.
2. Кнабе Г. С. К вопросу о соотношении археологической культуры и этноса в современной зарубежной литературе // Советская археология. 1959. № 3.
3. Дьяконов И. М. О прародине носителей индоевропейских диалектов // ВДИ. 1982. № 2-3.
4. Горнунг Б. В. Из истории образования общеславянского языкового единства. М., 1963.
5. Филин Ф. П. Некоторые проблемы славянского этно-и глоттогенеза // ВЯ. 1967. № 3.
6. Георгиев В. И. Исследования по сравнительному языкознанию. М., 1958.
7. Трубачев О. Я. Названия рек Правобережной Украины. Словообразование, этимология, этническая интерпретация. М., 1968.
8. Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днестре и Волге. М., 1966.
9. Rimantene R. Akmens amzius Lietuvoje. Vilnius, 1984.
10. Березанская С. С. Северная Украина в эпоху бронзы. Киев, 1982.
11. Членова П. Л. О времени появления ираноязычного населения в Северном Причерноморье // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.
12. Брюсов А. Я. Очерки из истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху. М., 1952.
13. Максимов Е. В. Зарубинецкая культура на территории УССР. Киев, 1982. С. 163.
14. Топоров В. Я., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
15. Стрижак О. С. Назви річок Полтавщини. КНІВ. 1963.
16. Пономаренко М. Ф. Идрощи Золотошщини // Повідомлення, Украшсьжн ономастично! КОМІСІ. Вып. II. Київ, 1967.
17. Лобова В. В. ТопоНіМп Дшпро-Бузького межир'ччя. Ш в, 1976.
18. Железняк И. М. Рось і етнолшгвштчш процеси середньонадднішрянського Правобережжя. Кшв, 1987.
19. Матвеев А. К. Некоторые вопросы лингвистического анализа субстратной топониимики // ВЯ. 1965. № 6.
20. Очерки по археологии Белоруссии. Минск, 1970.
21. Археология Украинской ССР. Т. I—III. Киев, 1985—1986.
22. Археология СССР. Энеолит. М., 1982.
23. Белорусская археология. Минск, 1987.
24. Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. София, 1981.
25. Krahe J. Die Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.
26. Porzig W. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954.
27. Krahe H. Unsere ältesten FhBnmen. Bd. 1. B., 1960.
28. Hensel W. Skacd przyszli Slowianie. Wroclaw, 1984. S. 175.
29. Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. М., 1974.
30. Hensel W. Polska Starozytna. Warszawa, 1980. S. 29—47.
31. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Ве. Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общеевропейского языка по лингвистическим и культурным данным // ВДИ. 1981. № 3. С. 31.
32. Archeologia Polski. T. VIII. Warszawa, 1963. S. 222—245.

33. *Свешников И. К.* Проблема происхождения комаровской культуры // Энеолит и бронзовый век Украины. Киев, 1976. С. 96—118.
34. *Мачинский Д. А.* Кельты на землях к востоку от Карпат // Археологический сборник Госэрмитажа. Вып. 15. Л., 1973.
35. *Козак Д. Н.* Могильник пшеворской культуры в Грине Верхнего Поднестровья // Археология. 1985. № 52.
36. *Мелокова А. И.* Скифия и фракийский мир. М., 1979. С. 3—4.
37. *Пассек Т. С.* Раннеземледельческие трипольские племена Поднестровья // Материалы и исследования по археологии СССР. 1961. № 84. С. 202—203.
38. *Збенович В. Г.* Поселение Бернашовка на Днестре. Киев, 1980. С. 155.
39. *Тереножкин А. И.* Предскифский период на Днепровском Правобережье. Киев, 1961.
40. *Рыбалова В. Д.* О связях правобережной лесостепной Украины с Центральной Европой в эпоху бронзы и раннего железа // Исследования по археологии СССР. Вып. 1. М., 1961.
41. *Березанская С. С.* Об этнической принадлежности черноморской культуры // Тр. междунар. конгр. археологов-славистов. Т. 4. Киев, 1988. С. 12—18.
42. *Ильинская В. А.* Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин. Киев, 1975. С. 176—177.

© 1990 г.

БОБРИК М.А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВИЛЬНОСТИ ТЕКСТА
И ЯЗЫКА В ИСТОРИИ КНИЖНОЙ СПРАВЫ В РОССИИ
(ОТ XI ДО XVIII в.)**

1. Введение. В ценностной иерархии средневековой словесности вершинное положение занимают сакральные тексты. Они служат образцами при создании оригинальных произведений и выполняют роль камертона правильности. Слежение за правильностью самих сакральных текстов составляет цель книжной справы — работы книжников по исправлению богослужебных книг и библейского перевода. Исходным текстом для славянской, в частности, русской книжной справы является корпус кирилло-мефодиевских переводов с греческого языка на славянский. Сопровождая бытование этого корпуса текстов в Славии, книжная справа вплоть до XVII в. сохраняет значение основного способа нормализации текстов и языка книжности [1]. Представления о правильности, складывающиеся у славянских книжников на том или ином этапе справы, формируют систему ценностей филологической культуры соответствующей эпохи. Поэтому важно понять, каким конкретным содержанием могло наполняться понятие книжной правильности, как менялись представления о ней русских филологов, каковы закономерности этих изменений.

Наблюдения над исправлениями, вносимыми книжником в имеющийся текст, дают основания судить о мотивах правки и тем самым о нормативных представлениях справщика. Суммируя имеющиеся данные по истории книжной справы, можно выделить четыре основных фактора, воздействующих на правку, а именно: 1) кодекс правил, 2) тексты-образцы (традиция текстов), 3) иноязычный оригинал, 4) система обиходного языка¹. Соотношение этих моментов между собою, характер каждого из них могли меняться на протяжении истории справы, и вместе с тем менялось содержание понятия правильности: она могла пониматься как буквальное следование греческому оригиналу, как воспроизведение традиционного славянского текста древнейших списков, как применение определенной системы правил орфографии и грамматики, как создание текста, максимально понятного верующим.

То или иное понимание книжной правильности связано с типом отношения к (сакральному) тексту — конвенциональным или неконвенциональным. Конвенциональный подход основан на идее условной связи между означаемым и означающим в слове; для него характерно релятивное

¹ Воздействие живой речи на язык стандартных церковнославянских текстов опосредствовано, однако, книжными нормами. Окказиональные отражения ее в этих текстах являются, строго говоря, отклонениями от нормы и потому не влияют на формирование нормативных представлений.

восприятие пратекста, стремление «улучшить» первоначальный перевод, приспособить его к локальным нормам книжности. Неконвенциональный подход к тексту основан на идее безусловной связи между означаемым и означающим; он характеризуется стремлением сохранить в первоначальном виде или реставрировать пратекст. Таким образом, неконвенциональный подход связан с консервативным началом, которое в определенных культурно-исторических условиях проявляется как реставрационное, в то время как конвенциональный подход связан с началом конструктивным.

В истории книжной sprawy конфликт этих подходов проявляется на двух уровнях. На одном из них сторонники sprawy противостоят противникам ее; на другом уровне возникает полемика между сторонниками конвенционального (конструктивного) и неконвенционального (реставрационно-консервативного) путей sprawy.

В данной статье предлагается первоначальная систематизация фактов истории книжной sprawy и филологической мысли в России в период с XI по XVIII в. с точки зрения противопоставления конвенционального и неконвенционального подходов к сакральному тексту. Цель такой систематизации — наметить линию развития представлений русских книжников о правильности текста и языка.

2. Книжная справа XI—XIV вв. Приобщение Руси к христианской культуре дало начало развитию русской книжной традиции. Необходимым этапом этого развития явилось усвоение кирилло-мефодиевского наследия. Адаптация его на русской почве происходит в процессе переписывания, исправления, редактирования южнославянских списков первоначального перевода. Это означало вовлечение Руси в общеславянский процесс книжной sprawy [2, с. 58; 3, с. 106—107; 4, 5, 6], в ходе которой формировались новые редакции канонических текстов и изводы древнеславянского литературного языка [7, с. 43; 8, с. 49—50].

К тому времени, когда на Руси начинается созидание собственной книжной традиции, южнославянская письменность уже пережила важный этап книжной sprawy, составивший ближайшую историю русской sprawy. Остановимся на некоторых существенных для нас моментах этого этапа.

В период с конца IX по конец X в. выявилось два различных подхода к пратексту кирилло-мефодиевских переводов, характеризовавших деятельность Охридской и Преславской школ книжности. Охридские книжники придерживались, по всей вероятности, неконвенционального подхода к первоначальным переводам. Архаичность рукописей, предположительно связываемых с Охридской школой, позволила исследователям говорить о консервативности ее [9; 10, с. 61; 11, с. 39] и о том, что до преславских реформ «на замкнутых уровнях языковой структуры приспособления традиционных норм к местным условиям не происходило» [7, с. 38]. Для преславских книжников характерен конвенциональный подход к пратексту. Осуществленная ими реформа славянского алфавита и языка, а также ревизия текстов свидетельствуют о стремлении преобразовать наследие первоучителей в соответствии с местными культурно-языковыми условиями. Конфликт между книжниками двух направлений, между сторонниками и противниками поновления первоначальных переводов, нашел отражение в сочинении черноризца Храбра «О писменах» (между 886 и 893 гг.), впоследствии чрезвычайно популярном на Руси. Оправдывая «построение» переводов Константина-Кирилла, автор апологии ссылается на историю текста Септуагинты, который неоднократно подвергался ревизии: «Аще ли кто речеть, яко нѣсть устроилъ (Кирилл.—

Б. М.) добр15, да по нем ся построяет, и отвъщаем имъ: и грещы многаши? суть построяли, Акилла и Симмахъ, по том и ини мнози» [12, с. 19].

Поскольку объект редакторской деятельности славянских книжников — переводы с греческого языка, постольку преславская реформа выдвигала проблему выбора типа переводческой техники. С позиций конвенционального подхода к тексту цель перевода состоит в передаче смысла оригинала понятными для адресата средствами его языка. Этот взгляд развивается в Прологе Иоанна экзарха к переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина (X в.). Согласно Иоанну, слова разных языков, обозначающие одно и то же понятие, могут не совпадать по своим грамматическим характеристикам. Истинность текста заключена в его смысле («разуме»), а не в форме слова («глаголе»). Поэтому при переводе неизбежны отклонения от буквального следования греческому оригиналу; «не бо есть лъзъ^ въсьде съмотрити елиньска гла, нъ разума нужда блюсти» [12, с. 37—38]. Воспроизведение структур греческого оригинала, с точки зрения Иоанна, влечет за собою искажение смысла и неудобопонятность перевода («на велику исказу придеть пръбложенье»). В теоретическом плане Иоанн продолжает переводческую традицию первоучителей, опираясь, вероятно, на концепцию Константина-Кирилла, изложенную в Македонском отрывке [13]. В то же время в своей переводческой практике Иоанн и книжники его круга культивируют ряд приемов буквального перевода и гречизации славянского языка книжности [11; 14, с. 133—134]. Таким образом, те же понятия истинности, правильности, которыми оперировал Константин-Кирилл, наполняются новым языковым содержанием, что связано с эллинизирующими тенденциями симоновской эпохи в Болгарии (ср. другую точку зрения [15]; ср. также [16]).

Итак, к концу X в. в южнославянской книжности достаточно четко обозначились две проблемы: 1) исправлять или не исправлять первоначальные переводы первоучителей; 2) если исправлять, то в какой мере ориентироваться на структуры греческого оригинала. Вокруг этих проблем и складывается конфликт конвенционального и неконвенционального подходов к библейским и богослужебным текстам.

Восприятие этой коллизии на Руси осуществлялось в ходе книжной sprawy. Разнообразие редакций и списков, а также наличие правленных рукописей канонических текстов делают очевидной активность редакторской деятельности русских писцов XI—XIV вв. Однако недостаточная степень изученности материала позволяет высказать лишь некоторые предварительные соображения о характере sprawy в этот период.

Переписывая и в той или иной мере перерабатывая текст протографа, писцы руководствуются сложившимися у них представлениями о правильности. Имеющаяся в рукописях правка отражает процесс усвоения южнославянских традиций, преодоление их и создание собственных книжных норм. В наибольшей степени это касается орфографии и морфологии, в лексике и синтаксисе вариативность значительно шире, а границы нормы более размыты [8, с. 50—51]; ср. [17]. Мотивами исправлений могли быть непонятность текста в той или иной его части, возможность двоякого толкования вследствие омонимии грамматических форм, несоответствие отраженных в тексте норм тем правилам, которым обучен писец. Как показали исследования недавнего времени, замены в рукописях могут быть ориентированы на определенные правила орфографии и книжного произношения, на факты живого произношения писца, на употребление одного из антиграфов, на греческий оригинал [18, с. 74—77; 81; 19; 20, с. 166]. Степень строгости воспроизведения антиграфа и структур грече-

ского оригинала (при использовании его редактором) неодинакова для разных функциональных типов канонических текстов. Так, контролируемая текстологическая традиция устанавливается в этот период для служебного типа, в то время как четвы и толковые тексты переписывались и переводились с большей свободой [21]. Например, в толковом переводе «Песни Песней» (XII в.) А. А. Алексеев выделяет два типа переводческой техники: «довольно буквально переведен библейский текст и вполне свободно переведены толкования» [20, с. 189, ср. с. 170—171].

Результатом конструктивной филологической работы русских книжников над инославянскими рукописями было формирование русской традиции канонических текстов и русского извода церковнославянского языка. Это позволяет говорить о том, что конвенциональный подход к тексту в период XI—XIV вв. является доминирующим. Если это так, то в словах диакона Григория в приписке к Остромирову Евангелию «молю же всьхъ почитающихъ: не мозѣте кляти, нъ исправлыпе почитайте» [22] можно увидеть реальное отношение к тексту, обобщенное в традиционной формуле, типичной для рукописей этого времени ².

Процесс изводообразования естественным образом привел к тому, что списки канонических текстов, выполненные в различных славянских землях, все более удалялись от пратекста по чтением и языку. К XIV в. достигается тот предел «разброса», когда нарушается баланс между местной нормой и тем инвариантом церковнославянского языка, сохранение которого позволяло славянам воспринимать этот язык как разновидность своего родного языка. Возникает движение, противоположное по направленности движению изводообразования — унификация канонических текстов славян [24].

3. Книжная справа XIV—XV вв. На новом своем этапе русская книжная справа, как и прежде, тесно связана с южнославянской и составляет с нею, по сути, две ветви единого процесса [2, с. 103—106]. Попытки унификации канонических текстов осуществляются с конца XIII в. в общеславянских центрах книжности — монастырях Афона и Константинополя. Здесь создаются новые редакции библейских и богослужебных текстов, выполняются новые переводы; здесь русские книжники практически усваивают новые принципы справки и перевода; отсюда исправленные списки начиная с XIV в. попадают на Русь [25, с. 97—100, 120—121, 191—194; 26, с. 150-157; 10, 85-96; 27, 28].

С точки зрения деятелей этого движения, книжная практика предшествующего периода, которая допускала отступление от буквы греческого оригинала при переводе канонических текстов на славянский язык и делала возможным проникновение в эти тексты локальных элементов, привела к порче текстов и языка славянской книжности. Излагая мотивы справщицеской деятельности своего наставника Евфимия патриарха Тырновского, Григорий Цамблак указывает: «Перви преводителе — или за еже Еллиньскаго языка же и учения не в конец ведети, или и своего языка дебелости служити — яже издаша книги не сложны в речех явишася и разумению греческих писанин не согласны, дебелством же связаны и негладкий к течению глагольному, и тъкмо от еже именоватися благочести-

² Ср., например, текст приписки к Изборнику 1073 г., где говорится о том, что князь повелел переписчику (переводчику?) «премину створитирѣчи инако набѣдѣште тождество разумъ» [3, с. 103]. Ср. также запись в Изборнике 1076 г.: «Иде же криво братие исправивше чѣѣте блгсловите а не кльѣте» [23].

вых книги верное имею. Мног же вред в них кряться истинным догматом сопротивление; тем же и многи ереси от сих произыдоша» [10, с. 96]. Идеи очищения церковнославянского языка путем усовершенствования его по образцу греческой грамматики высказываются в этот период также иноком Исайей и Константином Костенечским [29, с. 357; 30].

Таким образом, оформление новых представлений о правильности происходит в отталкивании от принципов конвенционального подхода к тексту. Понятия чистоты и правильности связываются теперь с верностью греческому оригиналу и отказом от локальных элементов. В текстологическом отношении это выражается в ориентации на современные справщикам списки греческого текста Евангелия, Апостола, Псалтыри и других книг [31]. Язык переводов подвергается грецизации и архаизации [18, с. 203—226]. Принципы поэлементного перевода обусловили, в частности, воспроизведение греческих моделей в синтаксисе (сохранение количества и порядка слов во фразе, глагольного управления, ряда причастных и инфинитивных оборотов), в лексике (рост числа калек и заимствований), в словообразовании (калькирование, композита) [32—35, 29; 14, с. 135—136]. Реставрационная установка и названные приметы переводческой техники свидетельствуют о том, что в книжной справе XIV—XV вв. актуализируется неконвенциональный подход к тексту.

В этот период редактируются тексты Евангелия (ГИМ, Син. 742), всего Нового Завета (чудовский список 1355 г. и родственные ему — см. [14, с. 145, примеч. 59]), Устава (ГИМ, Усп. 5-п; ГБЛ, ф. 256, Рум. 445), списки которых попадают из Константинополя на Русь и здесь переписываются [28]. Новое направление книжной деятельности поддерживается митрополитом Киприаном, который трудится над исправлением Псалтыри (ГБЛ, ф. 173, Фунд. 142), Служебника (ГИМ, Син. 601), переводит гимнографические тексты [36; 26, с. 153—157; 25, с. 82—93; 37, 38]. Резиденция Киприана в Троицком-Голенищеве под Москвой становится — наряду с монастырями Москвы, Твери, Новгорода — одним из центров, где принимаются, усваиваются, развиваются новые явления в книжном деле [39]. В юго-западнорусских землях при непосредственном участии митрополита Григория Цамблака книжная справа развивается в аналогичном направлении [25, с. 93'—97]. В результате этой деятельности частично преодолевается разнообразие списков славянских библейских и богослужебных книг [40] и осуществляется реформа церковнославянского языка русского извода.

Актуализация неконвенционального подхода к тексту связана с тенденцией к восстановлению единства славянской письменной культуры, к созданию панславянского книжного языка. Новые представления о книжной правильности, усваиваемые на Руси в ходе «второго южнославянского влияния», вступали в противоречие с традиционными взглядами русских книжников. Дальнейшее развитие этой коллизии во многом обусловлено судьбой «второго южнославянского влияния» на Руси.

4. Книжная справа XVI в. Реставрационно-пуристические идеи книжной справы XIV—XV вв. стимулировали грамматическую рефлексию. Поскольку адаптация текста к местным нормам может восприниматься как порча его, постольку необходимой становится система правил, которая бы позволила унифицировать региональные нормы и контролировать стабильность текста. В этот период систематические своды правил — грамматика «Осьмь честию слова» середины XIV в. (см. издание в [12, с. 40—54]; о ней см. [41]) и трактат Константина Костенечского «Сказание изъясленно о писменех» 1420-х гг. (см. издание в [12, с. 95—199]; [42]) — со-

здаются у южных славян. В XVI в. эти сочинения в различном объеме становятся известны на Руси в составе азбуковников [12, с. 266–275], под их непосредственным влиянием начинает складываться русская грамматическая традиция («Надтшание буквам...», «Книга глаголемая буквы», «О той силе книжной... и о силах гласу», «Сила существу книжного письма» и другие тексты). Грамматические сочинения этого времени не дают полного описания книжного языка, они носят характер справочника, предупреждающего типичные ошибки, а также содержащего грамматические указания и отсылки к стандартным текстам [43]. Подобного рода систематизация употреблений предполагала, вообще говоря, конвенциональный подход к слову: значение языковой формы отвлекалось от контекста, и однородные контексты обобщались в грамматических категориях. Оформление грамматического кодекса как самостоятельного способа нормализации книжного языка придавало справе новое направление — грамматика постепенно становится ведущим фактором правки.

Для процессов, происходивших в книжной справе XVI в., чрезвычайно значима и показательна справщическая деятельность Максима Грека, в которой он развивает ренессансные идеи филологической интерпретации канонических текстов. Греческий оригинал славянского перевода Библии и богослужебных книг Максим рассматривает как средоточие абсолютного смысла, который при переводе на другие языки может передаваться по-разному. Причину неисправности русских рукописей Максим естественным образом видит в недостатке знания греческого языка у прежних переводчиков и писцов. Так, в «Слове отвещательном о исправлении книг русских» (около 1540 г.) Максим говорит, что он исправляет книги «в них же растлевашеся, ово убо от преписующих, их ненаучених сущих и неискусных в разуме и хитрости грамотикийстей, ово же от самех исперва сотворших книжный превод приснопамятных мужей. Речет бо ся истинна, ест негде неполно разумевших силу еллинских речей и сего ради далече истинны отпадоша ... еллинская бо беседа много неудобь рассуждаемо имать различие толка речений, и аще кто недоволне и совершение научился будет яже грамотики, и питиикии, и риторикии, и самыя философии, не может прямо и совершенно ниже разумети писуемая, ниже предложити на ин язык» [44]. Целью исправления становится для Максима возможно более точная передача средствами славянского книжного языка смысла греческого оригинала. Это достигается, с одной стороны, выверением славянских текстов по греческим подлинникам, а с другой стороны — развитием грамматической ухищренности церковнославянского языка, который должен обладать широким репертуаром средств, достаточным для передачи смысловых оттенков греческого текста. В процитированном «Слове», как и в ряде других своих сочинений, Максим говорит о грамматическом искусстве («грамотике», «хитрости», *tsyv*) как о пути к овладению устройством греческого языка и усовершенствованию церковнославянского языка. Итак, по мнению Максима, греческий оригинал служит мерой правильности славянского канонического текста, а грамматическая система греческого языка — образцом устройства для славянского книжного языка. Эта общая установка получает, однако, по крайней мере две реализации в справщической деятельности Максима, различия между которыми обусловлены как типом исправляемого текста, так и языковым опытом Максима.

После прибытия в Москву в 1518 г. Максим занимался исправлением и переводом целого ряда канонических книг: Толковой Псалтыри (ГИМ, Син. 236), Апостольских Деяний с толкованиями, Цветной Троицы (ГИМ,

Шук. 329), Ч асослова, Евангелия, Апостола, Псалтыри. Как показали наблюдения Е. В. Кравец (устное сообщение) над языковыми исправлениями, внесенными Максимом, в частности, в текст Толковой Псалтыри, установка на сближение славянского и греческого языков выражается здесь в достаточно широком использовании грецизмов в синтаксисе, словообразовании, лексике, орфографии, отчасти в морфологии. Грецизированный вариант церковнославянского языка сопряжен с этих текстах с принципами послонного перевода. Таким образом, в своих взглядах на книжную правильность и пути овладения грамматическим искусством Максим в правке 1520-х гг. близок своим предшественникам, деятелям sprawy эпохи Киприана.

Иное понимание правильности нашло отражение в переводе Псалтыри, который был выполнен Максимом в 1552 г. по просьбе его ученика Нила Курлятева (ГИМ, Увар. 85). Замены, осуществляемые Максимом в сравнении с традиционным псалтырным текстом, свидетельствуют об отказе от элементов, воспринимаемых как заимствованные — грецизмов и южнославянизмов [45]. При этом в рубрику «чужого» могут попадать элементы южнославянского и греческого происхождения, не специфичные для церковнославянского языка периода «второго южнославянского влияния» [46]. Моделирующая роль греческого языка проявляется теперь не столько в калькировании и послонном переводе, сколько в расширенном использовании принципов построения греческой грамматики. Это проявилось, в частности, в утверждении л-формы во 2 л. ед. ч. аористой парадигмы славянского глагола: по аналогии с греческой соответствующей парадигмой разрешалась, таким образом, омонимия 2 и 3 л. ед. ч. [18, с. 155—159]. Корректировка прежнего понимания правильности сопровождается у Максима переоценкой роли традиционного употребления в нормализации — использование элементов греческого и южнославянского происхождения поверяется узусом стандартных текстов.

Данная концепция правильности формируется у Максима Грека в отталкивании от предшествующего этапа книжной sprawy и полемически направлена против сторонников и продолжателей идей митрополита Киприана. Это находит выражение, в частности в выборе источников при работе над переводом 1552 г. — Максим опирается в нем на древнейшую (докиприановскую) редакцию Псалтыри, [38]. Предисловие к переводу было составлено Нилом, который, выражая взгляды своего наставника, определяет достоинства нового перевода на фоне киприановского текста Псалтыри: «А прежний переводъцы нашего языка известно не знали, и *offb* перевели ино гречески, ово словенски и ино сербски и другаа болгарски, их же не удоволишася преложити на русский языкъ. А Киприан митрополит по гречески гораздно не разум-Ьть и нашего языка довольно не зналь же... И онъ мнилъ ся что поправиль псал'мов по нашему а болши неразумие в них написаль в р'Ьчех и в' словех, все по сербски написаль... Сей переводщик (Максим.— *Б. М.*) по златоустову писанию добрт. в-врел и приятен во всем и добр'Ь в-вдаль и довольно наш языкъ... занъ ж отнюд п'Ьт р'Ьчей по серб'ски или болгарски, но все по нашему языку прямо з' греческаг(о) языка и без украшения» [47, с. 96—98]. Итак, критериями правильности в предисловии являются точность в передаче смысла греческого оригинала, соблюдение норм русского языка книжности и понятность перевода. Значимость критерия понятности обусловлена задачами перевода 1552 г., который был предпринят Максимом для обучения Нила греческому языку и истолкования для него псалтырного текста. «Неразумие» киприановского перевода объясняется, с точки зрения Максима и его уче-

ника, не только плохим знанием греческого языка (неспособность ясно передать смысл оригинала есть следствие неверного понимания), но и плохим знанием русского церковнославянского (злоупотребление гречизмами и южнославянизмами есть проявление неспособности выбрать адекватные средства передачи смысла подлинника)³.

Таким образом, во взглядах Максима Грека осуществляется синтез двух концепций книжной правильности, противостоявших друг другу в предшествующий период справы. В своих представлениях о греческом языке как образчике для языка русской книжности, о возможно более близких к оригиналам переводах с греческого языка как пути усвоения его достоинств Максим продолжает линию неконвенционального подхода к тексту, развивавшуюся в книжной справе эпохи панславизма XIV—XV вв. Вместе с тем он обращается к русской традиционной книжности с ее принципами понятности сакрального текста и сложившимися правилами перевода.

Деятельность Максима по исправлению славянских канонических текстов вызвала противодействие со стороны московской духовной иерархии и определенного круга книжников. Митрополит Даниил и его сторонники, занимая охранительную позицию, полагают, что правильность библейских и богослужебных текстов обеспечивается русской рукописной традицией и традиционной экзегезой. Такой подход, очевидно, исключал справу по греческим оригиналам, поскольку истинными признавались первоначальные переводы с греческого, сохраняемые рукописной традицией. В своих показаниях по делу Максима Грека на Соборе 1530 г. об этом говорит писец Михаил Медоваршев, передавая свой разговор со сторонником Максима Вассианом Патрикеевым: «И Васьян старец мне рек: Мало ли деи наши что бредили и писали. И яз молвил: Наши русские книги переведены з греческих же книг, а писаны они от святого духа святыми апостолами и святыми отцы. И Васьян старец рек: От диавола писаны, а не от святого духа... А до Максима есмя по тем нашим книгам бога хулили, а не славили, ни молили. А ныне есмя бога опознали Максимом и его учением» [48, с. 105]. Из слов Михаила видно, что он пытается противопоставить позиции Вассиана идею самостоятельной ценности русской рукописной традиции. Митрополит Даниил и его сторонники оценивают исправления Максима, исходя из употребления в стандартных церковнославянских текстах, и воспринимают грамматические замены как искажение смысла текста [49]. Консервативное отношение к традиционным чтениям неизбежно развивало стремление сохранить «букву» текста. Достаточно ярким свидетельством неконвенционального подхода могут служить слова Михаила Медоварцева о благочестивом ужасе, который ему пришлось испытать, вымарывая под руководством Максима часть сакрального текста: «И яз, господине,— говорит Михаил,— стал гладити, да заглядил две строки, а вперед гладити посумнелся есми. И яз рек Максиму: Не могу, господине, заглаживать, дрожь мя великая поймала и ужас на меня напал. И Максим, взем книгу, да сам заглядил все то и до конца» [48, с. 106]. Та-

³ Сходное отношение к деятельности последователей Киприана высказывает другой ученик Максима, инок Седиван в предисловии к Максиму переводу Бесед Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея. Говоря о точности и понятности этого перевода, Седиван подчеркивает грамматические расхождения между славянским и греческим языками и предостерегает от буквального перевода: Ш:сть бо, нъсть льть по истиннъ всячески премудрѣйшему оному послѣдовати языку, понеже обрящетсяопротивно; ни же бо роды, ни же времена, ни же скончания подобна ея имѡуть, но вся пременена. Сего ради разума паче всего искати подобает, егоже ничтоже частнѣйше» [12, с. 342].

ким образом, деятельность Максима способствовала консолидации элементов консервативного отношения к тексту. Та рукописная традиция, которая сама некогда сложилась благодаря конструктивному освоению кирилло-мефодиевского наследия, теперь становится основанием консервативной оппозиции книжной справе.

Итак, справщическая работа Максима создает конфликтную ситуацию, в которой можно видеть два уровня. На одном из них взгляды Максима на книжную правильность противостоят взглядам на нее последователей Киприана; другой уровень составляет конфликт Максима со сторонниками митрополита Даниила. Эти линии противостояний пересекаются. С одной стороны, Максим и его школа (Нил Курлятев, Зиновий Отенский, Селиван) полемизируют с двумя проявлениями неконвенционального подхода к тексту — школой Киприана и сторонниками Даниила. С другой стороны, деятельность Максима, как и охранительная позиция Даниила, были разными проявлениями утверждающейся в Московской Руси тенденции к обособлению русской письменной традиции, осмыслявшейся в отталкивании от предшествующих попыток реставрации славянского культурного единства.

Важным направлением книжной справы последней четверти XV—XVI в. является консолидация корпуса канонических текстов. Над сборником, переводом, редактированием библейских книг трудятся Иван Черный [50], составители Геннадиевского свода 1499 г. [51, 52], Матвей Десятый [53], Франциск Скоруна, митрополит Макарий [54], наконец, составители Острожского свода 1580—1581 гг. Наиболее значимым для истории церковнославянской книжной нормы и вместе с тем наиболее хорошо изученным представляется взгляд на проблемы правильности редакторов Острожской Библии.

То понимание книжной правильности, которое ложится в основу критико-филологического метода острожцев, в ряде моментов сходно со взглядами Максима Грека — авторитет его очень высок для составителей Острожской Библии; в определенном смысле издание ее явилось осуществлением идей Максима об исправлении книжном, идей, потерпевших фиаско в Московской Руси⁴. Призванная быть опорой в религиозной полемике, «камнем веры», Острожская Библия должна была, по замыслу ее составителей, представлять выверенный по многочисленным источникам древнейший перевод Библии на славянский язык. Отсюда главная задача издателей: выбрать основной список славянского текста и основной источник, по которому этот список будет выверяться. В предисловии к Библии основным славянским текстом называется московский список (с Геннадиевского свода 1499 г.), а основой сверки — Септуагинта.

В предисловии князя Константина славянский перевод Библии, как кажется, впервые связывается с эпохой князя Владимира Святого⁵. Здесь говорится, что острожцы получили из Москвы «свършеную вивлию з' греческа языка, семь десять и двѣма преводники множае пяти сотѣ Л-БТЬ на словен'ский преведеную еще за великаго Владимира, крстившаго землю рускую». Утверждая равенство в достоинстве греческого и славянского текстов Библии, Константин проводит прямую параллель между «кни-

⁴ По предположению Х. Олмстеда и М. Таубе, перевод Максима из книги Эсфирь был использован при подготовке Острожского издания [55, 56].

⁵ Впрочем, в некоторых русских памятниках фигура Владимира связывается с деятельностью первоучителей, например, в Палее XV в., где приводится рассказ о крещении Владимира Константином-Кириллом ([57]; ср. [12, с. 20—21]).

горачителем» Птоломеем Филадельфом и просветителем Руси князем Владимиром, между переводчиками Септуагинты и переводчиками Библии на славянский язык⁶. Таким образом, начало русской письменной традиции возводится ко времени Владимира Святого, а прямой продолжительницей и хранительницей этой традиции объявляется московская книжность, что обусловлено ориентацией острожского издания на культурно-религиозный авторитет Москвы и в то же время на идеальное единство в прошлом русской культуры. Впоследствии мифологизированная версия истории славянского перевода Библии переходит в предисловии к московскому изданию Библии 1663 г. и к Елизаветинской Библии 1751 г.

По мнению издателей Острожского свода, реставрация пратекста достигается путем сверки славянского текста с греческим текстом Септуагинты, которая признается наиболее правильным из греческих переводов Священного Писания, ближайшим по тексту как к еврейскому оригиналу, так и к славянскому переводу Библии. В предисловии об этом говорится следующее: «Звод древняго писания славнаго, и глубочайшаго языка и писма еллинскаго от ОВ блженныхъ и бгомудрыхъ преводниковъ на умоление желаемое книгорачителя П'толомея Филадельфа цря егупетска, от языка евреиска во еллинский преведеную избрахъ, она же паче инх множа со еврейскою и словенскою съглашашеся. и сего (извода.— Б. М.) ѿ всемъ неизм'бн'но, и несуменно послъдовати повел'бхъ» [58].

Анализ филологических приемов острожцев, проведенный А. А. Алексеевым, показал, что в основу Библии 1580—1581 гг. был положен список с Геннадиевского свода 1499 г. Основная часть библейского корпуса была более или менее последовательно, с большей или меньшей глубиной переработана по греческому тексту Септуагинты в издании 1518 г. (или в одной из позднейших его перепечаток). В круг источников Острожской Библии входили также латинская Вульгата, чешская Библия Мелантриха, «Библия руска» Ф. Скорины, а также ряд дополнительных славянских источников [59, с. VIII, 3-164; 60, 61; 62, с. 15-18].

Основное содержание лингвистической работы справщиков составляет устранение латинизмов, форм, воспринимавшихся как не книжные, и замена их на южнославянизмы и грецизмы [62, с. 18—19; 63, 64]. При этом широкое использование южнославянизмов может быть в равной степени отнесено на счет южнославянских по происхождению источников и на счет сознательной реставрации языковых черт древнейшего перевода. Хотя наблюдения над орфографией и лексикой Острожской Библии требуют проверки и уточнения данными грамматического уровня, можно составить достаточно ясное представление о взглядах издателей на книжную правильность. Итак, в текстологическом отношении правильность связывается с верностью греческому тексту, в языковом плане — с расширенным использованием южнославянизмов и грецизмов, но в то же время с заботой о ясности текста. Синтез неконвенционального и конвенционального подходов к тексту осуществляется острожцами на основе норм, усвоенных в ходе sprawy XIV—XV вв. и оказавшихся для юго-западнорусской книжности более органичными, чем для московской.

5. Книжная справа первой половины XVII в. С развитием в Московской Руси книгопечатания (анонимная типография появляется в Москве

⁶ Как ранее в апологии Храбра⁷, так и впоследствии в предисловии к Евангелию 1673—1674 гг. (см. об этом ниже) актуализация этой модели имеет место всякий раз, когда выдвигается вопрос о сравнительном достоинстве греческого и славянского переводов Библии.

с 1563 г.) значение книжной справки возрастает, при типографиях создаются особые штаты справщиков. В своей редакторской деятельности они руководствуются тем пониманием правильности, которое ориентировано на славянскую рукописную традицию и не предполагает сверки с греческими оригиналами. По завершении процессов над Максимом Греком это традиционное понимание книжной правильности было закреплено Собором 1551 г., вмнявшим собраниям духовенства по городам слежение за исправностью церковных книг по «добрым» спискам: «А который будут святяя книги в коейждо сущь церкви обрящете не правлены и описливы и вы бытъ книги съ добрыхъ переводовъ исправливали соборнь» [65].

Вместе с тем в справе этого периода находит продолжение традиция филологической критики канонических текстов, связанная с Максимом Греком и поддерживаемая прежде всего в Троицы Сергеев монастыре, где он провел последний период жизни. В рамках этой традиции в 1616—1618 гг. было предпринято исправление Требника издания 1602 г.

Конфликт между справщиками (архимандрит Троицы Сергиева монастыря Дионисий Зобнинский, Арсений Глухой, Антоний Крылов, Иван Наседка, старец Захей) и их оппонентами (старцы Филарет и Логин, священник Филипп, диакон Маркелл, архимандрит Чудова монастыря Авраамий, канонарх Спаса Нового монастыря Дорофей и другие), вылившийся в открытую полемику на Соборе 1618 г., основан на расхождении в текстологических принципах справки и в отношении к грамматике. В своей текстологической работе Дионисий и его сотрудники, как и типографские справщики, опираются на рукописную традицию и не обращаются непосредственно к греческим оригиналам; правильность текста, по их мнению, обеспечивается «старыми» переводами с греческого. Существенно, однако, что в группе из двух десятков славянских рукописей, использованных при исправлении, наиболее авторитетными для справщиков были тексты Киприана и Максима (список 1481 г. с Киприановского Служебника 1395 г. и канонник в редакции Максима Грека [66, с. 210]).

Главным в полемике справщиков и их оппонентов становится вопрос о грамматике. Взгляды справщиков на книжную правильность основаны на учении о грамматике как инструменте познания абсолютной истины через сакральный текст. Именно поэтому неискусенность в грамматическом искусстве может выдвигаться справщиками в качестве обвинения их оппонентам. «Бог свидетель,— пишет в своей соборной речи Арсений Глухой,— несть в нас ни в коем ереси никакая... Оглаголющеи нас неправедным словом ино и единаго речения грамматического учения не знают.— ни времени, лиц, ни родов, ни числа, а мнится разумен быти и мыслен и разумлив» [66, с. 432]. Грамматический анализ текста, связанный с систематизацией однородных употреблений, сопряжен с конвенциональным подходом к слову. Оправдывая исправление слова *тля* на слово *тление*, Арсений указывает на то, что они являются синонимами и что замена необходима для прояснения контекста, поскольку *тля* в значении «тление» омонимично слову *тля*, обозначающему насекомое: «В наших же переводах русских сия имена ТЛЯ и ТЛЕНИЕ едино знаменуют, не глаголом точио чтушему или поюшему подобает внимати, но разума нужда блости» [66, с. 432]. Примечательно в этой цитате не только то, что Арсений опирается на определенную переводческую традицию, но и использование им аллюзии к тексту Пролога Иоанна экзарха (ср. «не бо есть лъзйь въсьде съмотрити елынська гла, нь разума нужда блости» [12, с. 37—38]), что подчеркивает преемственность идей грамматического учения по отношению к раннеславянской филологической традиции'. Итак, целью книжной

справы признается смысловая точность текста, которая достигается грамматическим анализом слов и форм.

Оппоненты Дионисия и его сотрудников отказывались признать ее замены в тексте как таковые — согласно практике контролируемой текстологической традиции, единичные исправления в одном данном контексте в принципе допускались, — они не хотели признать какую бы то ни было систематизацию исправлений, обобщение их для аналогичных контекстов. Грамматический анализ текста воспринимается ими как суемудрие, привнесение ограниченного человеческого знания в богодухновенный текст и тем самым как порча этого текста (о восприятии грамматики как «внешней мудрости» в русской книжности XVI—XVII вв. см. [67]). На Соборе 1618 г. исправители обвиняются в ереси, однако получают поддержку нового патриарха Филарета; созданный им в 1620 г. Собор завершается оправданием и прославлением ранее осужденных справщиков.

Вплоть до середины XVII в. взгляды Дионисия и его сотрудников становятся определяющими для книжной справы, значение которой возрастает с активизацией книгоиздательской деятельности в 1630—1640-х гг. На Печатном дворе в Москве складывается значительная группа книжников (Иван Наседка, Михаил Рогов, Мартемьян Шестак, архимандрит Сильвестр, протопоп Иоаким, Захарий Афанасьев, Захарий Новиков), рассматривающих книжную справу как часть движения за обновление православного благочестия и близких по своим взглядам кружку боголюбцев. К этому времени расхождения между юго-западнорусской и московской традициями справы, между юго-западнорусским и московским вариантами церковнославянского языка, обозначившиеся уже в XVI в., становятся отчетливо выраженными.

Вопросом принципиальной важности, определяющим различия в понимании книжной правильности, становится в этот период отношение к новым европейским изданиям греческих текстов библейских и богослужебных книг. Считая, что после захвата Константинополя турками благочестие греков повредилось, московские книжники ориентировались на «древние», «правые» переводы с греческого, т. е. на славянскую рукописную традицию. В Юго-Западной Руси, напротив, за основу исправления принимались греческие тексты по новым европейским (преимущественно венецианским) изданиям, тогда как славянская рукописная традиция практически игнорировалась. Так, в предисловии к Служебнику, изданному в Киеве в 1629 г., архимандрит Тарасий Земка заявлял: «Книга сия Служебник от Еллинскаго зводу истиннаго, егоже Вьсточная наша Церков Госпоже и Учителница Первейшая употребляет, исправлен есть... Аще бо не от того Диалекту, имже от Святых Отец Святая Литургия написана, предадеса, исправляти будем, то нечем откуду, понеже вся Книги Славенския от колико сот лет преписуются невежами, токмо чернилом мажущими, ума же не имущими, языка не умеющими, и силы словес не ведущими» [68]. Различия во взглядах на славянскую рукописную традицию между московскими и юго-западнорусскими книжниками выявились, в частности, во время прений московских справщиков с Лаврентием Зизианием в 1627 г., когда они указывали: «Киприан, митрополит киевский и всеа Руси...привез правилные книги христианского закона греческого язы-

⁷ Следует в этой связи отметить, что филологические сочинения Максима Грека по проблемам перевода и исправления канонических текстов включаются в XVI—XVII вв. в азбучники и воспринимаются в одном ряду с текстами апологии Храбра и Пролога Иоанна [47, с. 16—25].

ка правила и перевел на словенский язык и Божиею милостию пребывают и доныне без всяких смутов и прикладов новых вводов; да многия книги греческаго языка есть у нас старых переводов, а ныне к нам которые книги входят печатные греческаго ж языка и будет сойдутца с старыми переводы и мы их приемлем и любим; а будет что в них приложено ново и мы тех не приемлем, хотя они и греческим языком тиснуты, потому что Греки живут ныне в великих теснотах в неверных странах и печатати им по своему обычаю невозможно» [69].

Различными оказываются и принципы грамматической нормализации текста. Если московские книжники ориентируются на традиционное употребление своих источников и на грамматику «О осми частех слова»⁸, то юго-западнорусские справщики — на языковые модели греческих оригиналов и на грамматику Мелетия Смотрицкого. Взаимодействие двух этих традиций происходит в ходе книжной sprawy 2-й пол. XVII в. на фоне конфликтов между никонианами и старообрядцами, между «латинумудрами» и «грекофилами».

6. Книжная справа второй половины XVII в. Новый этап книжной sprawy связан с возрастанием теократических тенденций в Московской Руси, с грекофильской ориентацией патриарха Никона (1652—1658), с отказом от взгляда на отечественную старину как на основу православного благочестия. Ведущее положение в справе этого времени занимают выходцы из Юго-Западной Руси (Арсений Сатановский, Елифаний Славинецкий), реализующие в своей справщической и учительской деятельности те принципы книжной правильности, которые сложились в юго-западнорусской книжности. На Соборе 1654 г. принимается решение «впредь быти исправлению в печатном тиснении Божественным книгам против древних харатейных и греческих книг уставов, потребников, служебников же и часословов» [71]. Это означало, что основными источниками sprawy объявлялись славянская рукописная традиция и греческие оригиналы канонических текстов. На деле, однако, в целом ряде случаев исправление производится не непосредственно по греческим текстам, а по юго-западнорусским изданиям [72].

Начало никоновской sprawy вызывает столкновение различных взглядов на книжную правильность и знаменует собою новое обострение коллизии конвенционального и неконвенционального подходов к тексту. Однозначное соотнесение этих подходов с позициями, соответственно, никониан и старообрядцев [73], думается, упрощает ситуацию и не учитывает реальную неоднородность филологических взглядов внутри каждой из двух идеологических группировок. Обобщая эти взгляды, можно говорить по крайней мере о двух уровнях конфликта: первый уровень составляет оппозиция «справщики — противники исправлений» (никониане — старообрядцы), на втором уровне выявляется оппозиция «конвенциональный — неконвенциональный подход к тексту» внутри каждой из сторон первого уровня. В группе справщиков друг другу противостоят Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, с одной стороны, и Елифаний Славинецкий, Евфимий

⁸ Ссылка на эти источники содержится, например, в послесловии к изданию исправленного Пролога: «И о семь же васъ не немолимъ, яко да не позазритъ ваша купно общаго совета совѣсть, егда убо узрите в'писменъхъ, яко бы рещи за недочычене странность, или в'просодии. и возмнитися вы яко ново сие и необычно; ей ей, неново и, йенами убо сия в'писашася. но ово убо от древнихъ в'дущихъ добродисцовъ наша великия русин; овоже от граматическаго любомудрия, сир'вчь от осмочастнаго разумения и правления, в' род'хъ, в' числ'хъ в' падежехъ, во времен'хъ, влшг'хъ, в' наклоненияхъ» [70].

Чудовский — с другой стороны. Среди старообрядческих деятелей одна часть тяготеет к конвенциональному взгляду на сакральный текст (Федор Иванов, Авраамий), другая часть отстаивает неконвенциональный подход (Аввакум, Спиридон Потемкин).

Как и в предшествующий период, мотивировка вносимых в тексты исправлений строится с п р а в щ и к а м и как апология грамматического учения. Осведомленность в грамматических науках признается необходимым условием книжной деятельности. «Неученым же людемь,— пишет в „Увете духовном“ Афанасий Холмогорский,— грамматическому художеству, философии же и бгословию, не токмо возможно добрт. преводити иной языкъ, но глати, и преписывати книгъ, ни мало учая не возможно есть, в' прежняя времена р'дко такая люди въ российской державе обр'бталися, который точию по книз3. глаголати мало можеть, а не лисати книги, ради неучения грамматическихъ наукъ. И тако книги стьяя, самыя нуждн-Бйшя тогда писаша како кто могъ, не зная правописания силы» [74, л. 260 об—261]. Сходные мысли высказывает Евфимий Чудовский в трактате «О исправлении в предепечатанных книгах Минеах»: «Книгописатели же рустии или и преводници неции быше не велми известии грамматиче славенстей⁹ (не бе бо древле изьяснена на славенском языке яко ныне), и о степенях или небрегоша, или недоразумеша, писаша ово правило, аще и не везде, ово же и неправильно» [75, с. 93]. В соответствии с этим аргументация исправлений строится на грамматическом разборе славянского текста в соотнесении с греческим оригиналом (см., например [76]). В полемических сочинениях справщиков нередки и прямые ссылки на правила грамматики М. Смотрицкого [77]. С этих позиций справщики обвиняют старообрядцев в невежестве. Одним из примеров может служить высказывание патриарха Иоакима во время прения со старообрядцами в Грановитой палате в 1682 г.: «А вера у нас православная старого православия, греческого закона, в ней же святии Отцы Богу угодили; исправлена с греческих и с наших харатейных книг грамматике, и мы от себе ничего не внесохом в Церковь Божию но все от тых писаний. Вы же грамматического разума не коснулися и не знаете, какову силу в себе содержит» [78]. Итак, ориентация на новые греческие тексты, на юго-западнорусские издания и на правила грамматики М. Смотрицкого определяет общность справщиков в понимании книжной правильности. Вместе с тем во взглядах на перевод и на норму церковнославянского языка обнаруживаются расхождения между Симеоном Полоцким и Сильвестром Медведевым, с одной стороны, и Е. Славинецким и Евфимием — с другой.

Симеон Полоцкий в своем понимании правильности исходит из конвенционального взгляда на текст. Мысль филологической экзегезы, по его мнению, заключается в поисках правильной интерпретации текста. В «Жезле правления» Полоцкий сформулировал свое понимание правильного перевода: «Сказатель же или преводитель странного языка сей есть верный, иже и разум и речение преводит неложно, ничесоже оставляя» [79]. Поскольку число возможных интерпретаций бесконечно, предшествующие переводы канонических книг, в том числе кирилло-мефодиевские, приобретают относительную ценность. Афанасий Холмогорский, подчеркивая пи-

⁹ Следуя средневековой традиции словоупотребления, справщики могут использовать слово *грамматика* в двух значениях: чаще — в значении «грамматическое искусство» как реализация определенных правил в текстах; реже (как в данной цитате) — в метонимическом значении «свод правил» (Евфимий имеет в виду грамматику М. Смотрицкого).

тетное отношение к текстам первоначальных переводов, указывает, как и Симеон, на необходимость новых, более исправных переводов: «И гб стьяя книги, яко первое Д'БЮ велико похвалное, аще и описанное, и прописанное что, никтоже укоряеть. яко сему быти погр'шению в' нихъ недивно естъ, но въ велшгбй чести суть всюду содержатся тб книги старья, ради преводовъ и в'БДвниа как древле б-вша. И учашися инаго языка, яко свойственнаго намъ греческаго, могутъ с' того языка, и с' ихъ книгъ яко на известный образъ смотря знати: и превода не гр'штити, но исправите лучше. Ибо егда болши людей разумныхъ, болши единого смыслятъ» [74, л. 262—262об]. Итак, чем больше переводов одного и того же текста, тем полнее открывается его смысл (ср. [73, с. 28; 18, с. 285—288]).

Верность перевода понимается Полошким и его последователями как адекватная передача смысла оригинала понятными для читателя средствами славянского языка. Выбор языковых средств при переводе и при создании оригинального текста в принципе одинаков. Переводчик, по мнению Симеона, должен следовать прежде всего грамматике М. Смотрицкого. Как свидетельствует языковая практика Симеона, он считал, что точность и понятность при переводе достигаются при ориентации на нейтрально-книжные варианты церковнославянской грамматики (не грецизированные), осознаваемые как исконные и составляющие основу активного употребления в книжных текстах.

Конвенциональный подход к тексту и переводу нашел воплощение, в частности, в исправленном в 1678—1679 гг. Апостоле (ковычный экземпляр: ЦГАДА, БМСТ, № 14; экземпляры издания 1679 г. не сохранились); под руководством Сильвестра Медведева справщики Иосиф Белый, Никифор и Евфимий сверили апостольский текст со славянскими рукописями, с юго-западнорусскими и московскими изданиями и с греческим текстом 80].

Епифаний Славинецкий и его последователи в своих взглядах на перевод исходят из неконвенционального отношения к тексту. Точная передача смысла оригинала, по их мнению, обеспечивается поэлементным переводом, максимально сохраняющим структуру греческого текста. Говоря о выполненном Епифанием переводе ирмоса на Рождество, Евфимий Чудовский указывает: «Подобает истинно преводити ижны церковныя от слова до слова, ничто разума и речений многотрудно умышленных святыми отци прения... подражая в том древних искусных преводников хранящих истинно разум, и речения непремняющих» [81]. Используя одни и те же понятия («разум» и «речение», ср. у Иоанна экзарха «разум» и «глагол»), Симеон и Евфимий по-разному понимают связь между ними. Для Симеона процесс перевода состоит в отчуждении смысла («разума») от одной его языковой оболочки («речения») и замене ее на другую. Для Евфимия перевод — это замена определенных элементов греческого текста на их славянские эквиваленты, необходимая для того, чтобы данный текст считался церковнославянским. Не удобопонятность составляет, по Евфимию, цель переводческого мастерства, но сохранение мистической связи смысла и его языкового выражения. В упоминавшемся уже трактате «О исправлении...» Евфимий говорит об этом следующее: «Писания стая, и словеса, и п'сни стыхъ отцевъ тако подобаетъ преписывати, пачеже преводити от языка на языкъ, яко писаша сами стии отци древний еллинскимъ диалектомъ, да бы стии сия словеса предавший, своя искренняя разум'бюше, купно с' нами молилися: или изряднее, да бы дхъ стый тако главый во стыхъ смотря словеса своя, нашему даияню с'посп'бшествовать...Аше же

о словесѣхъ ихъ вознебрежемъ и не соблюдемъ, негодование нанесемъ на себе, и помощи и молитвы ихъ лишимся» [75, с. 61]. Итак, перевод сакрального текста призван установить (сохранить) связь между человеком и Богом; необходимым и достаточным условием этого является «понятность» перевода для Бога (а не для человека), т. е. «узнавание» им текста оригинала в тексте перевода.

С точки зрения книжников этого направления, операции извлечения смысла из текста оригинала и его перекодировки превращают божественную истину в человеческое измышление («мудрование», «человеческие силлогизмы»). С этим связано, в частности, отрицательное отношение Евфимия к стихотворному переложению псалмов. В обличении на «Псалтырь рифмовторную» Симеона Полоцкого (1680) Евфимий предостерегает: «Да никто псалмы мирскими красноглаголения словесы упещряет, ниже покусится речения переменять...но просто, яко написана суть, да чет и поет» [82].

Требование воспроизведения греческого оригинала «от слова до слова» обуславливает широкое применение при переводе греческих языковых моделей ([18, с. 301—316]; ср. [83]) и опирается на представление о фундаментальном тождестве греческого и церковнославянского языков. Если Симеон Полоцкий и его единомышленники признают приоритет грамматических правил, то для книжников круга Е. Славинецкого арбитром языковой правильности при переводе является греческий оригинал. Определяющая роль грамматики М. Смотрицкого при таком подходе к переводу распространяется на область морфологии и орфографии как наименее проницаемые уровни языка, в то время как в синтаксисе грамматика может лишь поддерживать употребление грецизмов (в тех случаях, когда у М. Смотрицкого дается два варианта конструкции — грецизированный и нейтрально книжный). Таким образом, в полемике между двумя направлениями справщиков о языке переводных канонических текстов речь идет о выборе одного из вариантов церковнославянского языка — более книжного грецизированного или менее книжного нейтрального, использование каждого из которых могло поддерживаться (по крайней мере в синтаксисе) грамматикой М. Смотрицкого.

Наиболее ярко филологические взгляды Е. Славинецкого и книжников его круга проявились при исправлении Библии, предпринятом в 1673—1674 гг. и прерванном смертью организаторов этого предприятия — Епифания и местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сарского и Подонского Павла. Под руководством Епифания работали Евфимий, Моисей—иеродиакон Чудова монастыря, Никифор Семенов, а также бывший игумен Путивльской Молчечной обители Сергей, которые начали «переводити всю Библию вново, Ветхий и Новый Завет» [84]. В сохранившемся переводе Нового Завета (ГБЛ, ф. 310, № 1291) Епифаний опирается на европейские издания Септуагинты, на чтения Чудовского Нового Завета и Евангелия 1383 г. [85, 86]. Выбор славянских источников связан с тем, что сотрудники Славинецкого видели в создателях этих рукописей своих предшественников. А идеологическим обоснованием предпринятому исправлению служит вновь воскрешаемая параллель с 70-ю толковниками и Птолемеем Филадельфом [84].

Для старообрядцев характерно разнообразие индивидуальных филологических взглядов, оформляющихся, главным образом, под воздействием конкретных задач ведения полемики со справщиками. Можно выделить, однако, две основных позиции старообрядческих деятелей — «умеренную», тяготеющую к конвенциональному взгляду на текст, и «ра-

дикальную», основанную на неконвенциональном подходе к тексту.

«Умеренные» (Федор Иванов, Александр Вятский, Никита Пустосвят, Авраамий) признают книжную справку как таковую, но отвергают принципы никоновской справки — ориентацию на новопечатные греческие книги и грамматику М. Смотрицкого. В полемике со справщиками старообрядцы этого направления могут использовать филологическую методику своих оппонентов. Так, например, обличение на справку, составленное Александром Вятским для оглашения на Соборе 1666 г., строилось на сопоставлении исправленного Служебника 1655 г. с дониконовскими московскими, а также юго-западнорусскими Служебниками и с венецианскими изданиями греческого текста. Видя причину порчи книг во влиянии новых греческих текстов, Александр считает необходимым «соборне» исправить канонические книги по славянским и греческим рукописям [87, с. 284—286]. Текстологической работой занимается и Федор Иванов, который отказывается признать лишь догматически значимые замены в текстах, в то время как с остальными готов примириться. «За опись бо кую,— пишет он в своей челобитной,— в книге какой ни есть и погрешенное слово не подбавляет нам ни спиратися, ни стояти; а за превращение книг старых и догматов правых изменение подбавляет всякому христианину и страдати и умирати» [88, т. 6, с. 127].

Конфликт справщиков-никониан и «умеренных» старообрядцев в целом основан на противоречиях между юго-западнорусской и московской концепциями книжной правильности. Вопрос о роли грамматики в книжной справе выливается при этом в конфликт той грамматической традиции, характерным представителем которой является азбуковник, с новой грамматической традицией, открываемой грамматикой М. Смотрицкого. С точки зрения старообрядцев, грамматика Смотрицкого «мелка» и «несовершенна» [88, т. 4, с. 42; т. 6, с. 109; т. 7, с. 259—331; т. 8, с. 115 и др.], так как она не учитывает всех контекстов, являясь по преимуществу прескриптивной. Старообрядцев могли бы удовлетворить либо преимущественно дескриптивная грамматика (она появится только во 2-й пол. XVIII в. с консервацией церковнославянского языка), либо прескриптивный минимум, заключающий в себе грамматический инвариант стандартных текстов. Именно грамматику второго типа — «О осми частех слова», известную по азбуковникам, старообрядцы противопоставляют грамматике М. Смотрицкого. Так, на «осмочасное слово» ссылается в своей челобитной Авраамий: «А что отступник Никон со Арсением (Греком.— *Б. М.*) еретиком напечатали и приложили литеру ко...Иисус, то стало два состава. И сие по грамматическому разуму союз; а по осмочасному Иоанна Ексарха слову, то различие именуется, и стало два имени, а не едино» [88, т. 7, с. 271].

Другое направление составляют радикально настроенные старообрядческие деятели (Аввакум, Спиридон Потемкин), не приемлющие книжной справки как таковой. В конце 1650-х гг. старец Спиридон Потемкин в «Словах на еретики» выдвигает концепцию неизбыточности сакрального текста и обряда, которые возводятся в догматическое достоинство [87, с. 262, 340]. Согласно этой концепции, какое бы то ни было исправление в делах церкви невозможно, так как она «не может поползнуться ни в малейшем от догмат святых...ни в едином слове, ни во псалмах, ни во ирмосах, ни во обычаех и нравах писанных и держимых,— вся бо церковная свята суть» [89]. Деятели этого направления жестко отвергают не только новопечатные греческие тексты, но и занятия грамматикой и грамматическими науками. Высказывания старообрядцев против «внешней мудрости» сблизжают их с книжниками Епифаниева круга, которые обвиняли в ней «лати-

номудров». Так, в компилятивном «Писанейще», составленном в ответ на вопрос Ф. М. Ртищева «Достоит учиться риторике, диалектике и философии?», Аввакум указывает: «Преподобный же Ефрем Сирин рече: И кроме философии и риторики, и кроме грамматики можно есть верну сущу пресприети всех противящихся истинне. И по сему слову веры потреба ко спасению и ко прению противящихся, а не литорики и грамматики, и христианских добродетелей от чиста сердца, а не философскаго кичения» ([90]; ср. трактат Евфимия Чудовского «Учитися ли нам полезнее грамматики, риторики, философии и феологии, и стихотворному художеству, и отуду познавати божественная писания или не учая сим хитростей, в простоте Богу угождати, и от чтения разум святых писаний познавати», издание см. в [91]). «Радикализм» Аввакума проявляется также в его отношении к предшествующей традиции книжности и справы. Если Федор Иванов и Александр Вятский оценивают дониконовские издания с тех же критико-филологических позиций, что и исправленные при Никоне книги, то Аввакум а priori утверждает правильность дониконовских книг. «А я держу православиe бывшее и прежде Никона патриарха и книги держу писменные и печатный...с сими книгами живу и умираю»,— утверждает он в письме 1667 г. ([92]; ср. также [88, т. 5, с. 220]).

Таким образом, с активизацией в середине XVII в. контактов между юго-западной русской и московской книжными традициями возникает сложный двухуровневый конфликт вокруг вопроса о книжной правильности. Если в лагере справщиков полемика между «латинумудрами» и «грекофилами», достигшая своего апогея в конце 1670-х—1680-е гг., является продолжением двух направлений образованности в Юго-Западной Руси, то расхождения между «умеренными» и «радикальными» старообрядцами являются продолжением конфликта в московской книжной справе 1-й пол. XVII в. Разрешение этого конфликта в одноуровневый шло несколькими путями. В старообрядческой среде господствующей становится позиция «радикалов». Неустойчивость «умеренных» проявлялась в том, что часть их (как Александр Вятский) отходила в лагерь никониан, в то время как другая объединялась с последователями Аввакума и Спиридона Потемкина. Специфическое развитие взгляды «умеренных», а вместе с тем и традиция московской книжности дониконовского времени находят в деятельности книжников круга братьев Андрея и Семена Денисовых в XVIII в.

Конфликт внутри лагеря исправителей постепенно снимается путем синтеза противоборствующих точек зрения. В конце XVII в. формируется круг книжников (Карюи Истомин, Иов Новгородский, Димитрий Ростовский, Софроний и Иоанникий Лихуды), которые пытаются достигнуть непротиворечивого единства конвенционального и неконвенционального подходов к каноническим текстам¹⁰.

¹⁰ Предпосылкой подобного рода синтеза могла быть практика сотрудничества справщиков и переводчиков двух направлений на Московском печатном дворе. Одним из немногих свидетелей, позволяющих судить как о самом процессе исправления, так и о распределении обязанностей справщиков, является трактат Евфимия «О исправлении...». Здесь, в частности, говорится, что правка велась в два этапа: сначала одна группа книжников сверяла минейные тексты с греческим оригиналом, отмечая исправления «между строк» или на полях прежнего славянского текста; вслед за тем другая группа справщиков отбирала внесенные по греческому тексту исправления, как текстологического, так и языкового характера [75, с. 79—80]. Есть все основания думать, что сверка с греческим текстом входила в обязанности книжников неконвенционального направления, а редактирование их пословных переводов — в обязанности.

7. Книжная справа первой половины XVIII в. В XVIII в. исправление богослужебных книг уже не предпринимается из опасений перед активизацией старообрядческой оппозиции. Однако в продолжение направления никоновской и иоакимовской справки в 1713—1751 гг. осуществляется редактирование четьего текста славянской Библии по московскому изданию 1663 г. «во главах и стихах и речах противу греческия библии грамматическим чином» [93, стлб. 28]. Работа библейской комиссии прошла несколько этапов и завершилась изданием Елизаветинской Библии 1751 г. [94—96] и указанные здесь источники]. В ходе исправления выявилось три основных концепции правильности: 1) концепция петровских «библиотрудников» (1713—1720 гг.), 2) концепция Кирилла Флоринского и Фаддея Какойловича (1741—1742 гг.), 3) концепция редакторов издания 1751 г. Варлаама Лашевского и Гедеона Слонимского^{1х}.

Петровские справщики Софроний Лихуд, Феофилакт Лопатинский, Федор Поликарпов, Николай Головин и другие в своей работе над Библией (правленная рукопись ГИМ, Син. 22) руководствуются теми представлениями о книжной правильности, которые оформляются к началу XVIII в. как преодоление полемики «грекофилов» и «латинумудров», как синтез конвенционального и неконвенционального подходов к тексту.

Текстологическая работа справщиков 1710-х гг. основана на методе конъектурной критики текста и состоит в определении ближайших источников текста славянского перевода Библии и редактировании его по этим источникам [59, с. 176], а именно, не только по греческому тексту Септуагинты (как предполагалось процитированным указом Петра I от 14.XI.1712 г.), но и по латинской Вулгате и еврейскому тексту (по полиглоттам 1514—1517 и 1657 гг.).

В нормировании книжного языка при редактировании Библии петровские справщики стремятся уравновесить грецизированный и нейтральный его варианты, достигнуть точности в переводе каждого элемента греческого оригинала на церковнославянский язык и в то же время понятности этого перевода. «Чистота» книжного языка достигается, по мнению сотрудников С. Лихуда, путем сужения сферы употребления «неприродных» — инославянских и греческих по происхождению элементов, воспринимаемых как заимствованные. Языковой пуризм книжников этого круга нашел отражение ранее в предисловии к «Лексикону Трязычному» (1704 г.), где Ф. Поликарпов отмечает: «От разных странь приходящий своестранная речения въ разговоры и въ книги привнесоша, на прикладъ, сербская, польская, малоросская. И тако рѣснота и чистота славенская засыпаса чужестранныхъ языковъ въ пепель» [89]. Пословные переводы Е. Славинецкого и Евфимия, использовавших грецизированный вариант церковнославянского языка, оцениваются теперь как неудобопонятные. Так, в своем доношении в Синод от 9.1.1723 г. Ф. Поликарпов писал: «Книга Григория Богослова Назианзена с прочими, иже с ней, переведена необыкновенною славянщиною, паче же реши еллинизмом, и затем о ней мнози недоумевают и отбегают» ([99]; ср. [97, с. 74]; ср. отношение Нила Курлятева к языку переводов, выполненных Киприаном). Разграничивая мар-

книжников конвенционального направления. Так, например, выполненный Евфимием Чуловским перевод сочинений Дионисия Ареопита был отредактирован Афанасием Холмогорским.

^{1х} Позиция Феофана Прокоповича в вопросах справки, высказанная им в «Мнении» 10.VIII. 1736 г., не нашла практического воплощения и потому не рассматривается в настоящей работе (текст «Мнения» см. в [93, прилож. VIII]; о нем см. [97, с. 122—124].

кированно книжные «еллинизмы» и нейтрально книжные (воспринимаемые как исконные) элементы церковнославянского языка, петровские справщики опираются на грамматику М. Смотрицкого, где проводится подобное разграничение. «Библиотрудники» 1710-х гг. ориентируются в основном на нейтрально книжные варианты, в то время как специфически книжные грецизмы (одиначный Р. п. применный, одиначное отрицание, инфинитивные обороты с *еже* и др.) используются ими в ограниченном объеме. Они употребляются либо для достижения однозначности контекста, либо в стилистической функции «питтизмов», как показатели книжности текста.

Справщики 1741—1742 гг. К. Флоринский и Ф. Какоилович, для которых исходным служил текст петровских справщиков, понимают книжную правильность как буквальное соответствие славянского перевода греческому оригиналу. Правка этого периода (ЦГАДА, ф. 381, оп. 1 № 1059) состоит в замене нейтрально книжных вариантов на грецизированные, что проявляется на всех уровнях языка, кроме флексии, где справщики следуют однозначным правилам грамматики М. Смотрицкого. Их работа, однако, в течение 1740-х гг. подвергается пересмотру и практически не находит отражения в Елизаветинской Библии.

Принципы издания 1751 г. основаны на тех представлениях о книжной правильности, которые были выработаны «библиотрудниками» 1710-х гг. В основу издания был положен текст петровских справщиков. При сверх его с греческими оригиналами был внесен ряд дополнительных исправлений (ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 4, № 38-в, т. 3), с тем чтобы каждое чтение славянского текста находило соответствие хотя бы в одном греческом тексте. Правильность славянского текста и языка понимается издателями как точность в переводе с греческого и соблюдение правил славянской грамматики. В предисловии к Библии 1751 г. В. Лашевский говорит об этом следующее: «Ничесоже от речений первая печати (Библии 1663 г.— Б. М.) не премънено, точию то, еже не бѣ согласно въ значении греческому речению сводя въ двоесловогласныхъ вышний и нижний текст и разсуждая, кое значение составу приличн-бйшее: И то, еже не правилами грамматическимъ, и не по свойству языка славенскаго положено бѣ» [100]. Лингвистическое содержание этой декларации явствует из характера правки, которую В. Лашевский и Г. Слонимский вносят в текст петровского времени. Она заключается в устранении тех употреблений (в частности, ряда грецизмов), которые, по мнению редакторов, не несут смыслообразительной нагрузки. Стилистически значимые грецизмы воспринимаются как проявления некомпетентности переводчиков, так как с точки зрения издателей 1751 г. грамматика церковнославянского языка усовершенствована настолько, что его средств вполне достаточно для передачи многообразных оттенков смысла. Стремление редакторов к соблюдению «чистоты» книжного языка объективно приближает его к русскому языку и делает более понятным, что, однако, не является результатом сознательной «русификации» (как полагали И. А. Чистович, Н. И. Ильминский, И. Е. Евсеев и др.), но достигается путем сокращения сферы употребления специфически книжных элементов [101]. Итак, с одной стороны, справщики стремятся установить пословное соответствие между оригиналом и переводом, с другой стороны — подчинить употребление грамматическим правилам и достигнуть понятности текста. Таким образом, в ходе книжной справки 1-й пол. XVIII в. складывается такое понимание книжной правильности, которое сочетает в себе элементы неконвенционального и конвенционального подходов к тексту. Тот факт, что текст Апостола, исправ-

ленный в 1678—1679 гг. усилиями справщиков двух направлений, практически без изменений включен в издание Библии 1751 г., свидетельствует о том, что принципы его исправления предвосхищали работу справщиков XVIII в.

Издание Елизаветинской Библии завершает активные нормализационные процессы в славянской книжности. Представления о книжной правильности, выработанные в ходе его подготовки, получают обобщение в церковнославянских грамматиках XVIII в. (таких, как рукописные «Технологии» 1720-х гг. Ф. Поликарпова и его Грамматика 1721 г., «Грамматика славенская» Ф. Максимова 1723 г., рукописная «Грамматика нова» Блонницкого 1754—1761 гг.), в которых эти представления служат основой описания.

В дальнейшем книжная справа принимает принципиально иное направление. Это связано с утверждением русского литературного языка нового типа и ограничением сферы использования церковнославянского языка рамками церковной культуры. Вместе с тем книжная справа утрачивает в значительной степени свою нормализаторскую функцию, ставя во главу угла проблему понятности церковнославянских текстов носителям русского языка. Попытки исправления библейских и богослужебных книг, предпринимавшиеся в XIX— начале XX в., имеют целью адаптировать церковнославянский язык к нормам современного русского литературного языка и осуществляются параллельно с переводами канонических текстов на русский язык [102].

8. Итоги. В истории книжной справки в России в эпоху функционирования церковнославянского языка как литературного (XI — середина XVIII в.) противопоставленными оказываются конвенциональный и неконвенциональный подходы к тексту. Первый из них сопряжен с идеей понятности книжного языка и использованием определенных грамматических правил; второй подход может проявляться двояким образом: как реставрация кирилло-мефодиевского текста путем пословного перевода с греческого и как консервация местной рукописной традиции. Коллизия этих подходов не исчерпывает проблематики книжной справки, однако дает тот угол зрения, который позволяет выявить представления русских книжников о правильности текста и языка. Каждый из компонентов этого понятия — отношение к грамматике, к рукописной традиции, к греческому оригиналу — может наполняться различным содержанием. На каждом новом этапе справки осуществляется диалектическое усвоение элементов конвенционального и неконвенционального подходов, однако само их противостояние при этом сохраняется. Столкновение различных взглядов на книжную правильность происходит, как правило, в периоды исторических и духовных перемен, что позволяет увидеть проблемы книжной нормы в более широкой историко-культурной перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толстой Н. И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1963. С. 259-261.
2. Сперанский М. Н. Разбор сочинений Г. А. Воскресенского // Зап. АН по ист.-филол. отд. 1899. Т. 3. № 5.
3. Калайдович Н. Ф. Иоанн, ексарх болгарский. М., 1824.
4. Воскресенский Г. А. Древний славянский перевод Апостола и его судьбы до XV века. Опыт исследования языка и текста славянского перевода Апостола по рукописям XII—XV вв. М., 1879. С. 6, 343.

5. *Амфилохий (Сергиевский)*. О древнем переводе Апостола. Об исправлении его. М., 1888. С. 12.
6. *Иннокентий (Павлов)*. Пролог Евангелия от Иоанна (I. 1—18) в славянском переводе. К истории философской мысли в славянских землях в IX—XVI веках // *Palaeobulgarica*. Старобългаристика. 1987. № 4. С. 6.
7. *Хабургаев Г. А.* Старославянский как язык средневековой славянской культуры // *Актуальные проблемы славянского языкознания* / Под ред. Горшковой К. В., Хабургаева Г. А. М., 1988.
8. *Живов В. М.* Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // *Актуальные проблемы славянского языкознания*. М., 1988.
9. *Grivec F.* O svobodnih prevodih v staroslovenskih evangeliijih // *Slavia*. 1956. T. XXV. № 2.
10. *Мошин В.* О периодизации русско-южнославянских литературных связей IX—XV вв. // *ТОДРЛ*. Т. XIX. М.; Л., 1963.
11. *Иванова-Мирчева Д.* К вопросу о характере болгарских переводческих школ от IX—X до XIV века // *Palaeobulgarica*. Старобългаристика. 1977. № 1.
12. *Ягич И. В.* Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896.
13. *Vaillant A.* La preface de l'evangeliaire vieux-slave // *RES*. 1948. V. XXIV.
14. *Алексеев А. А.* Кирилло-мефодиевское переводческое наследие и его исторические судьбы (переводы св. Писания в славянской письменности) // *История, культура, этнография и фольклор славянских народов. X Международный съезд славистов (София, сентябрь 1988 г.)*: Докл. советской делегации. М., 1988.
15. *Hansack E.* Die theoretischen Grundlagen des Übersetzungstils des Exarchen Johannes // *Die Welt der Slaven*. 1981. Bd XXVI. № 1.
16. *Keipert H.* Die altbulgarische Übersetzung der Predigten des Gregor von Nazianz // *Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavistencongress in Sofia*. 1988. Köln; Wien, 1988. S. 66—70.
17. *Сперанский М. Н.* К истории взаимоотношений русской и юго-славянских литератур (русские памятники письменности на юге славянства) // *Изв. II Отд. АН*. 1921. Т. XXVI. С. 203—204.
18. *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). Мюнхен, 1987.
19. *Успенский Б. А.* Русское книжное произношение XI—XII вв. и его связь с южнославянской традицией (Чтение еров) // *Актуальные проблемы славянского языкознания* / Под ред. Горшковой К. В., Хабургаева Г. А. М., 1988.
20. *Алексеев А. А.* К истории русской переводческой школы XII в. // *ТОДРЛ*. Т. Xb. Л., 1988.
21. *Алексеев А. А.* Проект текстологического исследования кирилло-мефодиевского перевода Евангелия // *Сов. славяноведение*. 1985. № 1.
22. *Остромирово евангелие 1056—57 года...* изданное А. Востоковым. СПб., 1843. Л. 294 об.
23. *Изборник 1076 года* / Изд. подг. Гольщенко В. С., Дубровина В. Ф., Демьянов В. Г., Нефелов Г. Ф. М., 1965. С. 701.
24. *Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988. С. 39—42, 144—148.
25. *Taley J.* Some problems of the Second South Slavic influence in Russia. München, 1973.
26. *Соболевский А. И.* История русского литературного языка / Изд. подг. Алексеев А. А. Л., 1980.
27. *Дуйчев И.* Центры византийско-славянского общения и сотрудничества // *ТОДРЛ*. Т. XIX. М.; Л., 1963.
28. *Вздорное Г. И.* Роль славянских монастырских! мастерских письма Константинополь и Афона в развитии книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV—XV вв. // *ТОДРЛ*. Т. XXIII. Л., 1968.
29. *Freydank D.* Zur Sprache Grigorij Camblags // *ZL*. 1988. Bd XXXIII. № 3.
30. *Goldblatt H.* The Church Slavonic language question in the fourteenth and fifteenth centuries: Constantine Kostenecki's skazanie iz javljenno o pismenex // *Aspects of the Slavic language question*. V. 2. New Haven, 1984.
31. *Horalek K.* Evangeliafe a ctveroevangelia: Pflispevky k textove kritice a k dejinam staroslovenskeho pfekladu Evangelia. Praha, 1954. S. 37.
32. *Trost K.* Untersuchungen zur Übersetzungstheorie und -praxis des spateren Kirchen-slavischen: Die Abstrakta in der Hexaemeronübersetzung des Zagreber Zbornik von 1469. München, 1978.
33. *Чешко Е. В.* Особенности падежного синтаксиса в среднеболгарских псалтырях правленой редакции // *Първа комплексна международна конференция по бълга-*

- ристика, посветена на 1300-годишнината от създаването на Българската държава (Шумен, 25.IV—1.V.1979 г.)
34. Чешко Е. В. Об Афонской редакции славянского перевода Псалтыри в ее отношении к другим редакциям // Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982. С. 82—85.
 35. Freydank D. Zur Charakteristik der Sprache Grigorij Camblaks // Bulgarische Sammlung. Bd 6. Neuriet, 1986.
 36. Амфилохий, архим. Что внес св. Киприан, митрополит Киевский и всяя России,, а потом Московский и всяя России, из своего наречия и из переводов своего времени в наши богослужебные книги? // Тр. III Археологического съезда. Т. 2. Киев, 1878.
 37. Князевская О. А., Чешко Е. В. Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырновского // Тырновска книжовна школа. Т. 2. София, 1980.
 38. Чешко Е. В. Второе южнославянское влияние в редакции псалтырного текста на Руси (XIV—XV вв.) // Palaeobulgarica. Старобългаристика. 1981. № 4.
 39. Вздорное Г. Исследование о Киевской Псалтыри. М., 1978.
 40. Жукоская Л. Л. Типология рукописей древнеславянского полного апракоса XI—XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их//Памятники древнерусской письменности. М., 1968. С. 238.
 41. Меквоская Л. Б. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984. С. 35—38.
 42. Куев Куйв. М., Летков Г. Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст. София, 1986.
 43. Живов В. М. Славянские грамматические сочинения как лингвистический источник // Russian linguistics. 1986. V. X. № 1. Рец. на кн.: Worth D. S. The origins of Russian grammar: Notes on the state of Russian philology before the advent of printed grammars. Columbus, 1983, 176 p.
 44. Максим Грек. Сочинения. Т. III. Казань, 1862. С. 62.
 45. Ковтун Л. С., Ситицына Л. В., Фонкич Б. Л. Максим Грек и славянская Псалтырь (сложение норм литературного языка в переводческой практике XVI в.) // Восточнославянские языки. Источники для их изучения. М., 1973.
 46. Keipert L. Nil Kurljatev und die Russische Sprachgeschichte // Litterae Slavicae Medii Aevi Francisco Venceslao Mares Sexagenario Oblatae. Munchen, 1985. S. 154.
 47. Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII века. Л., 1975.
 48. Судные списки Максима Грека и Исака Собака / Изд. подг. Покровский Н. Н. Под ред. Шмидта С. О. М., 1971.
 49. Живов В. М. Успенский Б. А. Претеритные формы глагола «быти» в русском языковом сознании XVI—XVIII вв. // Russian Linguistics. V. X. № 3.
 50. Класс Б. М. Книги, редактированные и писанные Иваном Черным//Зап. отд. рукописей ГБЛ им. В. И. Ленина. 1971. Т. XXXII.
 51. Евсеев Л. Е. Геннадиевская библия 1499 года. М., 1914.
 52. Алексеев А. А. Текстологическое значение Геннадиевской библии 1499 года// Международная конференция «Богословие и духовность Русской Православной Церкви», посвященная 1000-летию Крещения Руси (Москва, 11—19 мая 1987 г.). М., 1988.
 53. Алексеев А. А., Лихачева О. П. Супрасльский сборник 1507 года//Материалы и сообщения по фондам отдела рукописной и редкой книги. Л., 1978.
 54. Юнгеров Л. Общее историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги. Казань, 1910.
 55. Olmsted L. M. A learned Greek monk in Muscovite exile: Maksim Grek and the old testament prophets // Modern Greek Studies. 1987. V. 3.
 56. Taube M., Olmsted L. M. «Povest» o Esfiri: The Ostroh Bible and Maksim Grek's Translation of the Book of Esther // Harvard Ukrainian studies. 1987. V. XI. № 1/2.
 57. Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3: Пространни жития на Кирил и Методий. София, 1973. С. 44—45.
 58. Библия сиречь книги ветхаго и новаго завета по языку словенску. (Острог), 1581.
 59. Горский А. В., Левоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. I. Ч. 1. М., 1855.
 60. Евсеев Л. Е. Очерки по истории славянского перевода библии. Пг., 1916. С. 84—147.
 61. Freidhof G. Vergleichende sprachliche Studien zur Gennadius Bibel (1499) und Ostroger Bibel (1580/1581). Frankfurt am Main, 1972.
 62. Исаевич Я. Д. Острожская Библия как памятник межславянских культурных связей//Федоровские чтения. 1981. М., 1983.

63. *Копреева Т. Н.* Иван Федоров, Острожская Библия и новгородский кружок книжников конца XV века // Федоровские чтения. 1981. М., 1983. С. 99.
64. *Жукowska Л. П.* Некоторые замечания об орфографии Острожской Библии // Федоровские чтения. 1981. М., 1983.
65. Стоглав. СПб., 1863. С. 95.
66. *Скворцов Д.* Дионисий Зобнинский, архимандрит Троицко-Сергиева монастыря. Тверь, 1890.
67. *Успенский Б. А.* Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI—XVII вв.) // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988.
68. *Титов Ф.* Матеріали для історії книжної справи на Україні XVI—XVIII вв. Везбірка передмов до українських стародрутів. Кивг, 1924. С. 210.
69. Прение литовского протопопа Лаврентия Зизания с игуменом Илиею и справщиком Григорием по поводу исправления составленного Лаврентием катихизиса // Летописи русской литературы и древности/ Сост. Тихонравов Н. И. Т. 2. Кн. 4. М., 1859. С. 87—88.
70. Пролог. М., 1643. Л. 951об.
71. *Макарий, архива.* История русского раскола, известного под именем старообрядчества. СПб., 1855. С. 146—147.
72. *Сиромаха В. Г., Успенский Б. А.* Кавычные книги 50-х годов XVII в. // Археографический ежегодник за 1986 год. М., 1987. С. 79—84.
73. *Uspenskii B. A., Zivov V. M.* Zur Spezifik des Barock in Russland // Slavische Barockliteratur. 1983. № 2.
74. *Афанасий Холмогорский.* Увет духовный. М., 1682.
75. *Никольский Н.* Материалы для истории исправления богослужебных книг (Об исправлении Устава церковного в 1682 году и месячных Миней в 1689—1691 гг.). СПб., 1896.
76. *Гаена А.* История славянского перевода символов веры. СПб., 1884. С. 126—128.
77. *Сиромаха В. Г.* Языковые представления книжников Московской Руси второй половины XVII века и «Грамматика» М. Смотрицкого // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1979. № 1.
78. Три челобитные: справщика Савватия, Саввы Росанова и монахов Соловецкого монастыря. СПб., 1862. С. 35.
79. *Полоцкий С.* Жезл правления. М., 1666. Л. 56.
80. *Прозоровский А. А.* Сильвестр Медведев, его жизнь и деятельность. М., 1896. С. 178.
81. *Брайловский С.* Очерки из истории просвещения в Московской Руси в XVII веке // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1890. № 3. С. 434.
82. *Брайловский С.* Отношения Чудовского инока Евфимия к Симеону Полоцкому и Сильвестру Медведеву (Страничка из истории просвещения в XVII столетии) // РФВ. 1889. Т. 22. № III. С. 269.
83. *Страхова О. Б.* Из истории церковнославянской окказиональной лексики конца XVII в. // Этимология. 1985. М., 1988.
84. *Евгений (Болховитинов).* Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. Т. I. СПб., 1827. С. 180.
85. *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903. С. 291.
86. *Филарет (Гумилевский).* Обзор русской духовной литературы. Кн. I. СПб., 1884. С. 236.
87. *Зеньковский С.* Русское старообрядчество. Мюнхен, 1970.
88. Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые Братством св. Петра митрополита // Под ред. Субботина Н. И. Т. I—IX. М., 1875—1890.
89. *Бороздин А. К.* Протопоп Аввакум. Очерк из истории духовной жизни русского общества в XVII веке. СПб., 1898. С. 107.
90. *Демкова П. С.* Из истории ранней старообрядческой литературы (I: «Писанейце» Аввакума Ф. М. Ртищеву. II: Отрывок из неизвестного сочинения Аввакума об антихристе. III: О старце Епифании Пелшемском, последователе Аввакума, тезке соловецкого инока Епифания) // ТОДРЛ. 1974. Т. XXVIII. С. 388.
91. *Сменцовский М.* Братья Лихуды. СПб., 1899. С. VI—XXVI.
92. *Демкова Н. С.* Житие протопопа Аввакума. Творческая история произведения. Л., 1974. С. 127.
93. Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего Синода. Т. III. СПб., 1878.
94. *Чистоевич И. А.* Исправление славянского перевода Библии перед изданием 1751 года // Православное обозрение. 1860. Т. I—II.

95. *Сменцовский М.* Пересмотр исправлений славянского перевода Библии перед изданием ея в 1751 году // Прибавления к церковным ведомостям. 1900. № 29—30.
96. *Mathiesen R. C.* The inflectional morphology of the Synodal Church Slavonic verb. Columbia University, 1972. P. 161.
97. *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
98. *Поликарпов Ф.* Лексикон трехязычный. М., 1704. Л. 6.
99. *Брайловский С. Н.* Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии // ЖМНП. 1894. № 9. С. 31.
100. Библия сиречь книги священнаго писания... СПб., 1751. Л. 13.
101. *Бобрик М. А.* Книжная справа первой половины XVIII века и проблемы нормализации русского литературного языка: Автореф. дис... канд. филол. наук. М., 1988.
102. *Сове В. И.* Проблема исправления богослужебных книг в России в XIX—XX веках // Богословские труды. 1970. Т. V.

© 1990 г.

ВОРКАЧЕВ С. Г.

**К СЕМАНТИЧЕСКОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ДЕЗИДЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ**

В работе описываются семантические свойства предикатов субъективно-модальной оценки — предикатов «внутреннего психического состояния» («хотеть», «желать», «подозревать», «сожалеть», «раскаиваться» и пр.), предикатов речевой деятельности («признаваться», «упрекать», «хвалить», «порицать» и пр.) и предикатов деонтической модальности («разрешать» и «запрещать»), передающих в том или ином виде дезидеративную оценку (ДО) — желание. Все прочие предикаты, лексикализирующие формы императива и связанные с отношением речевых статусов участников коммуникации, за исключением предикатов «разрешать» и «запрещать», остаются за пределами исследования («приказывать», «просить», «умолять» и пр.). В задачи исследования входит описание семантической структуры и компонентного состава этих предикатов, иерархии их семантических компонентов, а также выделение дифференциальных признаков для анализа смысловых рядов, образуемых предикатами этической оценки («хвалить», «порицать», «извинять», «одобрять» и пр.), предикатами отрицательной ДО речевого акта («признавать», «допускать», «не отрицать») и предикатами «завидовать» и «ревновать». Помимо лексикографических и текстовых источников, при анализе ДО-предикатов использовались наблюдения семантического характера, содержащиеся в исследованиях «природы аффектов» и «страстей души» философов XVII—XVIII вв. — Б. Спинозы, Р. Декарта, В. Лейбница, Т. Гоббса, Д. Локка и др., которые, как представляется, в каком-то смысле предвосхитили (особенно Б. Спиноза с его аксиоматическим методом описания этики) современный компонентный анализ.

Желание как осознание и переживание степени соответствия объекта оценки какой-либо потребности выступает в качестве мотива деятельности человека и занимает определяющее место в иерархии основных областей его психической деятельности (воля, чувство, рассудок). В отличие от собственно эмоциональной оценки («хорошо—безразлично—плохо»), представляющей собой скорее чувство-состояние, замкнутое на модальном субъекте, желание — это чувство-отношение, определяемое через свой объект и характеризующее обязательной интенциональностью.

Существует мнение, что «желание» принадлежит «языку мысли» (*lingua mentalis*) и, тем самым, является семантически неопределимым [1]. Однако философский и логический анализ понятия «желание» свидетельствует скорее о разложимости «желания» на семантические множители — влечение и осознание этого влечения [2, с. 137]: «Желание есть влечение, соединенное с его сознанием; влечение же есть самая сущность человека, поскольку она определена к таким действиям, которые служат ее сохранению» [3]. Семантически неразложимым, очевидно, является такой ком-

понент желания, как влечение — «мотив деятельности, представляющий собой недифференцированную, недостаточно осознанную потребность» [2, с. 127]. ДО самым непосредственным образом связана с положительной эмоциональной оценкой, которая ею и индуцируется у модального субъекта, — нормальный человек не может желать для себя сильных отрицательных эмоций, и в этом смысле, действительно, «лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту» (К. Прутков). Отрицательная эмоциональная оценка вызывается у модального субъекта либо отсутствием конкретного объекта, способного удовлетворить определенную потребность этого субъекта, либо наличием у объекта оценки таких свойств, которые препятствуют удовлетворению этой потребности. Способность объекта препятствовать удовлетворению потребностей субъекта определяет стремление последнего избежать реализации объекта оценки и осознается им в форме «желания избежать страдания» [4].

Компонент «осознанности» в семантическом составе ДО определяет конкретную форму, в которой желание предстает перед сознанием модального субъекта: поскольку объектом собственно желания может быть лишь ситуация, возможная реализация которой принадлежит будущему [5], то реализованность ситуации — достоверная контрафактичность объекта оценки — превращает желание в сожаление*.

Жесткая, основанная на законе контрапозиции логическая связь желания и нежелания (p желательно тогда и только тогда, когда желательно не- p [5, с. 76]¹), двусмысленность, неопределенность языкового отрицания желания («Я не хочу p » = 1) « p мне безразлично», 2) «Я активно отвергаю, стремлюсь избежать p »] и способность ДО-предикатов «пропускать» через себя отрицание («Я не хочу p » = «Я хочу не p ») [8, 9] — все это свидетельствует в пользу семантического представления ДО через противоположение операторов «желание» и «безразличие», при котором предикативный знак (утверждение — отрицание) отходит к объекту оценки. Действительно, «стремление к p » и «стремление избежать p » психологические и семантически едва ли различны и оба они противостоят «безразличию» как переживанию субъектом оценки отсутствия и положительной, и отрицательной ценности у объекта.

Если ДО в значении предикатов типа «хотеть — желать» в прямо-модальных контекстах, где совпадают модальный и грамматический субъекты, выступает в первом лице настоящего времени индикатива, предикцируется и отсылает к психическому состоянию субъекта речи, то в составе предикатов этической оценки («хвалить», «одобрять», «поричать» и пр.) она присутствует в форме логических presupпозиций, а в составе предикатов, передающих деотическую модальность разрешения и запрета, — в форме прагматических presupпозиций и отсылает к психическому состоянию либо семантического субъекта — «протагониста» (субъекта соответствующего этического действия-поступка), либо получателя речи, которому разрешается или запрещается что-либо. Тем самым в составе языковых предикатов ДО может принадлежать субъекту речи («Я-ДО»), получателю речи («Ты-ДО») и семантическому субъекту («ОН-ДО»), образуя своего рода ДО-треугольник, соответствующий распределению ролей основных участников коммуникативного акта.

¹ Ср. толкование сожаления, даваемое А. Вежбицкой: «X feels regret — X feels as one does when one thinks that what one desires not to happen has happened» [6].

Ср.: «...всегда стремление к благу есть вместе с тем стремление избежать зла, которое ему противоположно» [7, с. 638].

ДО-предикаты, описываемые в работе, передают желание «в чистом виде»³, не осложненное действиями, направленными на достижение объекта желания, как это происходит в случае предикатов «добиваться», «пытаться» и пр.

В семантическом составе Я-ДО-предикатов предцируется простое желание, однозначно связывающее субъект ДО с его объектом: «хотеть», «желать», «мечтать» и пр. Однако в составе таких Я-ДО-предикатов, как «завидовать» и «ревновать», желание не столь универсально и прямолинейно: оно связано с формой (положительной — отрицательной) и семантическими характеристиками объекта оценки.

Единицы синонимического ряда, образуемого простыми Я-ДО-предикатами, предцирующими ДО («хотеть», «желать», «жаждать», «вожделеть», «спать и видеть», «сходить с ума по» и пр.), отличаются друг от друга преимущественно по таким признакам, как интенсивность, стилевой регистр и перформативность. Прежде всего из этого ряда выделяется предикат «желать», единственный, способный при условии эксплицитного указания адресата выступать в качестве полнозначного перформатива, отсылая не только в ДО субъекта, но и к самому акту формулирования пожелания: *Желаю Вам одних счастливых дней в году*. Стилиевой нейтральности «хотеть» противостоят, с одной стороны, книжные «вожделеть», «жаждать» и «алкать», с другой — разговорные «спать и видеть», «сходить с ума» и пр. Эти же предикаты противостоят «хотеть» и по признаку интенсивности.

Место семантического субъекта в пропозициях, зависящих от предикатов «завидовать» и «ревновать», может быть занято именами исключительно существ, способных испытывать соответствующие чувства (людей либо животных): завидуют и ревнуют всегда кому-то и кого-то. Общей чертой этих Я-ДО-предикатов является свойство управлять «сдвоенным объектом»: один объект — это «желание *p* для себя», а другой — «желание не-*p* для другого». Если зависть направлена на получение объекта, которым говорящий не обладает, то ревность направлена на сохранение объекта (чьих-либо чувств, привязанностей и симпатий), в обладании которым у говорящего возникли сомнения.

Зависть — это не только желание обладать тем, чем обладает другой⁴, и переживание этого желания, зачастую это также и этическая оценка (заслуженность — незаслуженность) этого обладания⁵: зависть «черная» отличается от зависти «белой» как раз тем, что в первом случае модальный субъект предполагает, что семантический субъект обладает чем-то не по праву, незаслуженно, а во втором — признается моральное право актуального обладателя на обладание. Тем самым для удовлетворения «черной зависти» иногда достаточно уже лишить «недостойного» обладателя объекта желания, даже не получив его в собственное распоряжение (отсюда — злорадство, «радость чужому горю»). «Чувство, не знающее отдыха» (*invidia fastos die? non acit* [11]) возможно лишь по

³ Ср. определение желания у И. Канта: «стремление без траты сил для создания объекта есть желание» [10] и у В. Лейбница: «Optare est velle, quae non sit in potestate efficere» [11, с. 74] «Желать — это хотеть того, чего сам не можешь достичь».

⁴ «Invidia est molestia ex alieno bono, scilicet non forte, quia nocet, sed quia alienum est» [11, с. 64] «Зависть — это досада, вызванная у говорящего тем фактом, что кто-то обладает благом, и не потому, что это во вред говорящему, а потому, что им обладает не он, а другой».

⁵ Ср.: «...если мы считаем людей недостойными, то благо вызывает зависть» [7, с. 627].

отношению к семантическому субъекту, на место которого говорящий может себя поставить: «...в зависти всегда таится сравнение; а где невозможно сравнение, нет и зависти — вот почему королям завидуют одни короли» [12].

Если дополнительный объект (желание не-р) зависти факультативен *ш.* присущ лишь зависти «черной», то для ревности присутствие такого объекта обязательно: ни один ревнивец не желает делиться монополией на чьи-либо чувства, привязанности и симпатии. Предикат «ревновать» — предикат «двойной фокусировки»: в зависимости от коммуникативной задачи высказывания в его семантическом составе может предикцироваться либо РО-компонент (с о м н е н и е в чьей-либо верности и любви [13]), либо ДО-компонент — ж е л а н и е иметь предмет ревности в своем монопольном распоряжении.

Форма пресуппозиций Я-ДО содержится в семантическом составе таких предикатов, как «признавать», «допускать», «не отрицать» (на возможность пресуппозиционного анализа этих предикатов указывал Ч. Филлмор [14]), предиката «сожалеть» и предикатов «раскаиваться», «признаваться/сознаваться» и «хвастаться»).

Предикаты «признавать», «признаваться/сознаваться», «допускать» и «не отрицать» при употреблении в прямомодалных контекстах (*Я признаю, признаюсь, допускаю, не отрицаю*) объединяются отрицательной пресуппозицией ДО речевого акта, т. е. указывают на нежелание говорящего сообщать то, что он сообщает. Общими признаками предикатов отрицательной ДО речевого акта являются: 1) обязательность речевой манифестации; 2) признание достоверности («признаваться — сознаваться»/и «признавать») или вероятности («допускать» и «не отрицать») объекта оценки; 3) указание на вынужденность сообщения против воли сообщающего, лод давлением обстоятельств; 4) отрицательная этическая оценка объекта — признают, признаются/сознаются, допускают и не отрицают, как правило, вещи для себя нелестные. Предикаты «признавать», «допускать» ж «не отрицать», помимо прочего, характеризуются также полемичностью, т. е. они употребляются при ответе на чью-либо речь, в отношении «признаваться/сознаваться» этот признак факультативен. Все они включают в свое толкование признаки отрицательной ДО и долженствования: (*Хочу сказать «нет», но вынужден говорить «да»*) и отличаются друг от друга указанием на конкретные обстоятельства, вынуждающие субъекта речи к признанию правоты собеседника («признавать»), достоверности факта («допускать» и «не отрицать») или заставляющие его сообщать сведения личного, «интимного» характера («признаваться—сознаваться»).

ДО говорящего (Я-ДО) присутствует также в числе пресуппозиций такого оценочного предиката, как «сожалеть», предикцирующего отрицательную эмоциональную оценку. Сожаление — это несбывшееся желание, сожалеть — «это «хотеть не-р», сознавая логическую невыполнимость этого желания, т. е. его альтернатива *p* уже реализована в момент речи.

Я-ДО содержится в составе пресуппозиций предикатов «раскаиваться», «хвастать(ся)», «признаваться/сознаваться» и обусловлена совпадением модалного и семантического (диктального) субъектов при употреблении этих предикатов, т. е. представляет собой частный случай ОН-ДО.

Я-ДО предикцируется в семантическом составе таких предикатов, лексикализирующих в речи императив, как «разрешать» и «запрещать»: *разрешать* означает «относиться с безразличием к выполнению кем-либо действия инфинитива», а *запрещать* — «не хотеть, чтобы кто-либо выполнил действие инфинитива». Однако на уровне пресуппозиций в составе

этих предикатов содержится указание на ТЫ-ДО — оцелку объекта слушающим: прагматически, строго говоря, «разрешать» и «запрещать» умелно лишь то, что получатель речи желает совершить; в противном случае субъект речи рискует встретить отпор в виде такой реплики, как *С чего ты взял, что я хочу это сделать?*, т. е. в виде реакции на пресуппозицию этих предикатов. Таким образом, в значении предиката «разрешать» Я-ДО выступает в форме оператора «безразлично», а ТЫ-ДО — в форме оператора «желательно»; в значении предиката «запрещать» Я-ДО направлена на отрицательный объект, не-р, а ТЫ-ДО — положительна. Помимо предикатов «разрешать» и «запрещать» ТЫ-ДО содержится в семантическом составе предикатов «упрекать» и «поздравлять», отличающихся, как и первые два, признаком обязательной речевой обращенности к собеседнику: если и упрекают или поздравляют кого-либо за глаза, то лишь в надежде, что упрек или поздравление будет передан адресату «третьим лицом» — посредником. Семантический механизм порождения ТЫ-ДО в составе предикатов «упрекать» и «поздравлять» аналогичен механизму порождения ОН-ДО в семантическом составе предикатов этической оценки («порицать», «хвалить», «извинять» и др.).

Необходимым условием вынесения этической оценки, наряду с дееспособностью семантического субъекта (свободой воли), является свобода выбора — *arbitrium elegendi* [2, т. 4, с. 564; 15]: если при совершении какого-либо действия одно из этих условий отсутствует, то это действие нельзя квалифицировать как поступок, нельзя его вменить субъекту в вину или поставить в заслугу. Поскольку этической выбор осуществляется путем сознательного предпочтения какой-либо одной из его альтернатив («добра» или «зла»), то обязательным компонентом любой этической оценки является дезидеративная оценка семантического субъекта — его желание или нежелание (безразличие). Реализованное желание семантического субъекта входит в состав пресуппозиций всех предикатов этической оценки — ОН-ДО-предикатов.

Рассмотрим смысловой ряд, образованный предикатами этической оценки «одобрять», «порицать», «хвалить», «осуждать», «обвинять» и «подозревать» («подозревать» попадает в число предикатов этической оценки лишь при условии замещения места семантического субъекта объектной пропозиции именем лица: *Я подозреваю, что X ...*, где X — лицо, наделенное сознанием и волей). Предикаты этической оценки, содержащие в числе своих пресуппозиций указание на ОН-ДО, характеризуются такими дифференциальными признаками, как 1) характер этической оценки (положительный — отрицательный); 2) отношение к обязательности речевой манифестации и 3) рациональная оценка — достоверность или вероятность. В определенных речевых ситуациях (при вынесении решений общественных организаций и административных органов) предикаты «одобрять», «порицать» и «обвинять» могут употребляться в качестве перформативов: *Есть предложение отчет X одобрить, Вам выносится порицание, Вы обвиняетесь в ...* и пр.

Эти предикаты отличаются друг от друга 1) характером предсказуемой ЭО: «одобрять» и «хвалить» передают положительную этическую оценку, остальные — отрицательную; 2) «хвалить», «порицать» и «обвинять» характеризуются признаком обязательности речевой манифестации, для остальных членов ряда этот признак факультативен; 3) «обвинять» и «подозревать» передают вероятностную оценку объекта, в то время как остальные предикаты передают достоверность.

Рассмотрим смысловой ряд, образуемый значениями предикатов «оправдывать», «извинять» и «прощать». «Извинять» и «прощать» противопостоят «оправдывать» по признаку непосредственного участия субъекта речи в ситуации, отраженной в пропозиции высказывания [является ли он «задетым», (affected в терминологии Ч. Филлмора [14])]. Предикат «прощать» и его синонимы («миловать», «амнистировать», «отпускать грехи») отличаются от «оправдывать» и «извинять» тем, что при любых обстоятельствах говорящий дает отрицательную ЭО действию семантического субъекта — прощает в и н о в н о г о , в то время как «оправдывать» ж «извинять» допускают оценочный и неоценочный варианты значения. Если «прощать» означает «освободить виновного от наказания/возмездия», то «оправдывать» и «извинять» означают «освободить обвиняемого от вины», что само по себе допускает несколько толкований. Так, «оправдывать» может передавать: 1) положительную этическую оценку и указывать на то, что семантический субъект поступил так, как он должен был поступить в данных обстоятельствах согласно этическим нормам социума; 2) передавать отсутствие какой-либо этической оценки вообще и указывать на то, что семантический субъект действовал так, а не иначе в силу вынуждающих обстоятельств при отсутствии свободы выбора. «Извинять» может передавать, как и «прощать», 1) отрицательную этическую оценку и указывать на то, что семантический субъект поступил плохо, но субъект речи зла на него за это не таит; 2) указывать на нейтрализацию отрицательной этической оценки оценкой, основанной на иных этических нормах: признавать за действиями семантического субъекта наличие каких-либо смягчающих обстоятельств — отсутствие злого умысла, незнание законов (этических норм) данного социума и пр.

Проанализируем смысловой ряд, образованный предикатами эмоциональной оценки «сожалеть» и «раскаиваться» и предикатами речевой деятельности «хвастать(ся)», «упрекать», «признаваться/сознаваться» и «поздравлять» по таким признакам, как 1) предикатуемый ими характер эмоциональной оценки; 2) специфика содержащихся в их семантическом «оставе Я-ДО-пресуппозиций»; 3) специфика содержащихся в их семантическом составе ОН-ДО-пресуппозиций; 4) отношение к обязательности манифестации; 5) отношение к обязательности непосредственной обращенности к собеседнику.

Выясняется, что «сожалеть» отличается от всех прочих членов описываемого смыслового ряда тем, что не содержит в своем семантическом составе пресуппозиций ОН-ДО, т. е. не является предикатом этической оценки. Действительно, объектом сожаления может быть любой факт, любое несбывшееся желание говорящего. «Раскаиваться» и «хвастаться» отличаются от «сожалеть» и остальных членов этого смыслового ряда тем, что их семантический субъект совпадает с субъектом речи, ОН-ДО = Я-ДО: раскаяние — это сожаление о своих собственных поступках, самоосуждение («selfcondamnation [16]), хвастовство — положительная этическая оценка своих собственных поступков, при этом «хвастать/ся» отличается от «раскаиваться» обязательностью речевой либо иной манифестации. Я-ДО совпадает с ОН-ДО также и в семантическом составе предикатов «признаваться/сознаваться», поскольку признаются и сознаются обычно в вещах для себя нелестных.

Пара предикатов «упрекать» и «поздравлять» отличается прежде всего от всех прочих членов смыслового ряда обязательностью непосредственной обращенности к собеседнику (нельзя упрекать и поздравлять за глаза)

и как следствие обязательностью замещения места семантического субъекта именем собеседника: здесь ОН-ДО = ТЫ-ДО. Особенностью предиката «упрекать» является расхождение характера ДО субъекта речи и ДО семантического субъекта: «упрекать» — значит «высказывать сожаление по поводу того, что собеседник не пошел навстречу желаниям говорящего, отнесся к ним с безразличием либо поступил вопреки им». От предиката «сделать выговор» «упрекать» отличается пресуппозицией статуса говорящего по отношению к слушающему: упрекать может, как правило, равный равному или нижестоящий по своей социальной роли вышестоящего. Если же начальник «упрекает» подчиненного, то это уже не упрек, а выговор. В семантическом составе предиката «поздравлять» ДО говорящего совпадает, как правило, с ДО семантического субъекта — слушающего: «поздравить» — значит высказать одобрение действиям собеседника и сообщить ему, что он поступил так, как говорящий ждал и хотел, чтобы он поступил (здесь не имеются в виду, естественно, такие формы речевого этикета, как «поздравляю с праздником, днем рождения» и др.).

Проведенное исследование показывает, что ДО, предизируясь в семантическом составе «чистых» ДО-предикатов и предикатов, лексикализирующих в языке значения императивных форм, содержится также в числе логических и прагматических пресуппозиций предикатов этической оценки, предикатов речевой деятельности и предикатов деонтической модальности разрешения — запрета. ДО-пресуппозиции могут быть связаны с желанием субъекта речи — Я-ДО-пресуппозиции («сожалеть», «признавать» и пр.), с желанием слушающего — ТЫ-ДО-пресуппозиции («разрешать», «запрещать», «упрекать» и пр.), с желанием «третьего лица» — ОН-ДО-пресуппозиции («одобрять», «поричать», «обвинять» и пр.). В семантическом составе таких предикатов, как «упрекать» и «поздравлять», ДО субъекта речи совпадает с ДО слушающего, а в составе предикатов «раскаиваться», «хвастаться» и «признаваться/сознаваться» она совпадает с ДО семантического субъекта. Особенностью предикатов «завидовать» и «ревновать» является «двосность» объекта оценки: желание *p* для себя и, одновременно, *яе-р* для другого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Wierzbicka A.* Dociekania semantyczne. Wroclaw, 1969. S. 199.
2. *Философская энциклопедия.* Т. 2. М., 1962. С. 137.
3. *Спиноза Б.* Избр. произведения: В 2-х т. Т. 1. М., 1957. С. 507.
4. *Гассенди П.* Соч.: В 2-х т. Т. 1. М., 1966. С. 255.
5. *Иван А. А.* Основания логики оценок. М., 1970. С. 123.
6. *Wierzbicka A.* Semantic primitives. Frankfurt-am-Main, 1972. P. 61.
7. *Декарт Р.* Избр. произведения. М., 1950.
8. *Бондаренко В. Н.* Отрицание как логико-грамматическая категория. М., 1983. С. 177.
9. *Horn L. R.* Remarks on negraising // Syntax and semantics. V. 9: Pragmatics. N. Y., 1978.
10. *Кант И.* Соч.: В 6-ти т. Т. 6. 1966. С. 496.
11. *Leibniz G. W.* Tabulae definitiorum // Słownik i semantyka: Definicje semantyczne. Wroclaw, 1975.
12. *Бэкон Ф.* Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 1978. С. 370.
13. *Словарь современного русского литературного языка:* В 17-ти т. Т. 4. М.; Л., 1955. С. 303.
14. *Fillmore Ch. J.* Verbs of judging: An exercise in semantic description // Studies in linguistic semantics. N. Y., 1971. P. 288.
15. *Лобовиков В. О.* Моральные оценки как суждения и как поступки (критика неопозитивистской метаэтики)//Философские науки. 1985. № 1. С. 83.
16. *Zoch L. N.* Remorse and regret: A reply to Phillips and Price // Analysis. 1986. V. 46. № 1. P. 55.

© 1990 г.

ПОДЬБССКАЯ В. И.

«ФАКТЫ», «СОБЫТИЯ» И «ПРОПОЗИЦИИ»
В СВЕТЕ ФАКТОВ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

Противопоставление факта, события и пропозиции как основы для выделения семантических типов сентенциальных актантов активно разрабатывается в ряде работ последних лет в рамках логико-философского подхода к языку [1—10]. Это противопоставление иллюстрируется обычно данными довольно ограниченного числа языков, причем, как правило, языков, имеющих солидную традицию описания.

Данные японского языка до сих пор не были вовлечены в орбиту такого рода исследований. Вместе с тем в японском языке существует особый лексико-синтаксический механизм, специально предназначенный для разграничения семантических типов сентенциальных актантов. Существование такого механизма может, как нам кажется, служить косвенным критерием объективности противопоставления факта, события и пропозиции, а при более детальном исследовании — и некоторому уточнению этого противопоставления.

1. Семантические типы сентенциальных актантов

События, факты и пропозиции — условные именованья трех типов объектов, по соотносительности с которыми выделяются семантические типы сентенциальных актантов.

Событие — это элемент внешнего мира (но не обязательно реального — может быть, одного из возможных миров). Событие — это ярлык для разных типов ситуаций — действий, процессов, состояний и проч.¹

Факт — это интеллектуальное представление, «образ» события в сознании субъекта. Факт не может быть истинным или ложным, он принимается как данное (т. е. имеет «презумптивную модальность» по [7]).

Пропозиция — это интеллектуальное представление, подлежащее оценке по параметру истинности.

Противопоставление трех семантических типов сентенциальных актантов по соотносительности с фактом, событием или пропозицией коррелирует с различием в способах их оформления. По-видимому, если в языке сентенциальный актант может в принципе оформляться как с помощью союза (типа русск. изъяснительного *что*), так и посредством субстантивации, то, как правило, для актантов-событий и актантов-фактов предпочтительна субстантивация, а для пропозиции — союз. Если это соотношение нарушается, то, по-видимому, скорее за счет расширения возможностей союза, а не наоборот. Это предположение хорошо согласуется

¹ О возможных употреблениях термина «событие» см. [4, с. 530].

с тем, что актант, выраженный именем с предикатным («некусным») значением и присоединяемый с помощью тех же синтаксических маркеров, что и субстантивиремая предикация, обозначает либо факт, либо событие — но не пропозицию. Вместе с тем далеко не во всех языках на поверхности уровня последовательно разграничиваются разные способы оформления для разных семантических типов сентенциальных актантов. Тем интереснее пример японского языка, где такое разграничение проводится. Это разграничение связано с использованием следующих средств: цитационного² союза *то* и субстантиваторов — но и *кото*.

2. Об основных способах оформления сентенциального актанта в японском языке

В японистике не раз предпринимались попытки обнаружить семантические правила распределения средств оформления сентенциального актанта относительно включающих предикатов; см. [11, с. 70—79; 12, с. 104—122; 13, с. 178—207; 14, с. 213—222; 15] и др.

Однако большинство этих правил оперирует с достаточно узкими классами предикатов (так, многими отмечалось, что предикация, подчиненная глаголу восприятия, оформляется почти исключительно субстантиватором *но*). Некоторые исследователи, весьма пессимистично оценивая возможность обнаружения универсальных закономерностей, предлагают считать эту информацию словарной и фиксировать как индивидуальную лексическую сочетаемость отдельного предиката [12, с. 108].

Тем не менее возможность сформулировать семантические правила распределения способов оформления сентенциального актанта весьма заманчива и работа в этом направлении продолжается. Некоторыми исследователями (см. [11, с. 78; 14, с. 213—222]) отмечается, что предикация, оформленная с помощью субстантиватора *кото*, имеет более абстрактное значение³. В [13, с. 178—207] предлагается и более тонкая семантическая интерпретация: движение «от запрета на *но* к запрету на *то*» коррелирует с ростом верифицируемости ситуаций, обозначенных включенной предикацией, верифицируемость достигает максимума, когда эта ситуация является объектом физических ощущений, —отсюда допустимость *но* и запрет на *кото* и *то* при глаголах восприятия.

Это объяснение представляется нам убедительным, но не полным, поскольку для многих семантических типов предикатов оно не позволяет однозначно предсказать способ оформления их сентенциального актанта. Не всегда позволяет оно понять и семантические различия в тех случаях (а их большинство!), когда допустим более чем один способ. Задача данной работы — обосновать следующее утверждение:

в японском языке сентенциальный актант, соотносимый с пропозицией, оформляется с помощью «цитационного» союза *то*; актанты — события и актанты — факты субстантивируются, причем субстантиватор *но* используется для актантов с событийным значением, а субстантиватор *кото* — для актантов с фактообразующим значением. Мы попытаемся предложить ряд диагностических контекстов и трансформаций, которые позволили бы выявить функциональные различия

² Этот термин используется в японистике вместо привычного для русской традиции термина «изъянительный союз».

³ Ср. также [15, с. 325] о противопоставлении прямого (*но*) и непрямого (*кото*) описания ситуации.

указанных трех типов сентенциальных актантов. Однако прежде чем перейти к обсуждению собственно семантической проблематики, следует сказать несколько слов о чисто синтаксических особенностях тех конструкций, которые будут рассматриваться.

Союзная техника оформления сентенциального актанта достаточно проста: цитационный союз непосредственно следует за включенным предикатом и предшествует включающему предикату⁴.

- (1) *Таро: ва каэру то*
Таро ПодлТ идет-домой Союз(что)
иттэ имас (АН, 134)⁸
говорит

«Таро говорит, что идет домой».

О субстантивации следует сказать несколько подробнее. Этот механизм состоит в том, что предикатная группа помещается в определение к субстантиватору — существительному с максимально обобщенной семантикой, в результате чего образуется именная группа, способная синтаксически подчиняться внешнему (включающему) предикату. Это подчинение оформляется путем присоединения к субстантиватору — вершине полученной именной группы — тех же показателей, которые используются при «каноническом» подчинении имени предикату.

- (2) *боку ва кино: хаюся-сан ни итта кото*
я ПодлТ вчера зубной врач Доп ходил Субст
о ханасимасу (АГ 2,28)
ПрДоп рассказу

«Расскажу о том, как я вчера ходил к зубному врачу».

Итак, мы будем рассматривать три основных способа оформления сентенциального актанта: субстантиватор *но*, субстантиватор *кото* и цитационный союз *то*.

3. Предикаты знания и памяти

Важнейшим критерием разграничения семантических типов сентенциальных актантов является их сочетаемость с определенными семантическими классами предикатов. Одним из таких классов являются предикаты знания и памяти.

Ситуация «знания» предполагает, с одной стороны, существование некоторого «положения вещей» в универсуме речи говорящих, с другой — существование «образа» этого «положения вещей» в сознании субъекта. Содержание «знания» не оценивается по параметру истинности, т. е. не является пропозицией. Ср. толкование глагола *знать*, предложенное З. Вендлером (в том значении, в котором мы употребляем термин «событие», автор

⁴ В подстрочнике японских примеров используются следующие обозначения для маркеров синтаксической позиции именной группы: Подл (подлежащее), ПрДоп (прямое дополнение), Доп (косвенное дополнение), ПодлТ (тематизированное подлежащее), ПрДопТ (тематизированное прямое дополнение), ДопТ (тематизированное косвенное дополнение).

⁸ В статье приняты следующие сокращения: АГ — Атарасий кокуго. Ч. 1—4. Токио, 1981; АН — Атарасий нихонго. Токио, 1973; И — примеры, полученные от информанта; МС — Мацумото Сэйтё: Кккэй но арано. Токио, 1969.

использует слова «факт» и «причина»): «„X знает, что P" означает, по-видимому, следующее: „X имеет доступное ему интеллектуальное проставление „P", причиной которого является тот факт, что P". Почему „доступное"? Потому что существует возможность забыть и вспомнить вновь: в промежутке представление продолжает существовать, однако доступ к нему оказывается невозможным. В противном случае *вспоминать* значило бы то же самое, что *изучать заново*, а это не так» [9, с. 306].

С этим толкованием хорошо согласуется употребление японских глаголов знания и памяти: они подчиняют субстантивированную предикатную группу и не сочетаются с актантом-пропозицией, оформленным с помощью цитационного союза *то*.

(3) *котоси но нацу минна дэ уми э итта*
 прошлый год лето все вместе море к отправились
но I кото о омоидасита (И)
 Субст ПрДоп вспомнил
 «Вспомнил про то, (как / что) прошлым летом (мы) все вместе отправились к морю».

(4) *дэнвасуру но I кото о омоицуканакатта (И)*
 позвонить Субст ПрДоп не сообразил
 «Я не сообразил (не додумался) позвонить».

(5) *ватаси ва хон о моттэ куру но / кото*
 я ПодлТ книга ПрДоп принести Субст
о васурэта н дэс га тори ни
 ПрДоп забыла так-получилось-что но взять чтобы
каэру дзикан га аримасэн дэсита (И)
 вернуться времени Подл не было
 «Я забыла принести книгу, но не было времени за ней вернуться».

В примерах (3)—(5) допустимы оба субстантиватора: при употреблении *но* сентенциальный актант соотносится с самой ситуацией — фрагментом внешнего мира, а при употреблении *кото* — с ее интеллектуальным образом — т. е. с фрагментом сознания говорящего.

Попробуем отразить это различие в толковании примеров (3)—(5). (Часть толкования, заключенная в квадратные скобки, здесь и далее соответствует значению субстантивируемой предикации.)

(3') *кото*: Я вновь получил доступ к имеющемуся в моем сознании некоторому представлению, а именно — представлению [о нашей совместной поездке к морю].

но: Я вновь получил доступ к имеющемуся в моем сознании представлению о некоторой ситуации, а именно — [о нашей совместной поездке к морю].

(4') *кото*: Я не сумел сформировать в своем сознании некоторое представление, а именно — представление [о (~ необходимости)⁶ позвонить].

но: Я не сумел сформировать в своем сознании представление о некоторой ситуации, а именно — [о (ж необходимости) позвонить]

⁶ Знак ж означает, что в этом месте толкования должен помешаться семантический предикат с некоторым модельным значением, которое ближе всего к значению необходимости или долженствования.

(5') *кто*: Я лишился доступа к имеющемуся в моем сознании некоторому представлению а именно — представлению [о (SK необходимо-сти) принести книгу].

но: Я лишился доступа к имеющемуся в моем сознании представлению о некоторой ситуации, а именно — [о (^ необходимости) принести книгу].

4. Предикаты мнения ц коммуникативные предикаты

В отличие от предикатов знания и памяти предикаты мнения предполагают наличие включенной пропозиции. Ср. толкование глагола *считать*, предложенное в [9, с. 306]: «X считает, что P» означает, по-видимому, следующее: „X принимает интеллектуальное представление „P» в качестве истинного». Пропозиция, т. е. интеллектуальное представление, которое оценивается по параметру истинности, в принципе не зависима от событий внешнего мира (т. е. не нуждается в «причине», по З. Вендлеру), тем не менее мнение может формироваться относительно какого-либо события или факта. Таким образом, глаголы со значением *считать*, *полагать* допускают сентенциальные актанты всех трех типов. Японские глаголы этой группы, как и следует ожидать, допускают в качестве средств оформления сентенциальных актантов и но-субстантивацию, и котео-субстантивацию, и цитационный союз *то*. Так, например, все три типа сентенциальных актантов способен вводить глагол *омоу* «думать, полагать»:

X но (о) омоу оперировать с интеллектуальным представлением некоторой ситуации, а именно ситуации X;

У кто (о) омоу оперировать с некоторым интеллектуальным представлением, а именно с представлением Y;

P то омоу принимать в качестве истинной пропозицию P.

Все три типа сентенциальных актантов способны вводить и коммуникативные предикаты.

(6) *ватаси ва хаха ни тэсудо дэ варуй тэн*
я ПодТТ мама Дои на экзамене плохая отметка
о тотта но о I кто
ПрДоп получила Субст ПрДоп / Субст
о / то иванакатта (И)
ПрДоп / Союз(что) не сказала

«Я не сказала маме, что получила плохую отметку на экзамене».

Семантические отличия, связанные с разными типами актантов, могут быть отражены приблизительно так:

(6') *но*: Я сознательно не каузировала путем речевой деятельности у мамы наличия интеллектуального представления о некотором событии, а именно [о получении мною плохой отметки]

кто: Я сознательно не каузировала путем речевой деятельности у мамы наличие некоторого интеллектуального представления, а именно — представления [о получении мною плохой отметки]

то: Я сознательно путем речевой деятельности не каузировала маму воспринять пропозицию, содержание которой [«я получила плохую отметку на экзамене»]⁷.

⁷ Отметим, что союзный вариант оформления *то иванакатта* в отличие от *но/ко'* *то о иванакатта* имеет нефактивное прочтение, т. е. из него не следует, что я на самом деле получила плохую отметку. Ср. замечание о фактивном прочтении русск. *Он не сказал о том, что я дома* (т. е. обманул) в [16].

Можно говорить, что в отличие от предикатов знания, имеющих только одну валентность, вводящую сентенциальный актанта, предикаты мнения и функционально близкие к ним коммуникативные предикаты имеют две валентности, способные вводить сентенциальный актанта: одну из них можно интерпретировать как валентность Содержания — соответствующий актанта вводит суждение или высказывание Субъекта, другую — как валентность Объекта — соответствующий актанта обозначает фрагмент действительности, по поводу которого выносится суждение или делается высказывание. Валентности Содержания оформляется с помощью цитационного союза *то*, а валентность Объекта с помощью показателя прямого дополнения *о*. Поскольку «поводом» высказывания или суждения может быть не только ситуация, но и отдельный ее участник, постольку валентность Объекта может вводить не только сентенциальный, но и «обычный» предметный актанта. Валентности Содержания и Объекта могут реализоваться одновременно, ср. следующий пример с коммуникативным предикатом *ю*: «говорить»:

Уцукарэ́та кото о тихо: ни ё́тте ва
 устал Субст ПрДоп район в зависимости от
синдай, ковай, эрай надо то мо ю:
 и т. д. Союз (что) также говорят
 но дэс (АГ 4, 70-71)
 бывает что

«Об усталости (букв, „о том факте, что устал“) в разных районах говорят по-разному, например, так: „синдай“, „ковай“, „эрай“ и т. д.».

Поскольку ложной может быть только пропозиция, а не факт и не событие, постольку цитационный союз *то* является единственным средством оформления сентенциального актанта для тех предикатов мнения, которые относятся к классу отрицательных имплицативов (см. [17, с. 51; 18]), т. е. предикатов, со значением «ошибочно полагать», которые в утвердительной форме вводят ложную, а в отрицательной — истинную пропозицию (по-видимому, впервые этот факт был отмечен в [13, с. 1781]). Цитационное *то* становится единственным средством оформления сентенциального актанта и для любых предикатов мнения, если они употребляются в контрфактическом контексте:

(8) *синдэ иру то бакари омоттэ ита*
 умер Союз (что) так и считали (который)
вани га тоцудзэн угокидасита (АГ 2, 115)
 крокодил Подл вдруг зашевелился

«Крокодил, которого продолжали считать мертвым (букв, „про которого думали, что он умер“), вдруг зашевелился».

(9) *карэ га куру то омоттэ ита нони*
 он Подл придет Союз (что) думал хотя
карэ ва конакатта (И)
 он ПодлТ не приехал

«Я думал, что он придет, а он не приехал».

Особо следует сказать о глаголе *сиру* «знать». Наиболее естественный способ оформления сентенциального актанта глагола *сиру* — субстантивация.

- (10) мусумэ га тоцудэн кангаэ о каэтэ
 дочь Подл неожиданно решение ПрДоп изменив
 дайгаку ни хаитта но I кото о цума
 университет Доп поступила Субст ПрДоп жена
 ва ватаси ни тэгами дэ
 ПодлТ мне Доп в письме

сирасэтэ кимасита (И)

сообщила {*сиру* 4 каузатив -j- завершенность действия)

«Жена сообщила мне в письме, что дочь, неожиданно переменяв решение, поступила в университет».

- (10') *но*: жена каузировала наличие в моем сознании интеллектуального представления о некотором событии, а именно — [о поступлении дочери в университет]

кото: жена каузировала наличие в моем сознании некоторого интеллектуального представления, а именно представления [о поступлении дочери в университет]⁸.

Вместе с тем, по наблюдениям Н. МакКколи, *сиру* может вводить позицию, которая в настоящий момент признается истинной, но в некоторый предшествующий момент ее истинное значение было неизвестно говорящему, ср. пример из [13, с. 197]:

- (11) *Рубинсутайн га мэкура ни нарикакэтэ иру но о/кото о/ * то ситтэ имас ка.*

«Вы знаете, что Рубинштейн начинает спать?»

Ма: ... *ишэ, ано ката га мэкура ни нарикакэтэ иру*

*то ва/ *но о/ *кото о има мадэ сиримасэн'дэсита/ * сиримасэн*

«Вон оно что ... нет, не знал, что он начал спать».

5. Предикаты, вводящие нереальные миры

Сентенциальный актант миропорождающих предикатов со значением «мечтать», «полагать», «воображать» обычно оформляется с помощью союза *то* или субстантиватора *кото*. Однако, как отмечалось исследователями (см., например [15]), может использоваться и субстантиватор *но*, вводящий актант-событие, если вводимое событие мыслится в будущем как реальное⁹ (например — но не обязательно! — если из контекста следует, что предположения подтвердились).

- (12) *канодзэ ва, отто га гаккай ни*
 она ПодлТ муж Подл на конференции
сюэсжиситэ иру айда Нара о аруку но о
 заседает пока Нара ПрДоп гулять Субст ПрДоп
То:кэ: о тацу токи кара
 Токио ПрДоп выехать время начиная
но этэй ни ситэ ита (МС, 3)
 которое предположение Доп делала

⁸ Интересно, что информант объясняет различие между *но* и *кото* в этом предложении следующим образом (на наш взгляд, хорошо согласующимся с предложенным нами толкованием): вариант с *но* естественно употребить в том случае, когда в письме содержалось лишь сухое уведомление о происшедшем событии; если же письмо содержало и разного рода подробности, то предпочтительнее вариант с *кото*.

⁹ > Ср. использование в [19, с. 299] понятия «запланированных» событий: событий «которые при нормальном ходе вещей обязательно произойдут (сюда относятся общие закономерности природы..., а также поступки, которые кто-то собирается совершить)».

«Еще когда они выезжали из Токио, она строила планы, как будет гулять по Наре, пока муж будет сидеть на конференции» (в момент речи героиня уже гуляет по Наре).

Аналогичным образом, -для обозначения «запланированных» ^событий ко-субстантивация возможна наряду с кошо-субстантивацией при глаголах со значением «ждать», «бояться», «избегать» и т. п. — т. е. со значением не чисто ментальным, но включающим ментальный компонент мн-поророждающего типа.

- (13) *нихондзин ва мукаси кара ей, еаруй*
японцы ПодлТ с древности хороший плохой
то ю: хандан о тёкусэцу ни хаккири то
такое суждение ПрДоп непосредственно резко
ю: кото о сакэру. аитэ но татиба
высказывать Субст ПрДоп избегают партнера позиция
о кангаэтэ соохито о кидзуцукэру
ПрДоп обдумывая его ПрДоп задеть
кото о осорэру кара дэ ару (АН, 212)

Субст ПрДоп бояться потому что имеет место «Японцы с древности избегают высказывать категорические оценки типа „плохо“ или „хорошо“. Потому что принимают во внимание позицию собеседника и боятся его задеть».

Актанты коммуникативных предикатов с так называемым комиссивным значением типа «обещать» не могут соотноситься с «запланированным» событием, поскольку коммуникативное намерение «обещающего» как раз и состоит в том, чтобы убедить адресата, что «обещанное» будет исполнено. Таким образом, предполагается, что «запланированность обещанного» не гарантируется нормальным ходом вещей. В связи с этим сентенциальный актант такого рода предикатов оформляется либо с помощью кото-субстантивации, либо с помощью цитационного союза. Существенно, что искренность заверений предполагается только при первом способе — это хорошо согласуется с нашим предположением о фактообразующем значении вото-субстантивации.

- (14) *нихон кокумин ва футатаби сэно: но*
японский народ ПодлТ вторично войны
тамэ но буки ва
для оружие ПрДопТ
торанай кото о Цуёку тикааитта (АН, 321)
не возьмет Субст ПрДоп твердо поклялся

«Японский народ дал нерушимую клятву, что не возьмется за оружие для новой войны».

- (15) *ватаси ва гэцуёби мадэ ни хон*
я ПодлТ понедельник до книга
о ёндэ симау
ПрДоп читать закончу
то якусокусимасита га дэкимасэн дэсита (И)
Союз (что) обещала но не смогла

«Я обещала дочитать книгу к понедельнику, но не смогла».

6. Предикаты физического восприятия

В работах [1–5] предлагается ряд признаков, разграничивающих фактообразующее и процессуальное значения. Один из наиболее существенных следующий: предикация, имеющая фактообразующее значение, соединяется только с предикатами интенционального типа и не соединяется с сенсорными предикатами, или предикатами физического восприятия. Таким образом, упомянутое в начале этой работы свойство японских сенсорных предикатов сочетается преимущественно с субстантиватором *но* говорит в пользу нашего предположения о событийном значении синтаксического актанта, оформленного с помощью *но*.

Однако абсолютного запрета на сочетаемость сенсорных предикатов с субстантиватором *кото* не существует. Это может найти свое объяснение в том, что многие сенсорные предикаты, и в особенности предикаты со значением визуального восприятия, имеют, как было показано в частности, в работах [31 и [10], в своем значении наряду с собственно сенсорным также и эпистемический компонент значения, который «предполагает в субъекте способность идентифицировать воспринимаемое, вписывая его в концептуальную картину мира, построенную на основании разнообразной информации, а также предшествующего личного опыта» [3, с. 10].

С субстантиватором *но* сочетаются предикаты физического восприятия, которые допускают только чисто сенсорную интерпретацию (например: *миэру* «быть видимым» *миокуру*, «следить взглядом»), и предикаты физического восприятия, имеющие в толковании эпистемический компонент, но в данном контекстном употреблении допускающие только чисто сенсорную интерпретацию.

(16) *тэра но то: ни сита кара сё:мэй га кирэй ни*
храма на башню снизу свет Подл красиво

атэтэ иру но га миэта (МС, 11)
ложится Субст Подл было видно

«Было видно, как снизу на башню храма красиво ложится свет».

(17) *но:ка но | нива дэ ... мусумэ га Сэцуко*
крестьянский во дворе девочка Подл Сэцуко
но то:ру но о лмокутта (МС, 4)
Подл проходит Субст ПрДоп проводила взглядом

«Девочка в крестьянском дворе проводила взглядом идущую Сэцуко» (букв, «то-как идет Сэцуко»).

Если сенсорный предикат получает в конкретном употреблении эпистемическую интерпретацию, он может сочетаться и с субстантиватором *кото*. В этом случае его толкование модифицируется следующим образом «воспринять» = «воспринять нечто и отождествить воспринятое с X».

В следующем примере возможны оба субстантиватора: событийное значение *но* согласуется с сенсорным употреблением предиката, а фактообразующее значение *кото* — с эпистемическим его употреблением.

(18) *ватаси га сотто ано онна ни тэгами*
я Подл тайком та женщина Дон письмо
о кайтэ ита но I кото о цума
ПрДоп писал Субст ПрДоп жена

ва кидзуйтэ ита (И)

ПодлТ заметила

«Жена заметила, как/что я тайком писал письмо той женщине».

Комментарий информанта: вариант с *но* употребим, если ж/она застала говорящего в момент написания письма, вариант с *кото* — если она стала свидетельницей каких-либо обстоятельств, изобличающих его в том, что он состоит в тайной переписке с женщиной¹⁰.

7. Некоторые дополнительные аргументы в пользу предложенной семантической интерпретации сентенциальных актантов

7.1. В [1] было показано, что противопоставление фактообразующего и событийного значений проявляется не только в различной сочетаемости соответствующей предикации с включающим предикатом, но и в различной реакции на действие более поверхностных — собственно синтаксических механизмов. В частности, если включенная предикация имеет фактообразующее значение, ни один из синтаксических компонентов этой предикации не может быть вынесен за ее пределы и «занять внешнее по отношению к ней место предиката (сказуемого)... Следующие предложения семантически неправильны: * *то, что Петя опоздал произошло вчера (было на пять минут... было невольюно)*» [1, с. 351].

Факты японского языка подтверждают эту закономерность: только Н₁-субстантивация, имеющая событийное значение, может стать базой для образования расщепленных (clef) предложений, ни ко/по-субстанция. ни предложения с союзом *то* расщеплению не поддаются.

«(19) *конкай То:кё: э итта но И *кото*
этот раз в Токио ездил Субст

ва хадзимэтэ дэсита (И)

ПодлТ впервые было

Это был первый раз, когда [я] ездил в Токио (букв, «то, что на этот раз [я] ездил в Токио, было впервые»).

«За скобки» субстантивируемой предикации может быть вынесено обстоятельство места, времени, образа действия и проч.— что подтверждает событийный характер ко-субстантивации.

7.2. Заслуживает внимания употребление *кото* в конструкции «N₁ (существительное) + Атр. (атрибутивный показатель) ≠ *кото*», употребляемой в значении «таксономический класс N₂» или «круг представлений, связанных с N₂»:

(20) *эйго дэ карасу но кото о куроу*
по-английски ворон(а) Атр Субст ПрДоп

то ю: (АГ 3, 11)
называют

«По-английски „ворона“ будет *куроу*» (букв, «понятие „ворона“ выражается словом *куроу*»).

(21) *нихон но фуруй коёми я гё:дзи но кото ва*
японский древний календарь и обычаи Атр Субст ПрДоп

¹⁰ Ср. аналогичный комментарий в [15, с. 329–330]. По наблюдениям С. Джозефа, в том употреблении глаголов, которое мы называем чисто сенсорным, допустим только длительный вид включенного предиката, но при эпистемической интерпретации это ограничение снимается.

вариант ёку ситтэ иру но дэс (АН, 322)

довольно хорошо знает

«Довольно хорошо знает календарь и обряды японской старины».
(букв, «знает то, что связано с календарем и обрядами»).

Это употребление *кото* хорошо согласуется с фактообразующим значением *кото* в функции субстантиватора предикатной группы. И в том, и в другом случае *кото* фиксирует интеллектуальное представление — образ фрагмента внешнего мира. Этим фрагментом может быть объект — как в конструкции «N₁ + Атр + *кото*», а может быть ситуация — как в случае субстантивируемой предикации.

7.3. Для субстантивации предикаций, замещающих валентности цели и следствия (результата), используется преимущественно субстантиватор *но*.

(22) *канодэё га сорэ ни мэ о томэта*
она Подл оно Дон глаз ПрДоп остановила

но ва мити но хито но намаэ

Субст ПодлТ незнакомого человека имя

нагара докока дэ соно модзи ни атта

было-вместе-с-тем где-то эти знаки Доп встречала

е: на ки га сита кара дэ ару (МС, 7)

такое чувство Подл овладело потому что имело место

«Она остановила на нем (имени) свой взгляд, потому что ею овладело такое чувство, будто она уже встречала где-то эти знаки, хотя записано было имя незнакомого человека».

(Валентность причины выражается предикацией, предшествующей союзу *кара*, валентность следствия — предикацией, субстантивируемой с помощью *но*).

7.4. Эмотивные и оценочные глаголы, как и следовало ожидать, допускают оба субстантиватора: «процесс может оцениваться по вызываемым им физическим ощущениям, факт — по вызываемому им нравственному переживанию» [1, с. 353].

(23) *анатс но маэ дэ нихонго о ханасу*
вами перед японский язык ПрДоп говорить

кото И но ва хадзукасий (И)

Субст ПодлТ смущаюсь

«В вашем присутствии мне неудобно говорить по-японски» (*кото* — «и поэтому я не говорю» *И но* — «я все равно говорю, хотя мне неловко»).

Комментарий информанта: *но* используется в тех случаях, когда говорящий смущен качеством своей японской речи и как бы просит за это извинения; *кото* употребляется в тех случаях, когда говорящий заранее оценивает результат как плохой и поэтому отказывается говорить.

Как видим, и в сочетании с предикатами этого класса *кото* выносит значение субстантивируемой предикации в интенциональную сферу.

7.5. Существенно, что *но* по своим морфо-синтаксическим свойствам является клитикой, т. е. обладает слабой морфо-синтаксической самостоятельностью, а, как было показано в [1, с. 355—356], именно для субстантивации с событийным значением характерен выход за рамки собственно синтаксических механизмов и обращение к деривационным, лексическим процессам.

Заключение

Суммируем теперь рассмотренные нами функциональные особенности японских сентенциальных актантов.

Актант, вводимый субстантиватором *но*: « сочетается с предикатами знания, памяти, мнения, с предикатами физического восприятия, с эмотивными, оценочными и коммуникативными предикатами; при определенных ограничениях может сочетаться с предикатами, вводящими нереальные миры; не сочетается с контрфактивными предикатами; может служить базой для трансформации расщепления, кроме, того, субстантиватор *но* является клитикой.

Актант, вводимый субстантиватором *кото*: сочетается с предикатами знания, памяти, мнения, с предикатами, вводящими нереальные миры, с эмотивными, оценочными и коммуникативными предикатами; при определенных ограничениях может сочетаться с предикатами физического восприятия; не сочетается с контрфактивными предикатами, не может служить базой для трансформации расщепления.

Актант, вводимый цитационным союзом *то*: сочетается с предикатами мнения и коммуникативными предикатами, с контрфактивными предикатами и предикатами, вводящими нереальные миры; не сочетается с предикатами знания и физического восприятия; не может служить базой для трансформации расщепления.

Такое распределение функциональных свойств довольно убедительно свидетельствует в пользу предложенной нами семантической интерпретации японских сентенциальных актантов:

субстантиватор *но* вводит актант, соотносимый с событием; субстантиватор *кото* вводит актант, соотносимый с фактом; союз *то* вводит актант, соотносимый с пропозицией.

Таким образом, выработанное в рамках логико-философского подхода к языку противопоставление семантических типов сентенциальных актантов находит подтверждение в существовании конкретного языкового механизма, позволяющего на поверхностном уровне различивать эти типы. Скажем в заключение, что подобный механизм обнаруживается и в типологически близком японскому корейском языке (см., например [20]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Я. Д. Сокровенная связка (к проблеме предикативного отношения) // ИАН СЛЯ. 1980. № 4.
2. Арутюнова Н. Д. Объект оценки через призму языка // Семiotические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Школа-семинар «Кутаиси-85»: Тез. докл. и сообщ. М., 1985.
3. Арутюнова И. Д. Глагол сидеть в функции предиката пропозициональной установки // Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспекте: Тез. докл. рабочего совещания. М., 1987.
4. Арутюнова Н. Д. «Пропозиция», «факт», «событие» (опыт концептуального анализа) // ИАН СЛЯ. 1987. № 6.
5. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка Событие. Факт. М., 1987.
6. Булгакина Т. В., Шмелев А. Д. Транзитивность знания как семантическая проблема // Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспекте: Тез. докл. рабочего совещания. М., 1987.
7. Падучева Е. В. О референции языковых выражений с непредметным значением // Семiotические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Школа-семинар «Кутаиси-85»: Тез. докл. и сообщ. М., 1985.
8. Падучева Е. В. О синонимии некусного и юнктивного оформления подчиненной предикации // Типология конструкции с предикатными акантами. Л., 1985.
9. Вендлер З. Факты в языке // Философия. Логика. Язык. М., 1987.

10. *Wierzbicka A.* «Prawda» u «Wiedza» — proba analizy semanticznej//Wierzbicka A. *Dociekania semantyczne.* Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1969.
11. *Сибатани Масаёси.* Нихонго **но бунсэки.** Токио, 1980.
12. *Nakai Minoru.* Sentential **complementation** in Japanese. Tokyo, 1973.
13. *McCawley N.* Another look at **no, koto and to** // *Problems in Japanese syntax and semantics.* Tokyo, 1978.
14. *Kuno Susumu.* The structure of the Japanese language. Cambridge (Mass.); London, 1973.
15. *Josephs S.* Complementation//*Syntax and semantics.* V. 5. N. Y., L., 1976.
16. *Крейдлин Г. Е.* О некоторых особенностях синтаксического поведения предикатов с сентенциальными актантами// *Семиотика и информатика.* 1981. № 21. С. 77.
17. *Зализняк Анна А.* К проблеме фактивности глаголов пропозициональной установки // *Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспекте:* Тез. докл. рабочего совещания. М., 1987.
18. *Карттунен Л.* Логика английских конструкций с сентенциальным дополнением // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. XVI. М., 1985. С. 313—314.
19. *Зализняк Анна А.* Знание как единица семантического языка//*Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности.* Школа-семинар «Кутаиси-85»: Тез. докл. и сообщ. М., 1985.
20. *Kee-dong Lee.* Nominalizations in Korean // *Proc. of the XIIIth international congress of linguists.* Tokyo, 1983.

© 1990 г.

ЗЕЛИКОВ М.В.

**ЭРГАТИВНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ В БАСКСКОМ
И ИБЕРО-РОМАНСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ**

Самым значительным событием в исследовании баскского глагола во второй половине XX в., возможно, был имевший большие последствия в вопросе о пересмотре всей грамматической системы баскского языка отход от его пассивной и вообще залоговой в индоевропейском понимании интерпретации, которой придерживались Г. Шухардт, А. Тромбетти и другие пионеры научной баскологии [1—3]. В этом смысле весьма показательной является эволюция взглядов крупнейшего исследователя баскского глагола Р. Лафона, также первоначально видевшего в нем способность к пассивной трансформации, но впоследствии радикально изменившего свое мнение [4]. Крайняя точка зрения была выражена А. Мартине, отметившим, что «баскский язык имеет глагол, которому неизвестна категория залога» [5].

В результате тщательных типологических исследований, проведенных за последнее десятилетие, было выявлено, что, несмотря на определенное структурное подобие эргативных языков, резко отличающихся от номинативных языков Европы и сопредельных областей Азии, конкретно эргативность в них проявляется далеко не одинаково. Установлено, что существует несколько типов эргативных языков. По мнению Р. Трэска и ряда других исследователей, большинство из них эргативны лишь морфологически; синтаксически эргативны лишь немногие [6]. Отмечается также, что в рамках эргативных систем, не считая немногочисленных синтаксических процессов типа инкорпорации, всегда тяготеющей к функционированию скорее на эргативно-абсолютивной основе, большинство синтаксических явлений действует скорее на номинативно-аккузативной основе, чем на эргативно-абсолютивной [7]. Баскская эргативность не является чисто морфологической. Как отмечает Г. Бреттшнайдер, различие эргатива и абсолютива в баскском составляет черту, релевантную для его синтаксической организации [8]. Подробный критический разбор этой и других точек зрения см. в [9]. Эта особенность, по мнению Г. Боссонга, составляет своеобразие баскского эргативного типа, отличая его от австралийской, тонганской, сино-тибетской, бурушаски и картвельской эргативности [10, с. 345]. По утверждению Г. Боссонга, баскский является глубоко эргативным языком [10, с. 369], и реализуемая в рамках эргативных строений, предполагаемых генезисом практически любого баскского предложения типичная оппозиция может быть названа залоговой лишь с известными допущениями. Так, использование в предложениях активного (соответствующего индоевропейскому переходному) глагола: *Martinek jan du aragia* букв. «Мартин съеденным его имеет мясо» противопоставлено стативному (соответствующему индоевропейскому не-

переходному) глаголу: *Martinek jana da aragia* букв. «Мartiном съеденное есть мясо». В обоих случаях агент предложения *Martinek* снабжен маркером эргатива -к. Вторая конструкция рассматривается как нехарактерная для баскского и как возникшая в результате позднейшего романского воздействия — типичные для и.-е. языков пассивные формы в баскском отсутствуют. Баскскому, если исходить из порядка слов в предложении, присуще исключительно активное построение фразы [11], а залоговая диатеза отсутствует именно у агентивного глагола, что, как это видно из приведенного примера, является одним из специфических показателей эргативности. Отождествление его с переходным глаголом номинативных языков, имеющим диатезу и способным к трансформации, невозможна [9, с. 104]. Как отмечает Т. Бретгшнайдер, в баскском различие между «активной» и «пассивной» конструкциями отсутствует и наличествует лишь один базовый тип предложения [12]. Существование последнего обусловлено исходной нерасчлененностью функций глаголов с семантикой «быть» и «иметь», которые лишь условно могут быть выделены в базовой форме *izan* [13, с. 319 и ел.]. Как отмечает Р. Лафон, баскские глаголы делятся на два класса в зависимости от наличия или отсутствия имени существительного или местоимения в эргативном падеже, а также в зависимости от числа и формы личных показателей в спряжении. При желании можно называть эти классы глаголов переходными или непереходными, но поскольку в таком случае сами данные термины имели бы существенно иной смысл, нежели тот, что они имеют применительно к глаголам латинского, французского или испанского языков, то лучше не пользоваться вообще данными терминами в баскологии и говорить просто о глаголах 1 и 2-го классов. Временный переход глагола из одного класса в другой вообще возможен, но это делается только с помощью вспомогательного глагола иного класса, с помощью изменения класса вспомогательного глагола: *ikusi du* «он его увидел», *ikusi da* «его видно, его увидели, он виден» [14]. Шире об условности понятия «переходный / непереходный» для глагола баскского типа см. в [9, с. 98 и ел.]. Подобное положение делает невозможным рассматривать баскские конструкции как пассивные, и отдельные попытки выявления пассивного залога в баскском, имеющие место в настоящее время [15, 16], встречают серьезные возражения [17—19]. Вопрос о пассивности баскского глагола снимается уже потому, что последний демонстрирует то архаическое состояние, когда пассивные и активные конструкции выражаются еще синкретично, что и является обязательной импликацией языков эргативного строя [13, с. 325]. О невозможности существования диатезы «актив-пассив» в баскском говорит и то, что в конструкциях, образованных с «непереходным» *izan*, отсутствует агент действия, ср.: *emendik erri osoa ikusten da* букв. «отсюда селение все в видении есть». Подобные образования, фактически являющиеся безличными, по мнению Ю. В. Зыцаря, служат для выражения пассивности в баскском и определяются им как «эргативный пассив» [20]. Первичность личных (активных) и безличных конструкций и вторичность пассивных, являющихся их поздней трансформацией, признается, как известно, и для и.-е. глагола. В и.-е. языках, например, в латыни, как отмечает Ю. С. Степанов, замена винительного падежа на именительный в конструкции *vitam vivitur* «проживает (свою) жизнь» ^> ^> *vita vivitur* (чисто пассивный оборот) реализуется очень поздно. Таким образом, этот оборот долго остается ориентированным на субъект, причем субъект этот неопределенно-личный и собирательный и даже не выраженный в самом предложении [21]. Кроме того, о глубинно активном

характере пассивных структур свидетельствует, как считает У. Р. Шмальстиг, и легкая возможность их «активизации», т. е. переосмысления в активную: сев.-русс.-русск. говоры: *У волков* (ген. мн. ч.) *тут корову съедено*, т. е. «корова съедена волками» = «волки съели корову». Ср. также лит. русск. *Эту башню видно издалека* [22]. О предложениях с устранным субъектом типа *Здесь дует* см. также [23]. Примечательно, что в предложении, приведенном Г. Боссонгом (*Olesik egin gabe, inork IkuIII gabe, gizategi handi batean sartzan naiz* «Бесшумно и будучи никем не замеченным, я вхожу в гостиную» [10, с. 359]), оба «переходных» глагола — *egin* «сделавший» и *ikusi* «увиденный», представленные здесь в различных функциях — эргатива («переходного» агенса) и абсолютива («переходного» пациенса), употреблены безлично: букв. «Крика сделавши без, кем-нибудь увидевши без, в гостиную большую во вхождении я есть». Нетрудно заметить, что безличная часть баскского предложения функционирует как депричастный оборот. Однако структура двух самостоятельных предложений, которые могут быть развернуты на ее базе, останется безличной. Ср.: (*Nik*) *ez dut olesik egiten* «Я не кричу», букв. «Я (эрг.) не ег-имею-я крика (партитив) в делании» и (*Ni*) *ez nau inork ikusten* «Никто не видит меня», букв. «Я не есть кем-нибудь (эрг.) в видении» [10, с. 360].

Попытка П. Наэрта доказать, что баскский глагол является именем действия (как глагол эскимосского языка), в свое время вызвала резкие возражения Р. Лафона [14]. Тем не менее статичность, которая характеризует аналитические (обычные для баскского, ср.: *Egiten dut* «В делании я это имею», *Ikusten naiz* «В видении я есть») конструкции, несомненна. Модели эргативных Иср.: *Nere laguna ikusten det* «Я вижу моего друга», букв. «Моего друга в видении (= в состоянии видения) его имею я], «эргативно пассивных» [ср.: *Emendik erri osoa ikusten da* «Отсюда видно все селение», букв. «Отсюда селение все в видении (= в состоянии видения) есть»] и абсолютивных конструкций [ср.: *Asko ibiltzen naiz* «Я много хожу», букв. «Много в хождении (= в состоянии хождения) я есть»] убеждают в правомерности мнения А. Мартине о том, что «действие в баскском представлено само по себе без ориентации по отношению к участникам, каким оно может быть в существительном» [5], см. также [24]. Полностью номинальной является и баскская форма, примерно соответствующая инфинитиву и.-е. языков, представляющая собой отглагольное имя, образуемое прибавлением к глагольному корню суффикса *-(i)te (-tze)*: *etor-tze* «приходить», букв. «прихождение»; *ikus-te* «видеть», букв. «видение». Помимо глагольных корней последний способен сочетаться с именами существительными (ср.: *elur* «снег» → *elur-te* «время снегов», т. е. «время, когда выпадает снег»), прилагательными (*eder* «красивый» → *^•eder-te* «процесс становления красивым»), местоимениями (*neze* «мой» → *→ nere-tze* «процесс становления моим») и наречиями (*azkar* «быстро» → *→ azkar-te* «ускорение», т. е. «процесс увеличения скорости»).

Таким образом, формант *-(i)te(-tze)* независимо от того, с какой частью речи оно используется, является показателем процессуальности. Однако образуемые им формы вряд ли можно назвать глагольными: нерасчлененность функций, которая обнаруживается при их исследовании, возможно, указывает на существование реликтов предыдущих этапов языкового состояния, эксплицируемых в настоящее время как неопределенные формы глагола (существительного, прилагательного, местоимения и наречия).

Подобно инфинитиву многих и.-е. языков, баскское отглагольное имя способно к субстантивации. Ср.: *Aberak edatera eramatea* «Скота угон к питью». Другой важной особенностью функционирования отглагольного

существительного в баскском языке является возможность его склонения. Давно отмеченное сходство этих формантов с и.-е. существительными (Э. Леви) несомненно. В последних инфинитив представляет хорошо развитую не только в именном, но и в глагольном отношении форму. Отметим, что примеры наибольшей инфинитивности в этом индоевропейстическом понимании содержатся в пберо-романских языках, и в частности в испанском. Унаследованный от латыни и в дальнейшем развивавшийся в основном в сторону глагольности, инфинитив романских языков приобрел ряд черт, одновременно характеризующих его еще в большей степени, чем в языке-основе, как именную форму. Бесспорной романской новацией является субстантивация инфинитива. Так, в частности, субстантивация испанского инфинитива, как неоднократно уже отмечалось, имея ряд особенностей по сравнению с другими романскими языками, составляет одну из самых характерных черт испанского синтаксиса [25]. Ср. модели употребления независимого инфинитива, отмечаемые, начиная с Харджей: *...tantfamare I habib, ...enfermieron welyos nidios* «...от такой любви, господин... заболели глаза». В современном языке: *Al principio mucho mirarme en el cine* (Делибес) «Сначала ты долго смотрел на меня, когда мы сидели в кино» [26, с. 321].

Среди примеров функционирования иберо-романского инфинитива как именной формы можно отметить еще одну важную параллель с отглагольным именем языка басков: показатели «склонения» последнего находят ближайшее структурное соответствие с различными предлогами, сочетающимися с испанским инфинитивом. Ср. генитив *{-ko, -zen}* = исп. *de, para: Ordu gutxian lura ereite-ko prest gelditu zan* букв. «Часов в несколько земля сеянца для готова стать была» = исп. *En pocas horas la tierra quedo dispuesta para sembrar; Ikastearen lanak luzeak dira* букв. «Учения труды долги суть» = исп. *Los trabajos del aprender son largos; датив {-ri}: Eurari eman zion* букв. «Дождю дав он = исп. *Le dio a Hover;* каузатив *{-gatik}* = исп. *pog {causa de}: Ara joate-agatik gaxotu zan* букв. «Туда хождения из-за заболевший он стал» = исп. *pog {causa de} ir alia, se enfermo.*

Отмечаемое сходство парадигмы баскского отглагольного имени с предложным использованием инфинитива в испанском отнюдь не исключает постановку вопроса о том, что уникальное для всех романских языков явление — способность иберо-романского (и особенно испанского) инфинитива сочетаться со всеми предлогами, сопоставимое с функционированием моделей действия состояния эргативных языков, лишенных субъектно-объектной ориентации,— находится в определенной связи с фактами древнейшего языка полуострова — баскского. Наше предположение не является оригинальным. Попытка объяснить разносторонние синтаксические функции испанского инфинитива (субстантивация, использование в конструкциях) как появившиеся благодаря баскскому влиянию, уже была предпринята Т. Монтгомери [27]. О флексиях баскского «инфинитива» в связи с его способностью к субстантивации, приводя испанские параллели, пишет А. Лопес Гарсиа: *eramanetik* «desde el/la/lo llevado», *eramatetik* «desde el llevar», *daramanetik* «desde el/la/lo lleva» и др. [28, с. 399].

Не имеют формальных аналогов в латыни и в других романских языках и современные разговорные модели предложного инфинитива как именной формы в функции прилагательных и наречий, исследованные до настоящего времени далеко не полно [29]. Ср. с предлогом *de: facil de creer* «легковерный» (= *cridulo*); *jdCIL de contentar* «невзыскательный» (= *poco exigente*); с предлогом *en: lento en actuar* «медлительный» (= *per-*

sona tarda); с предлогом *a*: *a medio cerrar* «полуоткрытый / полузакрытый» (= *medio cerrado*); *aplaudir a rabiarse* «неистово аплодировать» (= *aplaudir rabiosamente*) [30; 26, с. 336]. Следует отметить, что функция инфинитивных конструкций с предлогом *a* не является одинаковой. Здесь, наряду с адъективной и адвербиальной, отмечается и глагольная. Адвербиальная функция: *c.No tienes un marido que te quiere a cegar!* (= *ciegamente*) (В. Байнхауэр) «Разве не слепо тебя любит муж?»; глагольная функция: *Esta es la cuestion a resolver, es decir el motivo porel queyo estoy aqui esta noche* (Делибес) «Этот вопрос не решен (= этот вопрос надо решать); из-за него я сегодня и приехал». Как можно видеть, конструкция второго предложения близка к «глагольным» моделям инфинитива с предлогом *a*, являющимся эквивалентами моделей инфинитива с предлогом *por*. Весьма примечателен тот факт, что функционирование в иберо-романских языках инфинитивных конструкций для передачи видовых оттенков незавершенного действия и выполнение ими той роли, которая, например, в латыни и во французском обычно закреплена за герундием, находит типологическую параллель с отглагольным существительным языка басков. В отличие от результитивной формы, практически соответствующей индоевропейскому причастию, в баскском отсутствует специальная неличная модель, аналогичная деепричастию. Форма, соответствующая индоевропейскому герундию, используемая в конструкциях описательного спряжения (настоящее и прошедшее незавершенное время), не что иное, как то же отглагольное существительное, стоящее в местном падеже: *Zu etortzean da* «Вы приходите», букв. «Вы есть в приходе». Аффикс локатива (инессива) *-n* функционально равняется здесь испанским предлогам, вводящим инфинитивы в соответствующих конструкциях прогрессивного действия. Отметим в этой связи полное совпадение с моделью «*en* + инфинитив», особенно характерной для пиренейского романского ареала (каталанский, гасконский и провансальский): кат. *En entrar jo, tots s'alga-ren* (XIV в.) «Когда я вошел, все встали» [31].

Локативные модели отглагольного имени — не единственный способ выражения предикативных отношений в баскском [32]. Весьма продуктивны здесь образования с инструментальным суф. *-z*. Помимо использования с причастиями, ср. *negarrez* «плача» — *negarr* «плакавший»: *Ama atezan negarrez ez dala agiri beran semie* «Мать начала плакать, что ее сын (вновь) не появится» [33, с. 206], он может прибавляться и к субстантивированному отглагольному существительному. Ср.: *Amona eukiteaz laguntasan handia dauko* «Бабушка ей очень помогает», букв. «Бабушку с именем помощь большую она имеет» [34, с. 203]. Форма *eukitea-z*, параллельная испанскому герундию *teniendo*, буквально соответствует модели субстантивированного инфинитива с предлогом *con*: *con el tener*. Герундиальное значение имеют и испанские инструментальные модели с причастием (прилагательным) и инфинитивом. Первые являются эквивалентами посессивных конструкций с глаголом *tener* (*con* — депрецированный эквивалент *tener*) [35]. Ср. в предложениях при выражении одновременного действия: *Con los dedos clavados en las sienes y la vista jija en el suelo, permanece quieta, sin fuerzas* (Медь) (*Teniendo los dedos clavados en las sienes y la vista jija en el suelo...*) «Зажав пальцами виски и уставившись в землю, она сидит тихо, обессиленная»; *Estuvo un momento con la cabeza baja, indeciso* (Села) (*...teniendo la cabeza baja...*) «Короткое время он сидел, опустив голову, в нерешительности»; *Poz hacer algo me puse a jugar con las teclas, combinando acordes sin objeto, con un vaso puesto al borde de la ultima octava.* (Карпентьер) (*...teniendo un vaso...*) «Чтобы чем-

нибудь заняться, я, поставив стакан на край последней октавы, стал играть на клавишах, бесцельно подбирая аккорды». Практически не изучены (см. [36]) испанские инструментальные модели с эллиптическим инфинитивом: *Con el Paquito en la guarderia, y a es otra cosal* (Села) «— *Con estar el Paquito en la guarderia...* «Еслибы Паquito взял в приют, было бы совсем другое дело». Герундиальное значение моделей «con + инфинитив» несомненно. Ср. также: *Con Serafin en la tienda, Pio estudiando para cur a y las hijas, a pesar de su corta edad de criadas de servir...* *Serafin padre quedaba en el mejor de los mundos* (Села) «— *Con estar (trabajar) Serafin en la tienda...* «Серафим работал в лавке, Пио учился на священника, а дочери, несмотря на свой малый возраст, были отданы в услужение... и Серафим-отец был страшно доволен». Среди иберо-романских моделей этого типа следует отметить особо конструкции в кастильском языке Наварры. Отмечается, что их распространение связано с баскским влиянием непосредственно: *Medicos y boticas aunque co i haber, la gente tarde o temprano morir se hace* 137, с 81] (*habiendo medicos y boticas la gente se muere tarde o temprano*) «Несмотря на аптеки и врачей, рано или поздно люди умирают».

Типологическими коррелятами баскских моделей отглагольного имени, стоящих в адитиве (суф. *-za*), являются и иберо-романские конструкции «para -j- инфинитив»: *Irikitzen daude berei laguntzera joan gaitezen* «Они хотят, чтобы мы пришли к ним на помощь» (букв. «для помощи») = исп. *Están deseando (que) para su ayuda vayamos*, также хорошо известные как баскизированные модели в кастильском Наварры: *Yo creia ese pa v?ndsr que teniais* [37, с 81] (*Yo creia que teniais(que) venderlo*) «Я думал, что вы должны это продать»¹.

Вариантом инфинитивных конструкций с предлогом *para* в испанском являются конструкции с предлогом *a* [ср.: *El vagabundo, otra vez solo entre los altos y verdinegros carballos, pasa por Chapa, camino de Silleda, sin pararse a mucho mas que a refregar* (Села) «Путешественник, опять оставшийся в одиночестве среди высоких и зелено-черных дубов, проходит Чапу по дороге, ведущей в Сильеду, останавливаясь лишь для кратковременного отдыха», имеющие герундиальное значение в португальском. Ср.: *E tive a impressdo de estarmos todos mortos. Todos. A apodrecer* (Ондина Брага) «У меня было впечатление, что все мы мертвы. Все. Гнием»². В некоторых работах, в которых затрагивались вопросы возникновения иберо-романского аналитизма, они сопоставлялись с ирландской конструкцией «глагол *-ta* (= *estar*) -/- предлог -/- личный глагол» [38]. В кельтских языках можно отметить и параллель к иберо-романским инструментальным конструкциям с герундиальным значением. Так, в числе предложных моделей имен действия, сохранившего,

¹ Типично баскским в этом предложении является и синтаксис релятивного *que*, который, подобно своему баскскому аналогу — форманту *-ta*, неотделим от глагольной формы (ср. *dira-n*). Как известно, другой баскский релятив *-la* также используется для образования конструкций герундиального типа, ср. *nik dakidala* «зная это я», букв. «я (эрг.) это знаю, что» (= исп. *que yo sepa*). Несмотря на то, что, как отмечает Л. Вильянте, в кастильском таким моделям соответствует герундиальный оборот (ср. *sabiendolo yo* [34, с. 200]), известно, что сложноподчиненные предложения с придаточными относительными являются, по мнению некоторых исследователей, более «испанскими», чем герундиальные конструкции, расценивающиеся как галлицизмы. Так, по мнению М. Алонсо, сказать *La caja que contiene bombones* «Коробка, которая содержит конфеты» предпочтительнее, чем *La caja conteniendo bombones* «Коробка, содержащая конфеты».

² В ряде случаев модели «*estar* o + инфинитив» герундиальны и в испанском. Это имеет место на фразеологическом уровне: *Por que cree Usted que yo est.oy a matar con mi cunado?* (Села) «Почему Вы думаете, что я с шурином на ножках?».

как еще было отмечено ³. Виндишем, все характеристики существительного, широкое распространение имеют образования с предлогом *ag* (= йен. *con*): ирл. *Ta gra agam dhuit* «Я люблю тебя», букв. «Со мной есть любовь к тебе»; газельск. *Chan eil fhios agam* «Я это не знаю», букв. «Со мной нет знания» [39]. Как отмечает В. Н. Ярцева, «локативное значение предлога при инфинитиве указывает на чрезвычайную древность этого оборота. Круг значений, в которых употребляется оборот с инфинитивом, в древнеирландском неизмеримо шире, чем те значения, в которых мы встречаем винительный падеж с инфинитивом в других языках индоевропейской семьи» [40].

Сходное функционирование глагольного имени в кельтских языках и в баскском, на которое обращал внимание и А. Товар [41], имеющее структурные параллели с иберо-романскими конструкциями предложного инфинитива, возможно, представляет еще одно остаточное явление доиндоевропейских языков атлантического ареала Европы, одним из представителей которых является язык басков ³.

Несмотря на специфику баскского как языка с ярко выраженной эргативной системой, исследователи обращают внимание на определенные структурные аналогии с активной и номинативной системами (возможность именной морфологии: падежная парадигма, категория притяжательности и др.) [9, с. 119; 43, 44]. Во всяком состоянии языка,— писал Л. Ельмслев,— имеются отголоски предшествующего состояния и зачатки состояния в становлении. Как отмечает Г. А. Климов, тезис о большой архаичности эргативной типологии по сравнению с номинативной необоснован [9, с. 89]. Разделяя точку зрения Г. Боссонга о том, что номинативные характеристики в баскском относятся к явлению поверхностного характера [10, с. 369] и, возможно, находятся в процессе своего становления, основные типологически сходные синтаксические черты баскского с и.-е. (иберо-романскими и кельтскими) языками мы объясняем как остаточные структуры древнейшего для эргативных и номинативных языков активного строя, сущность которого составляли активно-инактивные отношения; см. также [45].

Как было показано выше, форма, соответствующая в баскском индоевропейскому инфинитиву, располагает только именными качествами (об этом см. [46]). Известно, что глагольный инфинитив имеется в номинативных и лишь частично в эргативных языках [9, с. 177]. Использование в этой функции полностью именной формы в эргативных языках и, в частности, в баскском,— непосредственный реликт древнейшего состояния. Способности баскского «инфинитива» зачастую выполнять функции глагольной категории времени, вообще являющейся весьма поздним приобретением грамматического строя языков, по-видимому, обуславливаются ситуацией, аналогичной той, что имеет место в языках активной типологии, морфология которых также не знает категории времени. Ср.: *Hozrella zaude deus ere egin gabetarik, eritasunak har, heriotzea ethor eta infernia joan* (Ашулар) «Итак, ты стоишь, ничего не делая, до тех пор, пока болезнь не возьмет тебя, смерть не придет за тобой, и ты последуешь в ад», букв. «Итак, ты находишься даже сделавши без, болезнь (эрг.) забирание, смерть прихождение и в ад ушедши». В этом предложении,

³ Попытка объяснить некоторые особенности видо-временной системы островных кельтских языков, например, конструкцию «*быть* -f предлог + спрягаемый глагол», исходя из широкого контекста языков Западного Средиземноморья (хамитские, баскский), принадлежит Ю. Покорному [42].

как отмечает Г. Боссонг, используется лишь один глагол, стоящий в личной форме: *zaude*. Помимо результитивной формы *egin* «сделавши», обозначающей сопутствующее действие, здесь присутствуют еще три неличные формы, придающие предложению, по мнению Г. Боссонга, архаическое звучание [10, с. 364]. Две из них, но не четыре, как пишет Г. Боссонг, — *har-* и *ethor-* в корневой (ср. иконические «причастные» варианты *har-tu* «взятый» и *ethor-i* «пришедший») «инфинитивной» форме. Отсутствие в древнейшей грамматической (активной) системе категории субъектного лица в составе финитного глагольного комплекса, очевидно, и вызвало к жизни не только эргативность, проявляющуюся в безличном, бессубъектном характере баскского глагола («эргативный пассив», функционирование чистых «инфинитивных» корней вместо финитных глагольных), но как остаточное явление активной структуры проступает в особых построениях с отглагольным именем в синтаксисе номинативных иберо-романских и кельтских языков. Ср. ирл.: *Ta se treis imeacht* «Он только что ушел», букв. «Есть он после хождения»; *Ta se deanta* «Я это сделал», букв. «Есть это сделанное мной» [47, с. 41–42]. При сопоставлении ирландской модели *Ta iithe aige* «Он съел», букв. «Есть съеденное им» с баскской *Martinek jan du* «Мартин съел», букв. «Мартин (эрг.) съеденным это имеет», отмечается их тождество и скорее активный, чем эргативный характер, что обусловлено их явным агентивным характером [47, с. 44], отмечающимися и для некоторых других баскско-кельтских соответствий [13, с. 326].

Что касается иберо-романского ареала, то, как уже отмечалось, наибольшее сходство с «эргативным пассивом» языка басков обнаруживают безличные испанские модели, которые характеризуются отсутствием согласования в числе между глаголом и объектом. Глубинной структурой активно-медиальных образований типа *se vende(n) botellas*, синтаксис которой говорит об их активном характере: «невывраженный субъект + переходный глагол -Я объект», является генитивная модель *Hay venta de la(s) botella(s)* «Бутылка (бутылки) есть / имеется продажа», объясняющая таким образом возможность несогласования в числе (подробнее об этом см. [13, с. 328; 48]). В связи с генитивной интерпретацией последней отметим, что в северных диалектах баскского языка отглагольное имя, функционируя в «чистом» виде, сочетается с прямым дополнением, стоящим в форме генитива: *Nik txakurraren hiltze-* «Я убиваю собаку», букв. «Мною (я — эрг.) собаки убивание» [49]. Показательно, что инфинитивная конструкция с генитивным прямым дополнением, довольно редкая в староиспанском: *mi visitar tu casa* (Селестина) «мое посещение твоего дома», в настоящее время, как считает Р. Лапеса, имеет некоторую тенденцию к распространению: *su infatigable tomar el rdano por las hojas* (Ортега и Гассет) «его неутомимая активность» [26, с. 349].

Известно, что генитив отсутствовал не только в языках активного строя, но и в представителях последовательно выдержанного эргативного [9, с. 46–47]. Тем не менее генитивизация органически присуща именным образованиям баскского. Способность к ней и баскского отглагольного имени является еще одним свидетельством именной природы последнего. Ср. в северо-восточных диалектах: *aitaren jitea* букв. «отца приезд»; *aitaren egite hori* «это действие отца», букв. «отца деяние это» [10, с. 382–383]. Представляет большую важность, что генитивизация, рассматриваемая как показатель развивающейся номинативной системы, вполне сопутствует архаическому (активному) характеру баскского предиката, тяготеющего в большинстве случаев к бессубъектному функционированию. Ср.

также очевидную связь показателя генитива-партитива *-ko* с суффиксами *-(i)ko*, *-tako*, которые, присоединяясь к отглагольному имени, указывают на релятивное отношение в прошлом, выступая таким образом как придаточные относительные с глаголом, стоящим в прошедшем времени: *Galduriko ardia* «Овца, которая потерялась» = исп. *La oveja que se perdió* (букв. *La oveja de lo perdido*); *Atzo ildako gizona* «Человек, который умер вчера» = исп. *El hombre que se murio ayer* (букв. *El hombre de lo muerto ayer*)⁴.

С органическим функционированием неличных форм, употребляющихся вместо финитного глагола, связано развитие и дативных отношений в баскском предложении. Несмотря на то, что вполне развитый дат. падеж засвидетельствован только у представителей номинативного строя, а факт его формирования наблюдается исключительно в тех преимущественно эргативных (и активных?) языках, которые прочно встали на путь номинализации [9, с. 109], в дативных бесsubjектных структурах баскского глагола «классические» номинативные оппозиции «переходность / непереходность» и «субъект / предикат» продолжают оставаться такими же невыраженными, как и в языках активной типологии. Так, например, баскским соответствием предложения типа «Отец разозлился» = исп. *El padre se ha enfadado* является конструкция с субъектом, стоящим? в дат. падеже: *Aitari hasarretu zaio* букв. «Отцу разозлило это» = исп. *Se le ha enfadado al padre* [52]. Об и.-е. параллелях см. [53]. В связи с этим отмѣтим, что дативные конструкции в иберо-романских, и в частности в испанском, являются обычными безличными коррелятами моделей активного высказывания. Ср.: *Yo no entiendo eso — Eso a mi no se me entiende* «Я этого не понимаю»; *Tengo miedo — Me da (entra) miedo* «Мне страшно». Глагол *dar* «давать», который в приведенных коррелятах всегда связан с одушевленным субъектом [ср.: *Ese pozo tiene un hechizo* (Сендер) — *En ese pozo hay un hechizo* «Этот колодец заколдован»; *La ciudad andaba ajetreada* (X. Гойтисоло) — *Habia un ajetre en la ciudad* «В городе была обычная суета»], вообще играет заметную роль в образовании безличных дативных конструкций в испанском как *verba omnibus*: *Me ha dado* «Меня задело» и в составе аналитического сказуемого: *Me dio a la pesca* «Я увлекся рыбной ловлей». Исследуемое явление хорошо объясняется из баскского языка: *eman* «давать» входит в аналитические конструкции, именной компонент которых имеет форму дат. падежа. Так, в баскском возможны не только *edanari eman* «выпивать», букв. «пьянке давши», параллельное кастильскому *dorse a la bebida*, но и *negarrari eman* «расплакаться», букв. «плачу давши» и *bideari eman* «пуститься в путь», букв. «дороге давши», которые иберо-романских соответствий не имеют (ср.: *echarse a llorar* и *ponerse en camino*). Отмечается, что в условиях баскско-кастильского биллингвизма вм. *Comenzó a Hover* «Начался дождь» говорят *Le dio a Hover* букв. «Ему дало дождить», что является явной калькой баскского *Euriari eman zion*

⁴ Отметим попутно, что особенности автохтонной (баскской) генитивизации сказались, возможно, на формировании необычных иберо-романских генитивных моделей, функционирующих в качестве обычных для и.-е. языков адъективных (отмечаемых и для ирландского языка): исп. *Una casa de las buenas* «Очень хороший дом» — ср. баск. *Bi gizon onik* «Два хороших человека», букв. «Два человека из хороших»; *Mujer de si casa* «Домашняя хозяйка» = баск. *Etzeko andrea* букв. «Дома хозяйка» [50, 51], и конструкции **именного** сказуемого на базе предлога *de* типа *ir de viaje* «путешествовать», *jar de vacaciones* «быть на каникулах», *andar de J-* существительное [*dinero, tiempo, tabaco*]⁵. Д-): «*Cómo andamos de tabaco?* «Как там у нас с табаком?»; *Preparate, quo vas de viaje* (Делибес) «Приготовься: ты отправляешься в путешествие».

[54]. Ср. буквальный перевод последней конструкции: «Дождю давши ему было».

Дативизация уже не раз отмечалась исследователями как типично кастилское явление. Так, Р. Лапесой в известном послесловии к «Поэме о Сиде» отмечается употребление местоимения *le* (< лат. датив *HI*) в функции существительных предметного значения (вм. *lo*): *Per Abbat le (este libro) escriuioen el mes de mayo* [55] «Пер Аббат ее (букв, ей) написал в мае месяце». Весьма значимым с этой точки зрения является существование в испанском не имеющих других романских параллелей аналитических конструкций, требующих дативного оформления типа *coger cariño (a alguien)* «полобить (кого-л.)», букв. «взять любовь к кому-л.» и др.

Х. Вагнер, показавший на большом языковом материале связь эргативности с безличными конструкциями, приводит, в частности, кельтские (ирландские и валлийские) модели отглагольного имени в локативно-дативном падеже: ирл. *Tagd ... do marbad do Chonnachtaib* «Тагд был убит Коннахтайбом», букв. «Тагд ... для убиения для Коннахтайба»; валл. *milltir wedi g chi adad llyn ogwen* «миля, после того, как вы оставите Лин Огвен», букв. «миля после для вашего оставления Лин Огвен». При этом известно, что на предлоги *do* и *i* распространяется и функция инструменталиса [56]. Предполагается, что дативно-локативные отношения в предложении, впоследствии переосмысленные в аккузативные, — одна из характеристик антипассивной конструкции [57]. Последняя невозможна после образования класса переходных глаголов и трансформации абсолютива в номинатив, выступающий, как известно, в качестве единственного падежа и.-е. подлежащего. Тем не менее, для раннего периода и.-е. языков агентивные функции отмечаются и для творительного падежа [58]. Одновременно в языках эргативной системы, и в частности в баскском, известно параллельное номинативное использование инструментального падежа в функции эргативного [56, с. 52]. Так, предложение «*Omeц съел хлеб*» может быть переведено как *Aita-k ogia jan du* букв. «Отец (эрг.) хлеб съеденный его он имеет» и *Ogia jan da aita-z* букв. «Хлеб съеденный есть отцом (инстр.)». В связи с вышеизложенным несомненно заслуживает внимания конструкция подлежащего с предлогом *entre* в испанском и в некоторых других западных романских языках, выделяющаяся на фоне обычного беспредложного функционирования подлежащего номинативных языков: *Para ellos el tesoro es del pueblo y entre nosotros y don Lino les estamos desvalijando* (Делибес) «По их мнению, клад принадлежит геревне, а мы с доном Лино их оборовываем»; *Ahora cercaban el lecho entre todos: el medico, dona Gregoria, Estefania y el senior Lesmes* (Делибес) «Теперь они все стояли возле ложа: врач, донья Грегория, Эстефания и сеньор Лезмес».

О большом удельном весе конструкций с *entre* в испанском свидетельствуют и примеры их несубъектного, атрибутивного функционирования (N = Adj.), отмеченные уже в произведениях Хуана Мануэля, Сервантеса и Лоне де Бегги: *Pareece mas prieto que amariello, et las espaldas entre amariellas et pardas* (Хуан Мануэль) [59, с. 226] «Он кажется скорее черным, чем желтым, а спинка у него желтовато-бурая». Ср. в современном языке: *...su perfil entre romano y tarteso* (Сендер) «...его римско-тартессийский профиль». Известный уже в самых ранних памятниках — ср.: *Mas se maravillan entre Diago e Ferrando* (Сид, 2348) «Но удивляются Диого и Фернандо» — в латинском языке настоящий оборот отсутствует, и вопрос о его статусе, функционировании и происхождении до сих пор является предметом дискуссии [59, 60]. Наиболее вероятной представляется точка

зрения, согласно которой исследуемые модели с *entre*, совпадая с наречиями *conjuntamente* «сообща», *mutuamente* «взаимно», *en union* «в союзе» и т. д., обладают локативным значением [59, с. 225—226]. Лучше всего об этом свидетельствуют модели современного разговорного языка, в которых существительные с *entre* выступают в функции обстоятельства образа действия, являясь эквивалентами инструментальных конструкций «*con* + существительное»: *Nos descalzabamos y vadeabamos el rio entre gritos y frecuentes chapuzones* (Делибес) (... *con gritos y frecuentes chapuzones*...) «Мы разувались и переходили реку, громко крича и быстро шлепая по воде»; *Un hombre no debe llorar aunque se le muera su padre entre horribles dolores* (Делибес) (... *con horribles dolores*) «Мужчина не должен плакать, даже если у него в тяжких страданиях умирает отец»³.

Ближайший структурный аналог конструкции «*entre* + существительное» в субъектной функции можно отметить и в баскском. Так, например, в бискайском диалекте: *A si zan danari zirike eta danan artien emon eutsien ederrak* [33, с. 2081 «Начал он их провоцировать, и они (букв, «между ними» = исп. *entre ellas*) надавали ему хороших палок». Локативное значение субъектной группы баскской фразы, хорошо согласующееся с возможностью инструментальных трансформаций эргативных конструкций в этом языке, о которой говорилось выше, имеет, кажется, достаточно оснований для того, чтобы в существовании иберо-романских параллелей с *entre* предполагать еще один непосредственный пример воздействия автотонного субстрата, проявившийся в результате иберо-романского двуязычия в северном регионе Пиренейского п-ва, что не исключает, впрочем, возможности позднейшего испанского заимствования в баскском.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bouda K. Das baskische Verbum ist nicht passiv // BRSVAP. 1958. Т. 14.
2. Зыцарь Ю. В. К типологической характеристике эргативной структуры языка басков // ВЯ. 1977. № 3.
3. Zytzar Yu. VI. Sobre el sistema ergativo del vasco (ensayo de una comparacion tipologica) // Fontes Linguae Vasconum (FLV) 1978. Т. 10. № 29.
4. Lafon R. Comportement syntaxique et diathese du verbe basque // BSL. 1954. Т. 50. № 1.
5. Martinet A. La construction ergative et les structures elementaires de Gënoncë // Journal de psychologie normale et pathologique. 1958. P. 391.
6. Trash R. L. On the origin of ergativity // Ergativity. L., 1979. P. 385.
7. Comrie B. Ergativity // Syntactic typology. Studies in phenomenology of language. Sussex, 1978. P. 346.
8. Bretschneider G. Typological characteristics of Basque // Ergativity. L., 1979. P. 371.
9. Каузов Г. А. Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
10. Bossong G. Ergativity in Basque // Linguistics. 1984. V. 22. № 3.
11. Lafon R. Ergative et passiv en basque et en georgien // BSLP. 1971. Т. 66. № 1. P. 336.
12. Bretschneider G. Euskara. Hizkuntzen tipologia, ta hizkuntza imibertsalak. Euskariari nazioarteko jardunaldak. Bilbao, 1981. P. 232.
13. Зеликов М. В. Баскское и иберо-романское предложение (параллели субъектно-объектного отношения) // ИАН СЛЯ. 1985. № 4.
14. Lafon R. L'expression de l'auteur de Taction en basque // BSLP. 1960. Т. 55. № 1. P. 189.

³ Инструментальная трансформация моделей *entre* + N (прилагательное) и отдельных моделей *entre* с существительными в обстоятельственной функции не является такой очевидной. Ср.: *Entre tristes y alegres... siguieron su camino* (Сервантес) (*con tristeza y alegria*...) «Грустя и веселясь, они продолжили свой путь»; *Me pregunto entre serio y bromista...* (Сендер) (*con seriedad y broma*...) «Он спросил меня полушутя-полусерьезно».

15. *Heath J.* Antipassivization: a functional typology // Berkeley Ling. Soc. Proc. 1976. N 2.
16. *Bollenbacher J.* The basque passive // Anglo-American contributions to Basque studies. Essays in honor of Jon Bilbao. Univ. of Nevada, 1977.
17. *Rijk R. P. G. de.* Topic fronting, focus positioning and the nature of the verb phrase in Basque // Studies in Fronting. 1978. P. 84.
18. *Eguzkita A.* On so-called passive in basque // FLV. 1981. T. 13. 37.
19. *Trask R. L.* The basque passive: a correct description // Linguistics. 1985. V. 23. N 6.
20. *Zytzar Yu. VI.* Sorbe el «pasivo» del verbo vasco // FLV. 1978. 29. P. 7.
21. *Степанов Ю. С.* Следы архаических типов индоевропейского предложения в латинской косвенной речи // Сущность, развитие и функции языка. М., 1987. С. 62.
22. *Шмальstieg У. Р.* К индоевропейской проблеме (В связи с выходом в свет книги Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы») // ВЯ. 1988. № 1. С. 32.
23. *Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение: лексические вхождения в структурные схемы // ВЯ. 1988. № 1. С. 55.
24. *Villar F.* Ergatividad. acusatividad y genero // Ed. Universidad Salamanca, 1983. P. 44.
25. *Bouzet J.* Grammaire espagnole. P., 1948.
26. *Lapesa R.* Uso potestativo de actualizador con infinitivo // Philologia Hispaniensi. In onorem M. Alvar. T. 2. Madrid, 1985.
27. *Montgomery T.* Basque models for some syntactic traits of the «Poema de mio Sid» // Bull. of Hispanic studies. 1977. V. 54. P. 98.
28. *Lopez Garcia A.* Concordancias gramaticales entre el castellano y el euskera // Philologia Hispaniensi. In onorem M. Alvar. T. 2. Madrid, 1985.
29. *Фролова Н. Е.* Некоторые вопросы развития инфинитива в романо-германских языках // Вопросы романо-германского языкознания: Материалы конференции. Вып. 2. 4.2. Челябинск, 1971. С. 302.
30. *Lapesa R.* El infinitivo con actualizador en espanol: condicionamiento sintactico de su forzosidad o rechazo // Serta Filologica F. Lazaro Carreter. Madrid, 1983. § 2. 3.
31. *Blasco Ferrer E.* La posizione linguistica del catalano nella Romania // ZRPh. 1986. Bd. 102. Hf. 1/2.
32. *Lecuona M.* Gerundioa euskera // Piarres Lafitte-ri omenaldia. Bilbao, 1983.
33. *Holmer N. M., Holmer V. A.* Apuntes vizcainos. II // Anuario del Seminario de Filologia Vasca «Julio de Urquijo». 1969. T. 3.
34. *Villasante L.* Sintaxis de la oracion compuesta. Onate (Guipuzcoa), 1976.
35. *Вольф Е. М.* Некоторые особенности местоименных possessивных конструкций (Иберо-романские языки) // Категории бытия и обладания в языке. М., 1977. С. 169.
36. *Деев М. Н.* Предлоги современного испанского языка. М., 1973. С. 75.
37. *Gonzalez-OIU F.* El romance navarro // RFE. 1970—1972. T. 53. № 1.
38. *Vermeer H.J.* Substrat ouest-europeen // Orbis. 1969. V. 18. N 1. P. 215.
39. *Temes E.* Zur inneren Gliederung der keltischen Sprachen // ZVS. 1978. Bd 92. Hf. 1/2. S. 213.
40. *Ярцева В. Н.* О глагольных категориях инфинитива индоевропейских языков // Актуальные вопросы иранистики: Тез. докл. М., 1970. С. 8.
41. *Tovar A.* Reflexions sur la diffusion de l'indoeuropeen en Europe Occidentale: quelques etymologies celtiques // Cahiers F. de Saussure. 1985. V. 39. P. 84.
42. *Рокоту J.* Keltische L'tgeschichte und Sprachwissenschaft // Die Sprache. 1959. Bd 5. S. 155.
43. *Jacobsen W. H. jr.* Nominative-ergative syncretism in Basque // Anuario del Seminario de la Filologia Vasca «Julio de Urquijo». 1972. T. 6.
44. *Rotaeche K., Doneux J. L.* Sur un point de morphologie nominal du basque // FLV. 1971. T. 3. N 9.
45. *Степанов Ю. С.* Герундивы и имена действия в древнейшем строе индоевропейского предложения // ВЯ. 1985. № 6. С. 22.
46. *Zilikov M. V.* Nuevas aproximaciones acerca del infinitivo vasco // FLV. 1988 A. 20. № 52.
47. *Orr R.* An embryonic ergative construction in Irish? // General linguistics. 1984. V. 24. № 1.
48. *Montes Giraldo J. J.* Notas. 2. La frase verbal y las construcciones impersonales / Thesaurus. 1986. T. XLI. № 1—3. P. 280—282.
49. *Heath J.* Genetivization in Northern Basque complement clauses // Anuario del Seminario de la Filologia Vasca «Julio de Urquijo». 1972. T. 6.
50. *Степанов Ю. С.* О партитивном определении в латинском, испанском и французском языках // ФН. 1959. №2.

51. *Зеликов М. В.* Типологические и субстратные параллели и синтаксической эмфазе в испанском языке // ИАН СЛЯ. 1989. № 4. С. 359.
52. *Oregi J. Berriz ere euskal aditzaz* // FLV. 1985. A. 17. № 46. P. 273.
53. *Степанов Ю. С.* Оборот *Земля пахать* и его индоевропейские параллели//ИАН СЛЯ. 1984. № 2. С. 134.
54. *Ayerbe K. J.* Nafar izkuntzan (Euskara basico de Navarra). Villabona, 1984. P. 123.
55. *Lapesa R.* Evolucion sintactica v forma lingiiistica interior de del espaiol//Revista de filologia espanola. 1968. V."86. P. 147.
56. *Wagner H.* The typological background of the ergative construction // Proc. of the Royal Irish Academy. 1978. V. 78. № 3. P. 56.
57. *Шмальstieg У. Р.* Эргативность в индоевропейских конструкциях со сказуемым в форме аориста медиа // ВЯ. 1985. № 6. С. 30.
58. *Schmidt K. H.* Dativ und Instrumental im Plural // Glotta. 1963. Bd 41. Hf. 1/2. S. 9.
59. *Cano Aguilar R.* Sujeto con preposicion en espaiol y cuestiones conexas // RFE. 1982. T. LXII. № 3/4.
60. *Martinez J. A.* «Entre tu y yo»: .Sujeto con preposicion? ./ Archivum. 1977—1978^ V. 27—28.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1990 г.

КРЫСЬКО В. Б.

**ИСТОРИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО АККУЗАТИВА
В «СИНТАКСИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» А. В. ПОПОВА**

Первая (и единственная) часть «Синтаксических исследований» Александра Васильевича Попова (1855—1880), написанная им за год до смерти, в возрасте 23 лет, носит название «Именительный, звательный и винительный в связи с историей развития заложных значений и безличных оборотов в санскрите, зенде, греческом, латинском, немецком, литовском, латышском и славянском наречиях» [1]¹. Основываясь на богатейшем фактическом материале, извлеченном из всех известных в то время древних и ряда новых индоевропейских языков, автор попытался прежде всего воссоздать развитие индоевропейского аккумулятива; анализ именительного и звательного служит вспомогательным средством для решения этой задачи, а исследование залогов и безличных конструкций всецело опирается на историю винительного падежа². Отдельное издание книги вышло посмертно, в 1881 г., причем ни тираж (естественно, незначительный), ни место издания (провинциальный Воронеж) отнюдь не могли способствовать распространению ее в научных кругах. Несмотря на чрезвычайно высокую оценку молодого лингвиста, данную его университетским учителем А. А. Потемной [2], несмотря на весьма положительные отзывы И. В. Нетушила [3, с. 88], а позднее — В. В. Виноградова [4, с. 488—491; 5], А. В. Десницкой [6, с. 24; 7], Н. С. Чемоданова [8], вплоть до настоящего времени труд русского ученого остается вне поля зрения многих языковедов не только за рубежом, но и в нашей стране. Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие упоминаний о А. В. Попове в новейших работах, затрагивающих историю индоевропейского предложения и падежной системы (см., например [9—14]). Крайне негативную роль в судьбе рассматриваемой книги сыграла рецензия Ф. Ф. Фортунатова [15]. Сопоставление этого разбора с исследованием Попова дает, однако, основания утверждать, что подробная критика Фортунатова имела своим объектом в первую очередь взгляды немецких компаративистов — Г. Кур-

¹ В дальнейшем все ссылки на страницы указанного издания приводятся в тексте в круглых скобках.

² В статье приняты сокращенные обозначения падежей: ИП — именительный, ВП — винительный, РП — родительный.

циуса и Т. Бенфея, а не разработки самого А. В. Попова. Главное в книге Попова — оригинальное и глубокое сравнительно-историческое и типологическое исследование индоевропейского ВП — к сожалению, не нашло в отзыве Фортунатова сколько-нибудь адекватного отражения [16].

Сейчас, через сто с лишним лет после издания «Синтаксических исследований», в условиях постоянно возрастающего интереса научной общественности к лингвистическому наследию, обращение к этой несправедливо забытой книге имеет, как представляется, не только историко-научное значение: идеи А. В. Попова слишком глубоки, слишком серьезны, слишком перспективны, чтобы лингвистика конца XX в. могла ими пренебрегать.

В качестве главной теоретической посылки Подов принял положение Г. Курциуса о двух формациях индоевропейских падежей: более ранней, к которой принадлежат именительный, звательный и винительный, и более поздней, к которой относятся прочие падежи (с. 1. ср. [16, с. 250]). Однако и в данном случае, и в дальнейшем, неоднократно ссылаясь на Курциуса, Попов нередко полемизирует с ним; во всяком случае, чисто умозрительные схемы, характерные для указанной работы Курциуса, в труде русского языковеда либо получают глубокое фактическое обоснование, либо, напротив, убедительно опровергаются. Так, в книге Попова цитируются слова Г. Курциуса: «Можно предположить, что было время, когда существовало даже только два падежа: не характеризующий никаким подвижным суффиксом вокатив и падеж с суффиксом *-M*, к которому только потом, позже присоединился падеж с суффиксом *-S*» [17, с. 251—252]. Однако, в отличие от немецкого компаративиста, Попов не отождествляет чистую основу с вокативом, хотя и соглашается с тем, что «существование падежа, представляющего чистую тему без падежного суффикса, в доисторическое время несомненно» (с. 4). Разграничение вокатива и чистой основы, проведенное Поповым, позволяет утверждать, что он первым указал на возможность существования в древнейшие эпохи праиндоевропейского языка такого состояния, когда падежная система отсутствовала, но имелась неоформленная именная основа (позднее — так называемый *casus indefinitus*: см. [6, с. 354—355; 18, с. 54—55, 72]). Образование «первой формации» падежей представлялось Попову в развитии: «в доисторическое время» — чистая основа, затем чистая основа и форма на **-m*, далее к ним присоединилась форма на **-s* (впрочем, как мы увидим, автор допускал и обратное развитие: сначала **-s*, затем **-m*), потом появился вокатив — в итоге возникает первая формация.

Существенное место в монографии занимает исследование вопроса об относительной хронологии возникновения ИП и ВП и об их исходных значениях. Традиционное понимание номинатива как падежа субъекта не учитывает того обстоятельства, что нередко он отмечается и в иных функциях, чередуясь с аккумулятивом. С другой стороны, первоначальную семантику ВП невозможно свести к значению цели движения, т. к. в индоевропейских языках имеется «целая масса винительных, в которых никакими натяжками нельзя открыть сходства» с пространственным аккумулятивом (с. 22). Однако и термин «объект» при определении исходного значения ВП «расплывается в нечто неопределенное, неуловимое» (с. 13). Поскольку даже на протяжении письменной истории индоевропейских языков заметны переходы от независимого винительного к зависимому, а в некоторых случаях аккумулятив издавна чередуется с номинативом (что возможно только при исконной независимости ВП), то, очевидно, «более

первоначальным винительным следует считать винительный независимый» (с. 28³; ср. [18, с. 117]).

Древнейшим различием между формами на *-*m* и *-*s* (которые можно было бы назвать протоаккузативом и протономинативом) было, по мнению А. В. Попова, различие семантическое: «Падеж на *s* сделался указателем главного предмета, субъекта, производящего действие; падеж на *m* должен был означать нечто противоположное, между прочим пассивный предмет, пассивное состояние» (с. 33). Оба форманта первоначально имели словообразовательное значение: элемент *-*s*, вероятно, служил для образования *pomina agentis*. а элемент *-*m* использовался «как для именительного, так и для винительного названия предметов, означающих нечто второстепенное, зависимое» (с. 34). Деривационный характер суффикса *-*m* ярко обнаруживается в тех случаях, когда соответствующая форма, выражающая зависимый, пассивный предмет, сохраняется при необходимости представить его как предмет действующий, т. е. в функции, тождественной позднему ИП среднего рода (конструкции типа *хождение утомляет*)⁴. Обращает на себя внимание совпадение идеи, высказанной Поповым, со следующим положением Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова: «...Индоевропейские именные образования, оформленные суффиксами *-*s*, *-*os* и *-*om*, можно рассматривать как формы, образованные с помощью деривационных суффиксов — маркеров, соотносящих конкретные имена с одним из бинарных классов — активным или пассивным» [12, I, с. 273, ср. с. 3081. Таким образом, взгляды Попова на первоначальное семантическое соотношение форм на *-*s* и *-*m* отчасти предвосхитили современную теорию активной типологии праиндоевропейского языка.

Анализ именительного и винительного Попов начинает с пограничных конструкций, демонстрирующих нечеткость семантических и функциональных различий между обоими падежами, причем особое внимание уделяет адвербиализованным, «аномальным» формам, которые, по его мнению, сохраняют самые архаичные значения (с. 55), — методологический принцип, фактически отвергнутый в рецензии Ф. Ф. Фортунатова [15, с. 114], но принятый современной лингвистикой [19; 6, с. 388—389; 20, с. 48; 9, с. 155].

Исследуя случаи чередования независимого ИП и ВП в комитативном, или социативном, значении [второстепенный предмет, который находится при другом, главном: ср., например, русск. (фолькл.) *обертывался серым туром золотые р о г а*], А. В. Попов, вопреки мнению Ф. И. Буслаева [21], установил, что мы имеем здесь дело не с эллипсисом, а с древнейшим явлением, которое, в частности, привело к образованию сложных имен (*bahuvrīhi*) типа др.-инд. *narasmahabahuḥ* «муж большая рука» ^>«великорукый» (с. 74).

³ Эта точка зрения противоположна концепции Г. Курциуса, пытавшегося объяснить развитие винительных независимых из винительных зависимых «ослаблением зависимости» (см. с. 168 книги А. В. Попова). Заметим также, что согласно Ж. Одри, наиболее ранним винительным является ВП отдаленного объекта (*objet prospectif*), в принципе идентичный независимому аккузативу А. В. Попова, но сводимый французским исследователем фактически к одному значению — цели [9, с. 175—176].

⁴ Подобное употребление протоаккузатива (инактива) в функции агенса при наличии определенных конститутивных условий дает основание говорить о существовании в праиндоевропейском не только структурно-синтаксического инактива, выраженного формами на *-*m* и *-*om* [12, I, с. 277], но и — *en pendant* — семантико-синтаксического актива с теми же формантами, превратившегося впоследствии в ИП среднего рода.

Чередование ИП и ВП наблюдается также в значении отношения — менее определенного, когда номинатив (resp. аккузатив) лишь выдвигает, указывает тот предмет, который имеет отношение к ближайшему предложению (ср. греч. "Επι7ηε<; *slat* to *usvo*; «что касается их происхождения, они греки», первоначально: «происхождение — они греки» — с. 81), или более определенного. На ранних этапах развития индоевропейских языков такие понятия, как одновременность, последовательность, причина, цель и т. д., еще не имели формального выражения, и соответствующие предложения соединялись паратактически. При этом явление, «менее важное для мысли», выразилось предложением без *verbum finitum*, т. е. независимым номинативом или аккузативом: ср. др.-инд. *suhrn me samajdtab punyavan asmi*, букв. «друг мой пришел, я счастлив» (с. 88).

Как свидетельствует материал разных индоевропейских языков, приводимый в «Синтаксических исследованиях», все указанные разновидности ИП в ходе языковой истории вытесняются ВП. Исходя из сформулированного в начале книги положения о первичности аккузатива, Попов в этой связи отмечает: «Первоначально падеж с формой винительного имел все рассмотренные здесь функции (не исключая и подлежащего). Когда к винительному прибавился еще именительный, то падеж этот, не имея строго определенного значения („различие в употреблении обоих суффиксов, очевидно, устанавливалось только постепенно“, Curtius, *Zur Chgonol.*, S. 251)⁵, принял на себя те же функции, что и винительный; таким образом явились многочисленные случаи чередования именительного с винительным. Затем, по мере того как именительный становился преимущественно указателем подлежащего и по мере того как язык постепенно достигал большей цельности и стройности в строении предложений, именительный терял рассмотренные выше разнообразные функции и они делались достоянием винительного (пока последний в свою очередь не потерял значительной части их при дальнейшем развитии других падежей)» (с. 100—101). Необходимо, однако, заметить, что, постулируя первичность ВП по сравнению с ИП, А. В. Попов опирался прежде всего на фонетико-морфологические доказательства Г. Курциуса, которые вызвали серьезные сомнения уже в то время (ср. критику Ф. Ф. Фортунатова) и не могут быть приняты современной компаративистикой. Собственных аргументов в пользу первичности аккузатива Попов не привел и, по-видимому, сознавая это, сопроводил процитированное выше заключение весьма знаменательным примечанием, в котором, по сути дела, допускал возможность доказательства большей древности *-х-формы (с. 100)⁶, что, впрочем, никоим образом не отменяет его вывода о первоначальной функциональной недифференцированности протоаккузатива и протономинатива (ср. [23]).

Дальнейшая история этих форм связана с развитием субъектно-объектных отношений, «...сменивших противопоставление именных образований по признаку активности— инактивности» [12, I, с. 313]: «Между именительным и винительным намечается существенное различие: именительный, делаясь преимущественно падежом подлежащего, оставляет

⁵ Ср. высказывание Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова о том, что древнейшая индоевропейская система характеризовалась «...двумя основными именными образованиями, оформившимися в п о с л е д с т в и и в качестве субъектного и общеобъектного падежей, выражавших все основные синтаксические отношения при предикативной форме» [12, I, с. 286] (разрядка моя.— К. В.).

⁶ Относительная хронология происхождения этих форм остается дискуссионным вопросом и в современном языкознании (см. [22]).

постепенно функции объекта в широком смысле и прекращает свое развитие в этом направлении; винительный, оставляя функцию подлежащего... делается падежом объекта в широком смысле и начинает свое специальное богатое развитие в этом направлении» (с. 101).

В трактовке независимого аккузатива — падежа объекта в широком смысле — А. В. Попов развивает мысль Г. Курциуса о винительном {протоаккузативе} как общем косвенном падеже [17, с. 252]. Идея эта, поддержанная в свое время В. И. Шершлем [24], И. В. Нетушилом [3, с. 93, 106], воспринятая — хотя и в достаточно своеобразной интерпретации — Г. Хиртом [25], нашла убедительное подтверждение в исследованиях А. В. Десницкой [6; 18, с. 70—124] и вполне согласуется с самыми современными представлениями о развитии ВП (ср. [26; 12, I, с. 285]).

Исследование независимых винительных в книге Попова открывается разбором винительных времени и места, которые в своих значениях обнаруживают явный параллелизм, хотя в ходе языковой эволюции вторые подверглись более существенным изменениям. Весьма важным представляется вывод А. В. Попова о том, что «первоначальным пространственным значением винительного не могло быть ни значение на вопрос *куда*, ни значение на вопрос *где*, а соединение того и другого, т. е. безразличие между *куда* и *где*», ср. др.-инд. наречие *devatra* «среди богов» и «в среде богов» (с. 20). Кристаллизация указанных значений приводит к тому, что постепенно винительные, отвечающие на вопросы «где?» и «когда?», либо вытесняются другими падежами, либо приобретают иное значение (ср., например, винительный направления).

Более распространены винительные, выражающие временную и пространственную протяженность. Попов указал на существенное различие между двумя разновидностями этих винительных: аккузативом, обозначающим только продолжение времени и протяжение пространства [эти формы можно назвать ВП временного интервала и ВП расстояния (ср. др.-русс. *отстоишь же от лавры рѣа попьрище одино*. СинП, 184⁷)], и аккузативом, обозначающим продолжение какого-либо действия или пространство, преодолеваемое в процессе движения (лат. *stadium currere*). Винительные первого рода остаются, как говорит Попов, «навсегда близкими к роли самостоятельных предложений» (с. 106; в современном понимании — являются детерминантами [27]). Египетское совпадение фактов индоевропейских языков в том, что касается функционирования ВП времени и места, указывает, вероятно, на праиндоевропейское происхождение этих конструкций. Поскольку же другие виды независимого аккузатива в разных языках не обнаруживают такого согласия в употреблении, автор заключает, что значения обстоятельств времени и места «... были древнейшими и главными значениями, в которых сказалось разграничение именительного и винительного как различных падежей» (с. 177).

Использование ВП для выражения комитативного значения засвидетельствовано в индоевропейских языках весьма ограниченным кругом примеров, т. к. соответствующее значение, «почти равносильное под-

⁷ Здесь и далее примеры из древне- и старорусского языка, подтверждающие и дополняющие материал А. В. Попова, введены автором настоящей статьи; в статье приняты следующие сокращения используемых источников: ГА — *Истрия В. М.* Книги временные и образные Георгия Минда; Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Т. 1. Пг., 1920; ГрД — *Шахматов А. А.* Исследование о двинских грамотах XV в. Ч. II. СПб., 1903; РИБ II — Русская историческая библиотека, издаваемая Археологической комиссией. Т. 2. СПб., 1875; СинП — Синайский патерик. М., 1967; УСб — Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971.

лежащему» (с. 134), обычно выражалось номинативом (*крестьянин и батрак или*), а по мере развития других косвенных падежей переходило и к ним. Разновидностями независимого ВП комитативного являются:

а) винительные сопровождающего предмета, нередко с оттенком инструментального значения (лат. *stabat ense in manu* «стоял с мечом в руке»;¹ с. 130-135);

б) винительные сопровождающего обстоятельства (греч. πῶς·σὺν ἑάτρα·σααυ Τῶν ἰσρὼν χαΧουασῶν «выступили в поход с так называемой священной войной»: с. 137); на их основе могли развиваться винительные цели (греч. ἀ·ζΥΛερ* σΧισΙν «идти с посольством») и винительные образа действия (Γοὼν χίγυοz ·/(ορβίν Ἐογ «с такой же быстротой войти внутрь»: с. 138-139).

Первым видом винительных отношения является ВП простого отношения, типа др.-инд. *pata* «по имени». В тех же случаях, когда аккузатив получает более определенный оттенок значения, соответствующие формы могут быть разделены на: а) винительные, обозначающие сферу проявления действия или состояния (винительный отношения: ср. греч. ὑαλλῶ ·zιρ ·κρῆμυ «я болею головой») б) винительные коммодальные, обозначающие лицо, к которому относится действие или состояние. Исследуя примеры последнего типа (др.-инд. *vacasam na mantave* «не изучить и мудрецу», лат. *me puditum est* «мне стыдно»), А. В. Попов дал убедительное объяснение подобному употреблению ВП: «Есrff предмет, который должен бы быть подлежащим, является не столько производителем действия или состояния, сколько предметом, в котором проявляется действие или состояние, то более уместным было поставить на месте подлежащего не именительный, а падеж коммодальный (т. е. первоначально винительный, а позже дательный и другие)» (с. 154) (ср. [20, с. 75]). Важным и перспективным представляется замечание Попова о существовании коммодального значения у возвратного местоимения *se, использовавшегося для образования балто-славянских рефлексивных глаголов (с. 150 — 151). Это положение позволяет удовлетворительно истолковать косвенно-возвратные формы, образованные не только с помощью дативного *si* (лит. *nusipirkti*, чеш. *koupit si* «купить себе»), но и с помощью аккузативного *sš*: ср. *роздилишаС... Максимовы дѣти земли и воды* (ГрД, 142).

Второй вид данного ВП — винительный определенного отношения — не получил широкого распространения, т. к. в связи с развитием падежной системы соответствующие значения были восприняты другими косвенными падежами. В его пределах выделяются следующие оттенки: а) ВП причины (греч. ΧΠV а/κο·jοtt ἔΧχο; «сильно страдаю от раны»); б) ВП образа или пояснения (г-ф) ρυῖον «по природе»); в) ВП результата и соотносящийся с ним ВП внутреннего объекта (IXv: οfρααt «поразит так, что появляется рана»; οΧΧισι *hxfpm* οΧ&φρον, первоначально «он погибает: печальная гибель») (с. 155—160).

Рассмотрение различных типов независимого аккузатива приводит А. В. Попова к важному выводу, подтверждающему гипотезы, выдвинутые в начале исследования: «Винительный независимый представляет необыкновенное разнообразие в употреблении; это служит подтверждением того положения, что винительный есть наиболее древний косвенный падеж и что он некогда был *общим косвенным падежом...* с другой стороны, так как наибольшее разнообразие употребления представляет винительный независимый, то это служит указанием на то, что винительный независимый первоначальное винительного зависимого» (с. 164) (ср. [15 с. [118]).

Древние индоевропейские языки отражают процесс перехода от независимых винительных к зависимым, причем первоначально понятие зависимости весьма неопределенно (с. 164—169). Главный критерий для различия зависимого, т. е. объектного, аккумулятива — способность его преобразовываться в номинатив в страдательном обороте — оказывается релевантным лишь на сравнительно поздних этапах языкового развития, когда начинают разграничиваться, с одной стороны, переходность и непереходность, а с другой стороны — действительные и страдательные значения глагольных форм. Приводимые Поповыми Поповыми примеры типа др.-инд. *gata-* «идуший, шедший» и «тот, по которому, к которому идет», *apta-* «достигший» и «достигнутый» показывают, что первоначально в конструкциях со страдательными причастиями не различались деятель, пациент и даже само действие, и в зависимости от контекста они могли выражать все указанные значения. Для древних периодов языковой истории характерно более широкое распространение пассивных оборотов, образующихся, в частности, и от глаголов, которые в письменную эпоху уже не встречаются в сочетании с ВП объекта: ср. др.-русск. *нешествованы соут поустья ты страны* (ГА, 49) или *земля... от разбоиникъ х о д и м а* (УСб, 436) при отсутствии конструкций типа **ишествовати страны* или **ходити землю*. Объяснить такое употребление можно, лишь допустив, что «не один только винительный объекта в позднейшем значении мог быть подлежащим страдательных оборотов, а и винительный как „общий ковенный падеж”» (с. 180); иными словами, образование пассивных форм происходило в то время, когда ВП еще не специализировался в значении прямого объекта и собственно транзитивность, т. е. способность глагола управлять прямообъектным аккумулятивом, как особая глагольная категория находилась лишь в стадии зарождения.

Итак, кристаллизация прямообъектного значения ВП представляет собой результат длительного развития независимого аккумулятива. Поэтому вполне закономерно «систематизировать винительные объекта сообразно с системой винительных независимых» (с. 182). До публикации «Синтаксических исследований» (собственно говоря, и позже) все попытки классификации объектных винительных опирались на совершенно иной принцип — перечисление различных значений аккумулятива в соответствии с лексико-семантическими группами управляющих глаголов (см., например [28]). А. В. Попов, сохраняя деление на три группы (винительные объекта времени и места; винительные объекта комитативные; объектные винительные отношения), не только установил истоки многообразных оттенков объектного ВП, но и определил точки взаимодействия между ними и пути развития новых значений.

1. Винительные объекта первого рода (времени и места). Сравнительно небольшую роль в формировании объектной функции аккумулятива сыграли винительные времени. Объясняется это тем, что обстоятельство времени представляют собой нечто внешнее для действия (с. 185). Лишь в тех редких случаях, когда временной аккумулятив преобразуется в подлежащее страдательной конструкции, т. е. продолжение времени становится «главным предметом речи» (ср. лат. *tertia jam vivitur aetas*), можно предположить, что ВП приобретает большую зависимость от глагола; именно на основе подобного употребления развиваются транзитивные конструкции типа *прожить век*.

Более близки к действию, выражаемому сказуемым, обстоятельства места, поскольку действие одного предмета обычно проявляется в другом, который предстает либо как сфера, либо как цель действия (с. 185). Соот-

ветственно винительные пространственного объекта восходят либо к винительным протяжения [ср. др.-инд. *devadatto gramam gacchati* «Девадатта ходит по деревне» при возможной пассивной трансформации *gato gramo devadattena* «деревня (про)ходится, пройдена Девадаттой» — с. 186], либо к винительным цели, к которой направляется или которой достигает движение (ВП при глаголах типа *идти, вести, класть куда-либо* ^> *давать, делать кому-либо; кричать, звать, говорить, приказывать, учить; достигать* ^> *схватывать, держать, иметь, владеть, побеждать, бить, похищать* и т. д. — с. 190—205) (ср. [9, с. 157]).

2. Винительные объекта второго рода (комитативные). На конкретном примере глаголов, восходящих к индоевропейскому корню **НлеТе-* и выражающих в отдельных языках либо движение одного субъекта («идти»), либо его действие по перемещению какого-либо объекта («нести»), А. В. Попов показал, что «значение *нести* есть специализированное значение движения, шествия (именно идти с кем, с чем), а винительный, очевидно, означает тот предмет, с которым совершается движение, шествие» (с. 213) (ср. аналогичный вывод в статье [10, с. 144]). Нечеткость границ между первичным комитативным и вторичным объектным значением ВП сохраняется и в историческую эпоху: так, греч. "Εχх ιρ βλ *επι-οιοί σρρ* 'льи'Яя может быть переведено как «Гектор между передними шел со шитом» и «Гектор ... нес шит» (с. 216).

Глаголы, сочетающиеся с комитативным объектом, можно разделить на две группы в зависимости от того, обозначают ли они совместное движение субъекта и объекта (*нести, везти, переправлять*) или же движение одного объекта при неподвижном субъекте (*двигать, махать, бросать, посылать, давать*).

3. Винительные объекта третьего рода (отношения) занимают весьма незначительное место среди объектных винительных, поскольку соответствующие формы независимого аккузатива вследствие чрезмерного разнообразия и неопределенности своей семантики в ходе развития индоевропейских языков были в основном вытеснены другими падежами. Лишь две разновидности ВП отношения, а именно винительные повода и некоторые винительные результата, «становятся в более близкие отношения к глаголам» (с. 225): ср. греч. *ιϕαω αυτοαι-ιξωτ* Δοωχ7)§r<к «удивляясь слову Диомеда», *κιϕ-ειο -xΧη ^ε ^ε* «наносу удар».

В процессе развития прямообъектного аккузатива его употребление подвергается различным усложнениям и специализациям. А. В. Попов указал на три вида усложнений винительного: а) двойные винительные б) вторые винительные; в) винительные с инфинитивом.

Причина возникновения двойных винительных, по мнению Попова, заключается в ТОЛЕ, ЧТО аккузатив представлял собой падеж объекта в широком смысле, а таких объектов в предложении могло быть несколько. Становление прямообъектной функции ВП приводит к разграничению винительных независимых и зависимых, а затем — к дифференциации ближайшего и отдаленного объектов. Поскольку ВП все более специализируется в функции прямого объекта, противопоставляясь в этом качестве подлежащему страдательного оборота, и поскольку в предложении может быть только одно подлежащее, естественно, что один из объектных винительных должен быть заменен либо иными косвенными падежами, либо предложно-падежными формами (с. 242).

Двойные винительные (или, точнее, двойные объектные винительные [29]) представлены двумя основными видами.

1) Двойные винительные одного значения различаются тем, что один

из них определяет объект более общим, а другой — более частным образом. И тот, и другой аккузатив восходят к независимому ВП цели: ср. др.-инд. *saranarh jami daivatani* «я прошу у божеств защиты» (букв. «я прихожу к божествам к защите», с. 243—244).

2) Двойные винительные различного значения образуются в результате присоединения к глаголу объектов, обозначающих предметы: а) по которым осуществляется движение «В П места»; б) к которым направляется движение (<^ВП цели); в) с которыми происходит движение (<ГВП комитативный). Различные комбинации этих объектов дают конструкции со следующими исходными значениями (с. 246—250): а) «двигаться по чему к чему»; б) «двигаться до чему с кем» ^> «нести, вести кого-что к чему» (например, лтш. *irbif mani ce\u veda* «куропатка вела меня по дороге»); в) «двигаться к чему с чем» ^> «нести, пускать что куда» (греч. *χαυα γσοΧΧα σορυσυ Τρυκς* «причинил многие бедствия троянцам»); сюда же относятся винительные при глаголах со значением «издавать звуки» («говорить» ^> ^> «поучать»): ср. др.-русск. *звѣздозаконьчицо Егуптяны научи* (ГА, 51).

От двойных объектных винительных необходимо отличать конструкции со вторыми винительными (термин А. А. Потевни, см. [30]), которые являются предикативными приложениями к первым, объектным винительным и, в отличие от обычных приложений, обозначают признак «не как данный, существующий готовым в определяемом, а как дающийся, возникающий в момент речи» (с. 251). При трансформации действительного оборота в страдательный второй ВП вместе с первым — как приложение к нему — переходит в номинатив, между тем как в конструкции с двойным винительным номинативному преобразованию подвергается лишь один ВП: ср. др.-инд. *Savitrlm pita adat snusam* «отец дал Савитри (ВП) в невестки / невесткой (ВП)» — *Savitrl pitra datta snusa* «Савитри (ИП) дана отцом в невестки (ИП)».

Третий тип осложненного аккузатива — винительный с инфинитивом — включает два рода конструкций. В одних ВП является объектом при сказуемом, а инфинитив сохраняет функцию косвенного падежа отглагольного существительного в значении цели (ср. русск. *пусти меня идти*). В других ВП сохраняет исконную независимость, выступая как *accusativus commodi* (ср. например, греч. *ἐγὲ ἰνα&etv* «мне претерпеть это!», с. 275—276).

Переходя к «специализациям» объектных винительных, т. е. ограничениям в использовании аккузатива, А. В. Попов указал, что отмеченное в древних индоевропейских языках употребление ВП при именах является реликтом первоначальной недифференцированности имени и глагола: «имена-причастия» (и вообще отглагольные имена) «могли иметь при себе те же падежи, как и сродные с ними глаголы» (с. 278): ср. греч. *ος ροφί-U-OQ ο58ει?* «никто не (есть) могущий избежать тебя». Разграничение частей речи приводит и к дифференциации их сочетаемости: глагол соединяется преимущественно с ВП, имена — с РП.

Важным этапом в процессе становления прямообъектного аккузатива явилось более четкое лексико-грамматическое разделение глаголов на переходные и непереходные. Это было достигнуто, во-первых, за счет семантического специализирования первоначально неопределенных в отношении транзитивности—интранзитивности (т. е. нейтральных, абсолютных, диффузных [18, с. 129; 12, I, с. 294]) глагольных основ: так, например, глаголы, восходящие к корню **H_{ne}ǵ-*, который совмещал в индоевропейском более раннее значение «идти, достигать» с более поздним «нести», в отдельных языках выступают либо в первом (непереходном),

либо во втором (переходном) значении. Кроме того, разграничению транзитивов и интранзитивов способствовало развитие фактивных (казуативных) глаголов с суф. *e;o-, *jo-, а также формирование деноминативов (типа *белить*). Наконец, большое значение в истории ВП имела дифференциация «наречных частиц» (с. 285), первоначально не соединявшихся ни с глаголом, ни с именем (ср. ст.-русск. *Карскую губу черезъ в Бъжали*: РИБ II 1092). Превращение этих «частиц» либо в глагольные префиксы, либо в предлоги повлекло за собой дальнейшее разделение транзитивов и интранзитивов.

Существенные изменения в функционировании объектного ВП связаны с дифференциацией залогов: действительного, медиального и страдательного. А. В. Попов рассматривает медию и рефлексив в единстве — как два способа выражения одной категории среднего залога — и считает «оба способа образования медиума одинаково первоначальными» (с. 289), что в принципе согласуется с современными представлениями об «ареально-диалектной обусловленности» медию «в пределах общиндоевропейского языка» [12, I, с. 331]. Поскольку медиальные окончания и возвратный элемент выступают при большинстве глаголов как субституты прямого объекта, а само значение объекта представляет собой результат длительного процесса разграничения первоначально диффузных функций, закономерно предполагать, что «значения, которые сообщались глаголу» данными формантами, «должны соответствовать древним значениям винительного вообще» (с. 289), т. е. ВП как общего косвенного падежа. Мысль о связи между значениями медию и рефлексива и аналогичным диапазоном значений протоаккузатива позволила Попову убедительно объяснить происхождение всех разновидностей медиальных и возвратных глаголов (что было бы, однако, крайне затруднительно, если бы семантика медиальных или рефлексивных показателей возводилась только к прямо-объектному аккузативу, а исходная функционально-семантическая сфера медию и рефлексива ограничивалась лишь прямовозвратным значением), ср. [31]⁸.

На основе медию развиваются личные страдательные формы глагола. Одной из важнейших функций медию является указание на совпадение субъекта и объекта действия; следовательно, медиальная форма может использоваться в тех случаях, когда «слово, являющееся подлежащим, есть объект действия, означенного сказуемым» (с. 298). Но ведь именно таково значение личных страдательных оборотов, ср.: *Одиссей назвался именем Никто* (т. е. «назвал себя») и *Остров назывался Итака* («был называем»). Очевидно, что переход от рефлексивного к пассивному значению в подобных формах сопровождался, во-первых, установлением более четкой дифференциации между семантическим субъектом и грамматическим подлежащим (что, в свою очередь, влекло за собой формирование особых средств для выражения агенса в пассивной конструкции [32]), а во-вторых, изменением глагольной валентности: если в медиальной (рефлексивной) конструкции при глаголе был возможен «второй винительный», то в страдательном обороте он заменялся номинативом; таким образом, сфера употребления ВП еще более сокращается.

Глубокое и подробное исследование ограничений и усложнений в использовании аккузатива привело А. В. Попова к принципиальному выводу: «Транзитивность первоначально (и вообще в более древних форма-

⁸ Изложение взглядов Попова на развитие значений медиальных (возвратных) глаголов см. в книге [4, с. 489—490].

циях) вовсе не составляет исключительной принадлежности действительного залога и не противоположна ни медиальности, ни страдательности, и даже не составляет исключительной принадлежности глагола вообще, но свойственна в значительной степени существительному и прилагательному; следовательно, активность первоначально вовсе не тождественна с транзитивностью... Но с течением времени происходит следующее. Между *verba activa transitiva* и *verba activa intransitiva* постепенно увеличивается различие; при последних (*verba activa intransitiva*) делается невозможным употребление винительных объекта, и вследствие этого делаются от них невозможными и личные страдательные обороты. Таким образом, суживание употребления винительных объекта идет параллельно с суживанием употребления страдательных оборотов. К этому присоединилось еще то обстоятельство, что язык при дальнейшем развитии начинает избегать двойных винительных, вследствие чего сделались невозможными и те винительные в страдательных личных оборотах, которые оставались винительными при обращении оборота из действительного в страдательный... С другой стороны, вследствие того же стремления избежать двойных винительных *verba media*, как уже заключающие в себе один объект (местоименный), перестают сочетаться с другим объектом, и таким образом медиальность начинает препятствовать присутствию винительного объекта. Если прибавить ко всему этому еще то, что имена существительные и прилагательные еще раньше теряют свое сочинение с винительным объекта, то делается совершенно ясным, что ариоевропейские языки в большей или меньшей степени приходят к тому, что транзитивность делается противоположно медиальности и страдательности и совпадает с активностью» (с. 300-301).

Завершая первую часть своей работы, Попов еще раз вернулся к вопросу об отношении именительного, звательного и винительного к остальным падежам. Синтаксический анализ подтверждает особую древность и близость указанных форм. Что касается ВП, являвшегося основным объектом исследования, то ни один падеж не примыкает так близко к номинативу и не сближается так тесно по значению с другими косвенными падежами, как аккузатив. Эти факты позволяют заключить, что значение прямого объекта есть значение позднейшее, развившееся в результате вытеснения и ограничения более древних значений; в то же время значения большей части других косвенных падежей могут быть возведены к одному аккузативу, выполнявшему некогда функцию общего косвенного падежа (т. е. протоаккузативу) (ср. [26]). Впрочем, «утверждать это положительно можно только после исследования остальных падежей» (с. 307).

К сожалению, безвременно умершему ученому не удалось выполнить эту гигантскую задачу. Однако столетие, прошедшее со времени выхода в свет его книги, показало: практически все то новое, что внес А. В. Попов в разработку вопросов индоевропейского сравнительно-исторического синтаксиса, не только нашло многочисленные подтверждения в трудах лингвистов XX в., но и до сих пор в значительной мере сохраняет новизну и актуальность. Распространению идей выдающегося русского ученого, ознакомлению с ними отечественных и зарубежных языковедов, несомненно, способствовало бы переиздание «Синтаксических исследований» — книги, во многом опередившей свое время*.

* Автор выражает глубокую признательность Л. Г. Герценбергу за помощь в работе над статьей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попов А. В. Синтаксические исследования. I. Воронеж, 1881.
2. Потемкина А. А. Некролог А. В. Попова // Попов А. В. Синтаксические исследования. I. Воронеж, 1881. £. II.
3. Нетушил И. В. Этюды и материалы для научного синтаксиса латинского языка. Т. 2. Харьков, 1885.
4. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). 2-е изд. М., 1972.
5. Виноградов В. В. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потемкина и Фортунатова). М., 1958. С. 357.
6. Десницкая А. В. Развитие категории прямого дополнения в индоевропейских языках: Дис. ... докт. филол. наук. Л., 1946.
7. Десницкая А. В. Вопросы изучения родства индоевропейских языков, М." Л., 1955. С. 69.
8. Чемоданов Н. С. Сравнительное языкознание в России. Очерк развития сравнительно-исторического метода в русском языкознании. М., 1956. С. 31—33.
9. Haudry J. L'emploi des cas en védique (introduction a Г etude des cas en indo-europeen). Lyon, 1977.
10. Степанов Ю. С. Вид, залог, переходность (Балто-славянская проблема. II) // ИАН СЛЯ. 1977. № 2.
11. Степанов Ю. С. Индоевропейское предложение. М., 1989.
12. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I—II. Тбилиси. 1984.
13. Савченко А. Н., Потемкин Н. А. Происхождение аккузатива в праиндоевропейском языке // Baltistica. 1987. XXIII (2).
14. Степанов Ю. С. Балто-славянское и индоевропейское предложение (проблемы реконструкции) // Baltistica. 1988. XXIV (2).
15. Фортунатов Ф. Ф. Разбор сочинения А. В. Попова: Синтаксические исследования... // Отчет о 26-м присуждении награды графа Уварова. СПб., 1884.
16. Крысько В. Б. Из истории русской лингвистической критики (рецензия Ф. Ф. Фортунатова на «Синтаксические исследования» А. В. Попова) // ИАН СЛЯ. 1990. № 1.
17. Curtius G. Zur Chronologie der indogermanischen Sprachforschung // Abhandl. der philol.-hist. Classe der Konigl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1867. Bd 5. № 3. <%
18. Десницкая А. В. Сравнительное языкознание и история языков. Л., 1984.
19. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 65.
20. Тройский И. М. Общеиндоевропейское языковое состояние (Вопросы реконструкции). Л., 1967.
21. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959. С. 453.
22. Гухман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981. С. 203.
23. Hirt H. Indogermanische Grammatik. TI VI: Syntax. I. Heidelberg, 1934. S. 78—79.
24. Шерцль В. И. Синтаксис древнеиндийского языка. I. Харьков, 1883. С. 40.
25. Hirt H. Handbuch des Urgermanischen. TI III: Abriss der Syntax. Heidelberg, 1934. S. 49—50.
26. Shields K., Jr. Indo-European noun inflection. A developmental history. L., 1982.
27. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970. С. 624.
28. Hubschmann H. Zur Kasuslehre. Munchen, 1875. S. 161—162.
29. Крысько В. Б. Транзитивность возвратных глаголов в русском языке XI—XVIII вв. // Вестн. ЛГУ. 1984. № 2. С. 81, 84.
30. Потемкина А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958. С. 295.
31. Савченко А. Н. Происхождение индоевропейского медиа в свете типологических данных // ИАН СЛЯ. 1986. № 6. С. 517.
32. Костюченко Ю. П. Становление значений деятеля страдательного залога и орудия действия (на материале русского и других индоевропейских языков): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1983.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Indogermanische Grammatik*/Beg'undet von Kurylowicz J. Hrsg. von Mayrhofer M. 1.1: *Cowgill W. Einleitung*; 1.2: *Mayrhofer M. Lautlehre* (Segmentale Phonologie des Indogermanischen). Heidelberg: Carl Winter Universitatverlag, 1986. 216 p.

1. Публикация этого тома знаменует собой возобновление издания Индоевропейской грамматики, предпринятого около двух десятилетий назад Е. Куриловичем. Новый редактор, М. Майрхофер, в Предисловии кратко излагает свое понимание целей и построения рецензируемой грамматики, указывая при этом, что готовится выпуск последующих томов (с. 5—7). Поскольку во Введении (с. 11—71) в сжатом виде выражена основная концепция всей работы, оно имеет исключительную ценность, особенно в свете безвременной кончины его автора. Вторая часть тома (с. 75—177), написание которой предпринял Майрхофер после того, как Каугилл решил не продолжать эту работу, чрезвычайно знаменательна в том отношении, что в ней определяется как концепция последующих томов, так и подход известного индоевропейца к сегментной фонологии индоевропейского праязыка. В настоящей рецензии мы сначала коснемся концепции авторов рецензируемой работы, а затем кратко очертим две части первого тома, снабдив их рядом необходимых комментариев. Далее мы обратимся к тем принципам, которые лежат в основе обеих частей книги. Возобновление издания рецензируемой грамматики, равно как и недавняя публикация замечательной книги Т. В. Гамкрелдзе и Вяч. Вс. Иванова [1], а также ожидающийся выход новых руководств по индоевропейской грамматике, наряду с обилием публикаций отдельных статей и монографий, ссылки на которые содержатся в рассматриваемом томе, — все эти обстоятельства требуют более обширной рецензии, чем та, которую заслуживает книга объемом чуть более 200 страниц.

2. После первых двух страниц, посвященных истории индоевропейских исследований, большую часть раздела Каугилл посвящает обзору предшествующих работ, касающихся проблемы возможного

родства индоевропейской семьи языков с другими языковыми семьями (с. 13—17), а также характеристике десяти основных подгрупп индоевропейской семьи (с. 17—53). Даются также пояснения относительно менее известных групп языков (с. 53—63). На следующих трех страницах рассматриваются проблемы прадины, времени распада праязыка, дисперсии выделившихся подгрупп, а последняя страница посвящена характеристике основных пособий.

Изложение достаточно обстоятельно и компактно, сравнимо с аннотированной библиографией. Перевод Баммесбергера дает возможность как бы непосредственно приблизиться к лаконичному повествованию самого Каугилла. Излагаемые взгляды в основном находятся в русле традиционной индоеврейстики. Каугилл по-прежнему настаивает на том, что балто-славянские языки составляют единую подгруппу, тогда как италийские и кельтские образуют отдельные группировки. Далее он утверждает, что только анатолийские языки не разделяют важных инноваций с другими подгруппами индоевропейского, однако при этом он не касается обсуждения индо-хеттской гипотезы.

Переходя к вопросу родственных связей индоевропейских языков, Каугилл следует за Коллиндером [2], предполагая их генетическое родство с урало-алтайской семьей. В то же время он отвергает их возможные отношения с кавказскими языками, вопреки взглядам Гамкрелдзе и Мачаваряни [3], равно как и связь с хамито-семитской и другими языковыми семьями. Такой подход отражает время написания работы (1973 г.), хотя Баммесбергер и Петере добавили ссылки на более поздние публикации, такие, как «Хеттский этимологический словарь» Пухвела [4]. Цитируемые работы получают лаконичную и объективную оценку, что делает Введение полезным для студентов.

Столь сжатое изложение требует детализованных комментариев. Хотя мно-

* © «General linguistics». 1987. V. 27. № 1.

гие темы и не являются спорными, тем не менее однозначную оценку получают и те из них, которые различными учеными оцениваются неодинаково. Жизнь Зороастра относится автором к VII в.* до н. э. (с. 27), вопреки аргументированным выводам Бэрроу о более раннем периоде его жизни [5]. Вульфилла без колебаний объявляется переводчиком Готской библии, и с той же степенью уверенности утверждается, что «на какой-то форме готского говорили в XVI в. в Крыму» (с. 43). Можно было бы ожидать комментариев ко многим инновациям, встречаемым только в балтийских и славянских языках. Эти последние, по мнению Каугилла, дают основания для их объединения в одну подгруппу (с. 49), точно так же, как это было сделано при рассмотрении кельтских инноваций, разделяемых и другими подгруппами (с. 64). От тщательно выполненной библиографии, приложенной к рецензируемой книге, можно было бы ожидать должной оценки вклада Р. Джонза, проделавшего основную работу при составлении ценного «Word-indices and word-lists to the Gothic Bible and minor fragments» (с. 45), равно как и упоминания второго издания (1966 г.) «Древнесаксонского словаря к Гелланду и Книге Бытия» Зейрта (с. 46). Несмотря на подобные упущения, Введение представляется весьма надежным с точки зрения излагаемого материала.

В кратком разделе, затрагивающем проблему прародины, автор, вслед за Гимбутас [6], локализует ее в районе Северного Кавказа и Нижней Волги. Каугилл с должной осторожностью относится к выводам, основывающимся на лингвистических данных, отвергая, в частности, аргументы, связанные с исследованием слов со значением «лосось» и «бук», приводимые в пользу центральноевропейской прародины индоевропейцев. Закрывая эту тему, он справедливо предупреждает, что в то время как мы ожидаем ответов от археологов, выясняется, что сами археологи питают сходные надежды в отношении лингвистов. В самом деле, лингвистические факты по крайней мере несут определенную информацию в отличие от немых камней, добытых археологами.

На нескольких строках, посвященных сообществу носителей индоевропейского праязыка, автор, вслед за Гимбутас, характеризует его в качестве воинственного пастушеского народа, разводившего крупных рогатый скот, лошадей, свиней и овец, выращивавшего по крайней мере один из видов злаков, применявшего колесные повозки и уже знакомое с использованием металлов, прежде всего меди (с. 66). Период распада праязыка на самостоятельные языки также, вслед за

Гимбутас [6], датируется приблизительно III тыс. до н. э. (4; 500 лет).

3. Столь же компактен и написанный Майрхофером раздел, касающийся сегментной фонологии. В отличие от изложения Каугилла, его текст включает данные и их интерпретацию, тогда как ссылки приведены в сносках в конце страницы, из них 334 названия занимают 90 страниц, а последнее название выходит на следующую страницу. После девяти страниц сокращений следуют семь параграфов. Параграф 1 касается концепции индоевропейского праязыка (с. 87–88), во 2 и 3-м параграфах дается предварительное изложение индоевропейской системы сегментных фонем (с. 88–90). В остальных параграфах рассматриваются классы фонем: в 4-м — смычные (с. 91–118), в 5-м — фрикативные (с. 118–158), в 6-м — плавные п назальные (с. 158–160), в 7-м — полугласные, гласные и дифтонги (с. 160–177).

Приложение состоит из пяти параграфов, содержащих ссылки на обе части рецензируемого тома. Параграф 1 знакомит с принятыми символами (с. 178–179); в параграфе 2 помещаются основные контекстно обусловленные правила праязыка (с. 179–181); параграф 3 включает тематический указатель (с. 182–185); параграф 4 представляет собой указатель форм (с. 186–208); параграф 5 — указатель авторов (с. 209–216).

В первоначальном варианте очерк сегментной фонологии был завершен Майрхофером в 1981 г. и читался им на семинаре для старшей группы в течение трех семестров (1982–1983 гг.); в окончательном виде этот очерк был переписан в 1983 г. Рассматриваемый текст, как и часть, написанная Каугиллом, практически лишены каких-либо ошибок.

В первом параграфе Майрхофер, как и ранее, заявляет, что он реконструирует специфический язык, опираясь в своих реконструкциях по возможности на все индоевропейские языки, особенно на наиболее архаичные (с. 87). Он характеризует свои реконструкции как осторожные и избегающие глоттогонических рассуждений (с. 88). В своем анализе он следует структурным принципам, часто интерпретируя элементы в соответствии с признаками, обобщенными в виде правил. Тем не менее он нигде не дает ни набора этих признаков, ни таблицы фонем.

3.1. Для смычных Майрхофер предполагает наличие пяти рядов, каждый из которых состоит из трех членов. В лабialsном ряду реконструкция /b/, несмотря на скудные свидетельства (ср. **hel-* «сила; сильный», а также другие примеры, представленные лишь в двух языковых группах), признается надежной. Помимо этого, /b/ в вед. *pibati*, лат. *bibit*

«петь», а также *-bd-* < **-pd-* усиливают это положение автора (с. 99—100). Рассмотрение двух других вопросов занимает большую часть 4-го параграфа: речь идет о глоттальной теории и о количестве спирантов. При изложении глоттальной теории приводится обширный список публикаций до 1981 г. как в пользу, так и против предположения о праиндоевропейских глоттальных, причем не высказывается какого-либо окончательного суждения. Прибегая к помощи суждения сторонников глоттальной теории, автор в то же время придерживается осязаемой временнотации, хотя он и использует поднятое^h, например, /р b b /, а также устаревшие термины *tenuis*, *media*, *media aspirata*. Повсюду применяются также и символы «системы Гамкредлидзе».

3.2. Относительно пространный параграф, касающийся фрикативных, почти полностью посвящен обсуждению ларингальных (с. 121—150), что составляет около трети написанной Майрхофером части. Уверенно постулируя для праиндоевропейского три ларингальных, он предпочитает при их обозначении пользоваться алгебраическими символами (h_j , h_2 , h_3). Довольно свежо выглядит признание наличия ларингальных в праязыке и в ранних диалектах, принадлежавшее верному последователю Индоевропейского общества (*Indogermanische Gesellschaft*). Аргументация Майрхофера в пользу ларингальных опирается главным образом на выводы его коллег по Обществу, основывающихся на данных греческого языка. Данные германских языков, равно как и наблюдения Кортланда над балтийскими и славянскими фактами, оставлены без внимания, хотя справедливости ради следует сказать, что многие из этих работ опубликованы после 1981 г.

Как следует из названия параграфа, Майрхофер трактует эти три ларингальных в качестве фрикативных, однако он не дает их фонетического определения, используя по преимуществу тройную нотацию Каугилла /x'/ x x'/. Возможность существования четвертого ларингального, как и более развернутых систем, в конечном счете отвергается; явное раздражение вызывает у автора наличие шести ларингальных в «Хеттском этимологическом словаре» Пухвела, который вышел в свет в то время, когда Майрхофер уже читал корректуру.

Далее Майрхофер постулирует сохранение ларингальных в отдельных подгруппах индоевропейского, особенно в греческом и «раннеарийском», без какой-либо ссылки на предположение Кортланда о наличии следов ларингальных в поздних балтийском и славянском.

В качестве подтверждения он приводит традиционные примеры, обращая большое внимание на недавние публикации, выводы которых частично основываются на морфологических данных (таких, например, как использование Риксом [7] аттической редупликации). Тридцать страниц, посвященных ларингальным, дают полезный обзор новых публикаций до 1981 г.

Далее обсуждаются примеры, на основании которых Бругманн предложил реконструкцию межзубных фрикативных, таких, как *p* (с. 150—158). И здесь Майрхофер также придерживается современных представлений о комплексной (*cluster*) природе подобных образований, а не о дополнительных праиндоевропейских фонемах (8, с. 99—100). Источник этих комплексов он видит в метатезе праиндоевропейских шумных — дентального (Т) и спиранта (К) > КТ в случае, когда такая последовательность (как в хет. *te-e-kari*) имела нулевую ступень.

3.3. Краткое рассмотрение плавных п назальных отражает точку зрения Майрхофера на то, что эти согласные не представляют каких-либо проблем для реконструкции. Больше внимание уделено полугласным /w u/, тогда как плавные и назальные вновь обсуждаются в связи с законом Зиверса. В трактовке Майрхофера сфера действия этого закона, в соответствии с книгой Зеебольда о /w u/ [9], в значительной степени сужена. Мы вернемся к этой теме ниже.

Постулируется система из пяти гласных /i e a o u/, представленных также и ДОЛГИМИ формами. Далее признается наличие шести дифтонгов, /e a o/ плюс Л, и/, а также их долгие корреляты.

Как и часть, написанная Каугиллом, раздел Майрхофера замечателен обстоятельностью и лаконичностью изложения проблем, обзором последних публикаций и фактологической достоверностью.

4. Столь тщательно продуманное и хорошо аргументированное изложение заслуживает дальнейшего обсуждения, учитывая в особенности то, что ни Каугилл, ни Майрхофер нигде эксплицитно не излагают своих теоретических концепций. В этой связи их научная методика в общем отражает традиционную индоевропейистическую процедуру, которая в целом соответствует теории, называемой младограмматической. При этом авторы исходят из того, что эта последняя теория широко известна. Тем не менее, принимая во внимание дальнейший прогресс индоевропейистики, в последнее время основательно модифицированной и находящейся, согласно Майрхоферу, в «Situation des Aufbruchs und Umbruchs» (с. 5), необходимо иметь ясное представление о теоретических посылках авторов и соответствующих процедурах анализа.

Этим вопросам будет посвящена оставшаяся часть рецензии, где изложение ведется в свете высказанных обоими авторами теоретических положений. На первых же страницах, посвященных теоретическим предпосылкам (с. 12), Каугилл указывает на классическую формулировку А. Мейе, данную им в 1925 г. в работе «La methode comparative en linguistique historique» (дальнейшие ссылки будут даваться по английскому переводу этой книги 1967 г. [10]). Цитируя другие работы, касающиеся метода (с. 87—88), Майрхофер стремится к выработке «indogermanische Grammatik» — мы назвали бы ее грамматикой реконструированного индоевропейского праязыка, рассматривая последний в качестве реально засвидетельствованного языка (с. 6). Можно кратко указать на те требования, которые предвзывает подобный подход.

Для Мейе признание любого языка, как реально засвидетельствованного, так и реконструированного, сопряжено с признанием и определенного сообщества носителей этого языка, называемого им нацией. Это сообщество должно помещаться в определенных хронологических рамках, иметь свой особый образ жизни, характерный тип цивилизации и культуры [10, с. 31—35; 11, с. 18, 418].

Язык в таком понимании следует анализировать и описывать прежде всего формально (10, с. 36—58). При формальном анализе выделяется несколько полуавтономных слоев, таких, например, как фонология и морфология. Определяя лингвистические принципы, лежащие в основе анализа, Мейе отмечает два вида сравнения: одно для исторических данных, другое — для общих принципов, известных иногда под названием универсалий [10, с. 13—24]. Второй тип сравнения часто называют типологическим. Мейе, как это хорошо известно из его грамматик и «Этимологического словаря латинского языка» (в соавторстве с Эрну), излагает свои взгляды на индоевропейский праязык и его группы именно таким образом. Как Мейе и предполагал (см. последнюю главу его известной книги [11, с. 124—128]), дальнейший прогресс науки существенно обогатил наше знание благодаря открытию и изучению новых текстов, а также находкам археологов. Эти успехи следует отразить в специальных пособиях.

5. Любое пособие по праиндоевропейскому языку должно содержать сведения относительно датировки этого языка и использовать эти данные при интерпретации засвидетельствованного материала. К концу своего Введения Каугилл приводит дату 3000 лет до н. э. Ц^а 500 лет. Однако в остальной части тома эта датировка никак не используется.

В нашем распоряжении сейчас имеются различные исследования, основывающиеся на датировке, полученной с помощью карбона-14, а также другие методы определения времени распада индоевропейского общества в результате ряда нашествий на Европу и Анатолию [12]. Для определения времени трех основных волн экспансий приняты следующие даты: 4500—4200, около 3400—3200, 3000—2800 гг. до н. э. [12]. Сходным образом мы располагаем информацией относительно уровня цивилизации индоевропейского общества, когда, например, оно стало использовать колесный транспорт. Еще более важно то, что эту инновацию мы можем соотнести с хронологическими этапами развития языка.

Тридцатью годами ранее того, как Каугилл написал свое Введение, Шпехт довольно обстоятельно определил, что основы, относящиеся к терминам, которые обозначают колесные повозки, являются преимущественно тематическими [13, с. 99—103]. Таким образом, в период внедрения этих технологических инноваций в обществе носителей индоевропейского языка тематическая флексия была продуктивной. Атематическая флексия ряда слов долгое время сохранялась в лексемах, обозначающих природные явления, многих животных и растения, части тела и т. д. [13, с. 9—98]. Однако слова для новых понятий стали оформляться тематическими окончаниями. Можно предположить, что в то же самое время имели место и другие изменения, например, в фонологии. Следует определить эти инновации и соотнести их с другими явлениями языка. Иными словами, необходимо признать наличие этапов в развитии праязыка.

Предположения относительно таких этапов уже высказаны, как для фонологии [8, с. 109—114], так и для морфологии [14]; см. также [15]. Были опубликованы, к счастью, и последующие исследования, например, Мейла [16] и Нейя [17]. Эти различные предположения должны быть соотнесены друг с другом, и прежде всего авторами пособий, нежели их рецензентами.

Необходимость выделения этапов в развитии индоевропейского праязыка, к сожалению, должным образом не была оценена, о чем свидетельствуют рассуждения Майрхофера о сущности закона Зиверса (с. 167). Воспользовавшись указанием Линдеманна [18], Майрхофер дает здесь синхронное объяснение несямным формам типа праи.-е. **suornos* «спать», иллюстрирующим, по его мнению, развитие сочетания VC из к, т, е, *иц.*, хотя «первичные монослоги» типа и.-е. **ḥso* «собака» развили Фермы с VC, что иллюстрируется греческим *κῖον* «собака». С точки зре-

ния Линдемманна и Майрхофера, формы VC, содержащие % *u*, регулируются количеством слогов в одном слове.

Такое объяснение является абсолютно немотивированным. На самом деле намного более вероятны причины хронологического порядка, обуславливающие различие трактовок этих двух типов форм. Когда продуктивными были тематические формы, как в праи.-е. **suopnos*, правило, обуславливающее вариант VC, более не действовало. Ведическое *vaṣva.na.ra-*, несомненно, следует объяснять именно таким образом, как и санскритские сложные слова на *-tva*, *-tvi* (с. 167). Решению проблемы способствует учет относительной хронологии, что подтверждается отсутствием формы, обусловленной законом Зиверса, в скр. *mdtsya* «рыба», которое засвидетельствовано еще в языке Ригведы, но, вероятно, является неиндоевропейским по происхождению.

Любопытно, что Майрхофер совершенно игнорирует принцип относительной хронологии, например, в изложении контекстно обусловленных правил. В параграфе 11 Приложения дан скорее алфавитный, нежели хронологический список. Помимо этого, закон Грассмана рассматривается раньше закона Бартоломе (с. 112—117), хотя Майрхофер признает, что только закон Бартоломе, в отличие от закона Грассмана, релевантен для праязыкового состояния.

6. Анализ праиндоевропейской вокалической системы страдает еще одним недостатком — интерпретацией фонологических проблем посредством морфологических критериев. Майрхофер предполагает наличие праиндоевропейских узких гласных главным образом на основании того, что локативное окончание *-i* никогда не выступает в неслоговой форме (с. 161). Однако двумя страницами ниже он пишет, что формы назального маркера презенса *-Pi-* и ассулатива ед. ч. *-ш* всегда являются неслоговыми по причине их морфологической значимости («morphologische Bedeutung», с. 163). Если функциональный критерий применим к этим морфологическим элементам, таким же образом он применим и к локативу ед. ч. *I-U*.

Это не означает, что при определении фонем морфологические критерии более важны, чем фонологические. Напротив, свидетельства отдельных подгрупп индоевропейских языков скорее отражают ограниченный хронологический срез, когда назальная морфема настоящего времени, а также морфемы ед. числа ассулатива и ед. числа локатива выступали как уже сложившиеся образования. Сходным образом, как замечает Майрхофер, ведический суф. *-iya-* может

стоять как после кратких, так и после долгих слогов (с. 165—166). Варианты, получившие распространение в какой-либо одной индоевропейской подгруппе, нельзя привлекать для установления фонологической вариативности праиндоевропейского, а также для определения его фонологической системы. Вызывает недоумение аргументация Майрхофера в пользу наличия, помимо */i/*, также *п/i/*; он постулирует обе фонемы, хотя и допускает в определенных условиях выведение *[i]* из */i/* (с. 161). Довольно странно видеть подобный анализ в пособии, основанном на структурных принципах. Совершенно очевидно, что в праиндоевропейской системе имелись фонемы с вокалическими, консонантными и VC-аллофонами, как это установил еще Зиверс и подтвердили его последователи. Эта система в отдельных подгруппах индоевропейского была разрушена в результате дальнейших изменений, воздействовавших на рассматриваемые фонологические единицы.

Такое разрушение явно просматривается в статистических данных Эдрена [19], цитируемых Майрхофером (с. 165), а ранее также и Эзболом, равно как и другими авторами, интерпретирующими эти данные на основе хронологических критериев. Эдрен дает глобальные цифры, не принимая в расчет период, к которому относится составление отдельных ведических гимнов. Хотя относительная хронологизация отдельных гимнов Ригведы представляет большие трудности, тот факт, что этот свод включает гимны, относящиеся к различным хронологическим периодам, известен уже давно. Можно согласиться с Майрхофером (цитирующим Шиндлера) в том, что факты, относящиеся к действию закона Зиверса, нуждаются в дальнейшем тщательном изучении (с. 166); то же можно сказать и об относительной датировке ведических текстов. К неверным обобщениям ведут и встречающиеся в последнее время попытки трактовки фонологической структуры языка Ригведы, исходя из положения о том, что этот язык не знал диалектных различий и относился к одной эпохе.

Проблема возрастает, когда эти обобщения проецируются на плоскость индоевропейского праязыка. Используя фонемный подход, мы не можем постулировать для праиндоевропейского одновременно как краткие высокие гласные, так и консонантные полугласные. Единственно обоснованной является реконструкция системы из следующих фонем: */y w g l m n/*.

Остаются, таким образом, три краткие гласные */e a o/*. Я не стану здесь обсуждать ни краткие, ни долгие гласные; отмечу только, что Майрхофер признает

недостаточность свидетельств в пользу /a/ и /o/. Полное обсуждение этого вопроса потребовало бы учета праиндоевропейской морфофонемике в соответствии с хронологической ситуацией, характерной для различных этапов индоевропейского праязыка.

7. Не буду затрагивать здесь и вопроса, касающегося структуры праиндоевропейского корня, замечу только, что Майрхофер не постулирует какую-либо каноническую схему, хотя не отвергает с порога и традиционную реконструируемую модель (с. 123—124). Отдавая дань вкладу Бенвениста в разработку этого вопроса, важно в то же время помнить, что предположение о трехчленной структуре индоевропейского корня основывается на наблюдениях целого ряда индоевропейств, в числе которых Шлейхер, Сосеюр, Хирт, Мейе. Кроме того, оно основывается на тонком анализе древнеиндийских грамматистов. В индоевропеистике наших дней не принято рассматривать различные последовательности типа *serp-* и *Hrewdh-*, равно как и *leg-* и т. д. в качестве корней. Весьма желательна также осторожность в употреблении терминов вроде *set* и *anit*. Хирт оставил нам довольно удобный термин «основа», обозначающий корни с аффиксами, включая и индийские *set*-основы. Любое современное исследование праиндоевропейского должно учитывать различие корней и их расширенных форм.

Помимо этого, путаницу создает использование употреблявшегося ранее в ином значении термина типа *schwa secundum*. Гласный аллофон ларингальных с таким же успехом может соответствовать случаям редуцированного гласного, которые ранее называли *schwa secundum*. Так или иначе, увековечение этого термина, особенно на фоне отказа от признания предполагавшегося лингвистами XIX в. *schwa grimum*, искажает адекватную картину современной фонологии — в данном случае обращение к прелественникам не приносит какой-либо существенной пользы (с. 175—177).

8. Проследить за массой появляющихся в различных странах публикаций, даже в такой ограниченной области, как индоевропеистика, чрезвычайно сложно. Если мы хотим все же быть в курсе хотя бы важнейших публикаций и обеспечить к ним доступ, нам необходимо овладеть современной библиографической процедурой, отбросив в сторону старый опыт. В числе подобного рода требований — указание инициалов автора, необходимость чего знает каждый, кто заглядывал в библиотечный каталог с фамилиями типа Мюллер, Джоунз, Шмидт и т. п., отличающихся от своих авторов-однофамильцев лишь инициалами. Более того, в лю-

бом солидном пособии для удобства его использования читателями не следует давать ссылки на источники только в указателях (как, например, в разделе Каугилла) или вместе со списком сокращений.

Преимущества современных библиографических процедур очевидны. Хотя ссылки в тексте и кратки, тем не менее они обеспечивают важную информацию в тех случаях, где она необходима. Например, такая ссылка в тексте на Мейда (1975: 204—219) с этой точки зрения намного информативнее, чем ссылка: W.Meid (Fachtagung V, 204 ff), поскольку здесь сообщается как дата публикации, так и номера страниц. Старые процедуры во многом затрудняли пользование ссылками. Так, в рецензируемой книге имеются ссылки на Боргстрёма (с. 118—119) и на Уайэтта (с. 122), но нигде нет указания на то, к каким работам относятся эти страницы. Система ссылок XIX в. хорошо «работала» в условиях, когда количество публикаций было сравнительно невелико и каждый при необходимости мог с ними ознакомиться. Сегодня, когда ежегодно в индоевропеистике появляется почти 10 тысяч названий, контроль за ними может быть обеспечен только на основе тщательно [подготовленных библиографий].

Соблюдение надлежащих правил цитирования представляет собой довольно скучное занятие, однако каким бы хлопотным или дорогостоящим это ни являлось, система библиографического оформления работы, подобная той, что использована в книге Гамкрелидзе и Иванова (1, с. 973—1113), в наше время должна стать обязательной.

9. Несмотря на наши комментарии, которые иногда могут показаться критическими, мы приветствуем публикацию рецензируемого тома и ожидаем выпуска последующих томов. Публикация Каугилла — Майрхофера особенно ценна в силу того, что в ней полностью учитывается специальная лингвистическая литература, выдержанная в младограмматической традиции. Список литературы, охватывающий более широкий спектр лингвистических направлений, можно найти в книге Гамкрелидзе и Иванова [1].

Факт появления этих двух публикаций весьма огорчен, поскольку они позволяют пополнить сведения, содержащиеся в «Grundriss'e» Бругманна [20] и в словарях Вальде-Покорного [21] и Покорного [22], равно как и в пособиях Хирта [23] и Мейе [11]. Каждая из этих новых книг имеет свои сильные стороны. Работа Гамкрелидзе — Иванова, как следует из ее подзаголовка, представляет собой анализ языка в тесной связи с обществом его носителей. Как признает

Майрхофер, это в высшей степени новаторский подход. Грамматика же Каугилла—Майрхофера является еще одним важным вкладом германоязычных стран в индоевропеистику: хотя в этой книге сохраняется многое из прежних взглядов (например, в вопросе системы гласных и шумных согласных), в ней в то же время, к счастью, признается неоспоримость ларингальной теории.

Эти две публикации представляют весьма желательными и с более широкой точки зрения. Направление гуманитарных исследований в течение почти всего нашего столетия характеризовалось усилением специализации и внимания к теории. Между тем такие важные для понимания цивилизации проблемы, как, например, беспрецедентное распространение индоевропейских языков, игнорировались. Очевидно, что специализация необходима для того, чтобы пополнить представленные в имеющихся руководствах обобщения надежными данными. А внимание к теории существенно для создания научной системы, интегрирующей получаемые данные и помогающей понять Вселенную и ее обитателей. И тем не менее специализация, как и теория, должны способствовать лучшему пониманию в данном случае в области индоевропейского языкознания — и более глубокому исследованию языков, происходящих от общего праиндоевропейского предка, а также культур, говорящих на этих языках народов.

Как указывает Мейе в работе, цитируемой Каугиллом, пособие по языку должно рассматривать этот язык в том виде, в каком он используется обществом его носителей. В наших дни, благодаря археологическим исследованиям, имеется достаточное количество данных, характеризующих сообщество носителей индоевропейского праязыка. К сожалению, большинство археологов в своем подходе к языку следует неверному тезису, согласно которому при исследовании необходимо направить основное внимание на «идеального» члена абсолютно «омогенного» общества, а это представляет собой ситуацию, далекую от реальности. Именно в таком ключе Питтотт [24] исследует одно из наиболее важных технологических открытий, связанных с распространением индоевропейского общества, совершенно не учитывая при этом лингвистических данные, представленных в работе Шпехта [13] и других. К счастью, более молодые археологи в своих наблюдениях принимают во внимание и реальных членов человеческого сообщества, оставивших по зле себя предметы жизнедеятельности, доступные археологическому изучению. В меньшей мере подобный подход должен быть при-

сущ и языковедам-индоевропейцам.

Индоевропейское языкознание как междисциплинарная наука, связанная с изучением одного из магистральных путей эволюции человеческой культуры за период по крайней мере 5000 лет, должно сконцентрировать свое основное внимание на сфере человеческой деятельности. Обсуждаемые здесь руководством знаменуют движение в сторону возросшего интереса к подобного рода исследованиям. Можно ожидать дальнейших шагов на пути преобразования индоевропеистики в центральную область научных размышлений, имеющих целью достичь понимания сущности той грандиозной эволюции человечества, которую оно проделало на пути от многочисленных разрозненных племен к обществу, в значительной степени основанному на языках, происходящих от языка одного из этих племен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Gamkrelidze T. V., Иванов Вяч. Ве.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. 1—2. Тбилиси, 1984.
2. *Collinder B.* Comparative grammar of the Uralic languages. Stockholm, 1960.
3. *Gamkrelidze T. V., Macavariani G. I.* Sonantensystem und Ablaut in den Kartwelsprachen. Tübingen, 1982.
4. *Puhvel J.* Hittite etymological dictionary. I—II. B.; N. Y., 1984.
5. *Burrow T.* The Proto-Indoaryans // JBAS. 1973. P. 136.
6. *Gimbutas M.* Proto-Indo-European culture: The Kurgan culture during the fifth, fourth, and third millennia B.C. // Indo-European and Indo-Europeans/ Ed. by Cardona G. et al. Philadelphia, 1970.
7. *Rix H.* Historische Grammatik der Griechischen. Laut- und Formenlehre. Darmstadt, 1976.
8. *Lehmann W. P.* Proto-Indo-European phonology. Austin, 1952.
9. *Seehold E.* Das System der indogermanischen Halbvokale. Heidelberg, 1972.
10. *Meillet A.* The comparative method in historical linguistics / Transl. by Ford G. B. P., 1967.
11. *Meillet A.* Introduction a l'etude comparative des langues indo-europeennes. 8-me ed. P., 1937.
12. The transformation of European and Anatolian culture, 4500—2500 B.C. and its legacy / Ed. by Gimbutas M. // JIES. 1980—1981. VIII. 1—2, 3—4; IX. 1—2.
13. *Specht F.* Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1944 (2-e изд.— 1947).
14. *Lehmann W. P.* On early stages of the Indo-European nominal inflection // Language. 1958. 34.

15. *Fairbanks G. H.* Case inflection in Indo-European // JIES. 1977. 5.
16. *Meid W.* Raumlische und zeitliche Gliederung des Indogermanischen // Flexion und Wortbildung / Hrsg. von Rix H. Wiesbaden, 1975.
17. *Neu E.* Zur Rekonstruktion des indogermanischen Verbalystems // Studies in Greek, Italic, and Indo-European linguistics offered to Leonard R. Palmer / Ed. by Mopurgo A. 1976.
18. *Lindeman F. U.* La loi do Sievers et le debut du mot en indo-europeen // NTS. 1965. 20.
19. *Edgren It.* Palatal and labial vowels (t, t', u, ü) and their corresponding semivowels (<v, v) // JOAS. 1885. 11.
20. *Brugmann K.* Vergleichende Laut-, Stammbildungs- und Flexionslehre der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1897—1916.
21. *Walde A., Pokorny J.* Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. B., 1927—1932.
22. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Bern, 1959.
23. *Hirt H.* Indogermanische Grammatik. I—VII. Heidelberg, 1921—1937.
24. *Piggott S.* The earliest wheeled transport. L., 1983.

Леман У. Л.

Перевел с английского Чириква В. А

Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции / Отв. ред. Гаджиева Н. З. М.: Наука, 1988. 238 с.

Серия публикаций Института языкознания АН СССР под общим заголовком «Сравнительно-историческое изучение языков разных семей», посвященная теоретическому обобщению на современном уровне результатов исследований в области лингвистической компаративистики, была начата с обзора итогов сравнительно-исторических разработок по отдельным языковым семьям и языковым группам в мировой науке. Статьи двух вышедших в 1981—1982 гг. (и, к сожалению, в свое время не прорецензированных на страницах «Вопросов языкознания») томов [1, 2] в совокупности охватили материал практически всех сколь-нибудь удовлетворительно изученных компаративистами генетических общностей, а в качестве авторов редколлегия в составе Н. З. Гаджиевой (ответственный редактор), В. К. Журавлева и В. П. Нерознака сумела привлечь наиболее авторитетных отечественных специалистов в соответствующих областях. Первый из томов с подзаголовком «Современное состояние и проблемы» составили обзоры по индоевропейским языкам (В. П. Нерознак), славянским языкам (В. К. Журавлев), балтийским языкам (В. П. Махлюс), иранским языкам (В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман), индоарийским языкам (Т. Я. Елизаренкова), армянскому языку (Э. Г. Туманян), тюркским языкам (Н. З. Гаджиева, Л. С. Левитская, Э. Р. Тенишев), монгольским языкам (Г. Д. Санжеев), финноугорским языкам (К. Е. Майтинская), картвельским языкам (Г. А. Климов), абхазо-адыгским языкам (М. А. Кума-

хов) и нахско-дагестанским языкам (М. Е. Алексеев). Во втором, имеющем подзаголовок «Задачи и перспективы» (различие подзаголовков чисто условно: и оценка современного состояния дисциплин, и вскрытие потенциалов их дальнейшего развития входили в задачи авторов обеих книг), были помещены очерки по таким языкам, как санскрит (Т. Я. Елизаренкова), азиатские (Вяч. Вс. Иванов), греческий (О. С. Широков), кельтские (В. П. Калыгин, А. А. Королев), германские (Н. С. Чемоданов), романские (Б. П. Нарумов), албанский (В. П. Нерознак), тунгусо-маньчжурские (И. В. Кормушин), сино-тибетские и австро-тайские (И. И. Пейрос), дравидийские (М. С. Андронов), австронезийские (Ю. Х. Сирк), оксанийские (В. И. Беликов), афразийские (В. Я. Порхомовский), чадские (В. Я. Порхомовский), банту (Н. В. Охотина).

В таком составе первые два тома серии позволяют оценить уровень, достигнутый к началу 80-х годов сравнительно-историческими исследованиями по различным индоевропейским и неиндоевропейским языкам, войти в курс основной исследовательской проблематики. Многие из очерков служат в дополнение к этому чрезвычайно полными библиографическими указателями (в других случаях, напротив, отсутствуют серьезные лакуны — ср., например, отсутствие упоминания книги Н. Поппе [3] в монгольском разделе), содержат новые разработки по генетической классификации языков (В. П. Нерознак, И. И. Пейрос) и по отдельным вопросам сравни-

тельной грамматики (М. Е. Алексеев, Вяч. Вс. Иванов, М. С. Андронов), создают историко-научные концепции «смысленного парадигма» в развитии рассматриваемых компаративистических дисциплин (В. К. Журавлев и др.).

Рецензируемая книга является третьей в этой серии публикаций и имеет своей задачей «обобщить имеющийся в современном языкознании опыт разработок в области основной процедуры компаративистики — реконструкции, показать теорию реконструкции на материале различных языковых семей мира» (с. 25). С такой оценкой значимости реконструкции в компаративистике можно полностью согласиться, особенно если иметь в виду двуединство двух процедур реконструкции — с одной стороны, асцендентной реконструкции праязыков, с другой стороны, дисцендентной реконструкции лингвистической истории языков-потомков. Обоим этим аспектам в книге уделено достаточное внимание.

Особую ценность новому изданию придает присущая большинству статей ориентация на освещенные дискуссионные проблемы в теории (а отчасти и в практике) лингвистической реконструкции, с изложением аргументов в пользу определенного подхода к решению этих проблем. Неоднократно и в различных ракурсах обсуждаются фундаментальные вопросы о когнитивном статусе праязыка и реальности праязыковых реконструкций (с. 27–33, 39, 42–43, 92–93, 157–158), о множественности сравнительно-исторических решений (с. 17–20, 89–90, 200), о соотношении результатов внешней и внутренней реконструкции (с. 5, 9–11, 20, 26, 68–90), о значимости типологической верификации (с. 11–15, 20, 145–157, 159–160), о древности кентум-сатемовой изоглоссы в индоевропейском (с. 18–19, 61–67, 77, 94) и др. Можно отметить, что внутри авторского коллектива, объединившего многих высокоавторитетных специалистов по лингвистической компаративистике, нет полного единства во взглядах и оценках, в том числе и в отношении названных выше вопросов. Так, тезису В. К. Журавлева о приоритете внутренней реконструкции относительно внешней («при наличии расхождений между выводами внешней и внутренней реконструкции следует отдавать предпочтение относительной хронологии, основанной на данных внутренней, даже если данные внешней реконструкции подкреплены абсолютной хронологией» — с. 90) фактически противопоставляется более взвешенный подход В. П. Нерознака (с. 26) и других авторов, с полным основанием исходящих из того, что адекватным может быть только такое реконструктивное ре-

шение (будь то в сфере относительной хронологии или в какой-либо иной сфере), которое не противоречит данным ни внутриязыкового, ни межязыкового сравнения. По-разному оценивают, по-видимому, генетическую значимость типологических сходств между алтайскими языками А. Рона-Таш (с. 112) и В. А. Виноградов (с. 162). Такая ситуация вполне естественна и несомненно допустима в рамках коллективной монографии, цельность которой обеспечивается не стерильной унитарностью концепции, а полнотой и многоаспектностью охвата исследуемой темы.

Дух направленной волны, а отчасти и внутренней, полемики, который характерен для рецензируемой книги, предоставляет и рецензенту основания сосредоточиться не на пересказе ее богатого концептуального и фактографического содержания, а на обсуждении отдельных спорных, стимулирующих дальнейшую полемику, положений.

Введение (авторы Н. З. Гаджиева, В. К. Журавлев, М. А. Кумахов, В. П. Нерознак) предлагает общий обзор современных проблем теории реконструкции, обосновывая выбор тем для более детального рассмотрения в последующих разделах. Интересен выделяемый перечень фундаментальных особенностей современной компаративистики: системный принцип в реконструкции, смещение интереса с внешней реконструкции на внутреннюю, увеличение удельного веса типологии в сравнительно-исторических исследованиях, переход от статической реконструкции к динамической (т. е. такой, которая учитывает развитие реконструируемой системы праязыка во времени и пространстве), расширение хронологических рамок реконструкции, множественность возможных решений конкретных задач реконструкции. Впрочем, с включением последнего параметра согласиться трудно. Он иллюстрируется рядом примеров сосуществования в современной индоевропеистике взаимоисключающих точек зрения по отдельным вопросам. Но такой разницей — типичная «болезнь роста», появившаяся отнюдь не в наши дни и не в одной только компаративистике. Нормальный путь научного прогресса — устранение такого разноречия либо путем отказа от оказавшихся несостоятельными версий, либо за счет использования таких объяснений, которые снимают взаимоисключение. Представляется, что именно такой подход к «множественности решений» согласуется с вводимым В. П. Нерознаком разграничением праязыка как существовавшей в прошлом лингвистической реальности и праязыковой модели как развивающейся модели знания (с. 42), с фор-

мулировкой И. В. Кормушина, согласно которой праязык — «абсолютная реальность как онтологическая данность, тогда как его гносеологическая реальность относительна» (с. 92). С этой точки зрения выделение «множественности решений» в одном ряду с важнейшими методологическими принципами компаративистики не представляется приемлемым. Заметим, что на с. 200 достаточно миролюбивое отношение к неединственности решений — в данном случае этимологических — выражает и О. Н. Трубачев. Это можно понять, поскольку в обширной этимологической литературе для многих слов можно отыскать по три, по пять, по десять различных объяснений (каждое из которых может быть в чем-то привлекательным). И все же это не должно было бы затемнять существо вопроса, а состоит оно в том, что у каждого слова этимология ровно одна и тождественна реальной истории слова. Данное обстоятельство очень вредит тем этимологическим решениям, которым при их несомненной красоте и привлекательности в качестве отправных точек для широких культурно-исторических обобщений недостает только правильности...

Очень важной является содержащаяся во введении (с. 21–22) критика унификационного подхода к праязыковой реконструкции, предполагающего, что праязык был устроен неким особо регулярным и логичным образом — например, использовал единую фонотактическую модель корня или основы. Конкретным объектом этой справедливой критики оказывается концепция диахронической первичности модели CV как единственной модели западнокавказского корня. Однако сходные возражения можно высказать и в адрес схемы Э. Бенвениста в индоевропестике или представлений о том, что в уральском праязыке корни были построены по единым моделям (CVC/CV (у знаменательных слов) и (CV (у служебных слов и местоимений).

В разделе «Праязык: реконструкт или реальность?» (решение этой дилеммы упомянулось выше) В. П. Нерознак рассматривает и оценивает разные теории праязыка, в большей ИЛИ меньшей мере противостоящие схеме А. Шлейхера. Далее автор останавливается на проблеме достаточности оснований у праязыковых реконструкций применительно к гипотезам родства на уровне макросемей. Несомненно справедливое положение о том, что «проблемы глоттогенеза, происхождения человеческой речи, относятся к антропологическому циклу (социоантропология и этноантропология) и не могут быть разрешены чисто лингвистическими средствами» (с. 33), В. П. Нерознак использует, для обоснования принципиального

скепсиса в отношении ностратики и других теорий, связанных с изучением праязыковых состояний большой хронологической глубины (с. 36; ср. также с. 16). Но обоснование содержит две существенные неточности. Во-первых, ностратика приравнивается к гипотезе А. Тромботти и его современных последователей о единой глобальной языковой семье (рецензенту уже приходилось комментировать это, к сожалению, довольно распространенное недоразумение, см. [4, с. 76–77]). Во-вторых, гипотеза о глобальной семье, о происхождении всех языков мира от общего языка-предка — гипотеза моногенеза (которая в принципе подлежит доказательству или опровержению чисто лингвистическими средствами, пусть даже и в очень отдаленном будущем) — исподволь объединяется автором с глоттогенетическими построениями и тем самым выводится за рамки лингвистики.

Такая же подмена объекта критики происходит и тогда, когда В. П. Нерознак с полным на то основанием (и с соблюдением академической сдержанности) квалифицирует разыскания Н. Д. Андреева в области бореального праязыка [5] как «фантастические» и «анекдотические», но в то же время фактически ссылается на них как на свидетельство некорректности реконструкций большой хронологической глубины вообще (с. 36–37).

Помимо этого, свою критическую оценку ностратики, а также сино-кавказской гипотезы С. А. Старостина автор раздела подкрепляет ссылками на «антиностратические» выступления Б. А. Серебряникова, П. Хайду, Г. Дёрффера, А. М. Шербака, М. С. Андреева, Г. А. Климова. Хотелось бы, однако, отметить, что эти выступления не явились последним и решающим словом в дискуссии, см. [4, 6, 7].

Завершается статья В. П. Нерознака полемическим разбором балтоцентрической модели индоевропейской языковой системы по В. Шмиду [8].

В разделе «Реконструкция праязыка: изоглоссе общиндоевропейского диалектного континуума» О. С. Широков излагает лингвистические обоснования для выделения трех ареальных зон этого континуума — юго-восточной (греко-армяно-арийской), юго-западной (итало-кельтской) и северной (германо-балто-славяно-албанской), а также указывает вероятные историко-археологические корреляты каждой из этих зон. С юго-восточной диалектной индоевропейской общностью предположительно идентифицируется серия поздненеолитических раннехалколитических культур, протянувшаяся в IV тыс. до н. э. от нижнедунайского левобережья и Добруджи через приднепровские, приднепровские и крымские степи (нижнеми-

хайловская и кемпиобская культуры) в Приазовье (культуры мариупольского круга) и далее за Дон до северо-западного Кавказа (новослободненская культура). Юго-западная общность связывается с продвижением в III тыс. до н. э. вверх по Дунаю и его правым притокам пастушеско-земледельческих культур, для которых исходной областью была Среднедунайская низменность (тисапольгарская, бодрогкерестурская и печельская культуры в Венгрии, банатская и мондзейская в Австрии, костолачская и вучедольская в Югославии, альтгеймская в Южной Баварии). Для северной диалектной общности предполагается существование в IV — начале III тыс. до н. э. на территории Северогерманской и Восточной Польской низменностей — в исходной области формирования и экспансии поздне-неолитических и халколитических культур воронковидных кубков и шаровидных амфор. Вне этой схемы ареальных зон остаются хетто-лувийские языки, отделение которых предшествовало данному трехчленному делению, и тохарская (или, как у автора, «псевдотохарская» — агнеокучанская) группа.

Возникает, однако, — как и всегда в подобных случаях — вопрос, достаточны ли предоставляемые лексикой данные о культуре праязыковых общностей для столь конкретной археологической «привязки». В частности, приведенный на с. 53 перечень греко-арийских лексических соответствий, который призван характеризовать экономический, социальный уклад и религиозные представления индоевропейцев юго-восточной диалектной зоны, почти целиком состоит из общеиндоевропейских слов, известных и за пределами этой зоны (названия крупного рогатого скота, коня, оси, ярма, меда, термины родства и т. д.). Такой перечень, возможно, пригоден (хотя и не без оговорок) для того, чтобы не признавать индоевропейскими поздне-неолитические культуры юга Балкан (с ведущей ролью мотыжного земледелия, а не скотоводства, и с почитанием женских божеств-прародительниц), но явно не для того, чтобы отграничить предков греко-армяно-ариев от прочих индоевропейцев.

О. С. Широков безоговорочно относит (вслед за Ю. В. Откупщиковым) язык карийцев к греко-фракийской языковой группе (с. 53; см. также [2, с. 56]); это утверждение представляется по меньшей мере неосторожным в свете результатов В. В. Шеворошкина (в частности, его доклада на прошедшей в мае — июне 1989 г. в Москве конференции «Лингвистическая реконструкция») и древнейшая история (Востока) и мнения многих других исследователей, признающих хетто-лувийский характер карийского языка, см. [1, с. 11].

Автор раздела «Внутренняя реконструкция» В. К. Журавлев в целом, как уже отмечалось выше, склонен вслед за Е. Куриловичем [9] противопоставлять внутреннюю реконструкцию как «чисто лингвистическую» внешней реконструкции и другим методам традиционной компаративистики. Если на практике такой подход чреват, очевидно, издержками и потерей информации, то в монографии теоретического характера он, во всяком случае, позволяет четко обрисовать принципы и возможности внутренней реконструкции. На многочисленных примерах из славянской и индоевропейской исторической фонетики эксплицируются в статье понятия фонетического закона, архетипа, относительной хронологии, конвергенции и дивергенции, нейтрализации, системности в реконструкции. Среди этих экскурсов задерживает на себе внимание идея о связи и-е. ^h-mobile с предполагаемым автором наличием у *s аллофона

*^h-, однако она нуждалась бы в более тщательном обосновании (логика системной реконструкции осталась в данном случае для меня неясной).

Ряд важных теоретических положений В. К. Журавлев формулирует, как кажется, излишне категорически. Так, полемически абсолютизируется роль имманентного фактора в фонологическом развитии: «Фонологическая система языка, как учили основоположники фонологии, уникальна. Только этим и можно объяснить специфику процессов фонологизации в родственных языках» (с. 80). Получается, что ход дальнейшего дивергентного развития жестко «запрограммирован» теми различиями, которые уже имеются в фонологических системах родственных языков. Но тогда оказывается непонятным, как могли вообще появиться эти различия, как единая (и уникальная) фонологическая система общего языка-предка вместо того, чтобы развиваться предопределенным ее спецификой образом, смогла расщепиться на несколько нетождественных систем. Здесь налицо ограниченность имманентного подхода; по справедливому замечанию А. Рона-Таша в другом разделе книги, «необходимо помнить, что объективная действительность может вторгаться в систему языка и изменять ее как косвенно (через сознание), так и непосредственно. А если это так, то при реконструкции языковых изменений отвлечение от внешнего мира, от экстралингвистических факторов невозможно» (с. 108).

Вряд ли столь абсолютна и непреложна связь конвергенции и дивергенции, как это формулирует В. К. Журавлев (с. 78; кстати, в статье Е. Д. Поливанова, на которую дается ссылка [10], фонетиче-

ские конвергенции рассматриваются вне такой связи). Если для фонологизации результатов фонетической дивергенции обычно действительно необходим какой-либо конвергентный (или редуктивный) процесс, то конвергентное слияние фонем нередко выступает как изолированный факт историко-фонетического развития.

Спорным представляется и тезис о том, что «чем больше объем эмпирического материала и точнее методы хронологизации, тем больше размах „точной“ датировки праязыковых процессов» (с. 89). Как и у В. П. Нерознака (см. выше), в данном случае фигурирует ссылка на Н. Д. Андреева, перенесшего праиндоевропейскую эпоху в XV—X тыс. до н. э., ссылка некорректная, поскольку «раннеиндоевропейский праязык» этого автора [5] ни малейшего отношения к кругу идей, понятий и результатов индоевропеистики не имеет.

Можно пожалеть и о том, что при обосуждении В. К. Журавлевым вопросов относительной хронологии оставляется без внимания такой важнейший в компаративистической практике материал, как данные заимствований из реконструируемого языка, которые в удачных случаях могут служить решающим аргументом при определении последовательности историко-фонетических процессов (ср., например, значение заимствований в финно-угорские языки и славянской топонимии Греции для славистики).

И. В. Кормушин в разделе «Праязык: ближняя и дальняя реконструкция» отмечает, преимущественно на тюркском материале, такой подход, при котором ближняя реконструкция праязыкового состояния опирается главным образом на внешнее сравнение, тогда как дальняя реконструкция праязыка (или реконструкция протоязыка) проводится преимущественно внутренне-реконструктивными приемами и ориентирована на поиск следов качественного преобразования грамматических категорий. Презумпцией этого подхода фактически является разграничение «новой» эпохи распада и дивергентного развития праязыковых общностей и «древней» эпохи становления праязыков. Более того, фиксируется хронологический рубеж этих эпох: «Существование праязыков относят к эпохе производящих обществ на стадии раннеметаллических культур (скажем, индоевропейского ПЯ — в пределах VII—V тысячелетий до н. э. в разных гипотезах..., уральского ПЯ — не позднее IV тысячелетия до н. э....)» (с. 93). Довольно очевидно, что соотнесение праязыков с определенной стадией эволюции человеческих обществ крайне условно (ср. тюркский праязык — I тыс. н. э., монгольский праязык — начало II тыс. н. э., афра-

зийский праязык — не позднее VIII—VII тыс. до н. э.). Но не меньшей условностью выглядит и сам принцип поиска именно в праязыке (а не в современном его потомке, или в его предке, существовавшем еще несколько тысячелетий назад) прямых признаков качественного преобразования грамматических категорий. В частности, И. В. Кормушин, обращаясь к дальней реконструкции тюркского протоязыка, оспаривает концепцию происхождения прилагательных от существительных и акцентирует внимание на глубинных морфологических связях прилагательного с глаголом. Но ведь имеется и третья, наиболее простая и естественная, возможность: как и большинство языков мира, тюркский праязык, а равным образом и все его протосостояния на протяжении многих тысячелетий и даже десятков тысячелетий, располагал разрядом слов, употреблявшихся в функции примененного атрибута, и этот разряд не возникал и не исчезал, а лишь по мере необходимости пополнялся и за счет атрибутизации существительных, и за счет адъективизации причастий.

Следует подчеркнуть, что в этом разделе И. В. Кормушин выступает в качестве представителя взглядов очень значительного, активно развиваемого не только в тюркологии, но также в индоевропеистике, уралистике и других областях сравнительно-исторического языкознания направления исследований, которое ориентировано на углубление праязыковой реконструкции за те разумные пределы, которые задаются данными внешнего сравнения родственных языков. Скептическое отношение рецензента к работам этого плана обусловлено принципиальной непроверяемостью их результатов, и наличие ряда остроумных и ярких гипотез не меняет сути дела.

Выше уже цитировалось *credo* А. Рона-Таша в разделе «Реконструкция и экстралингвистические данные», где подчеркивается зависимость реконструктивных решений в первую очередь от исторических данных. Одно из положений автора дает повод обратить внимание и на зависимость обратного характера. Касаясь известного вопроса об исходном качестве фонемы, к которой восходит з современных тюркских языков, А. Рона-Таш считает этот вопрос второстепенным. «Можно представить ее как /*ʃ*/, /*ʒ*/, главное — она отличалась от другой, „нормальной“ фонемы /*r*/». Спор должен быть разрешен в пользу /*ʒ*/, но для истории тюркских языков существенна не фонетическая сторона дела, а то, что в группе Б (булгарской группе.— Х. Е.) была снята прежняя фонологическая оппозиция» (с. 110). В действительности избранное решение в пользу /*ʒ*/ оказывается

далеко не фонетической условностью: поскольку в самодийских и монгольских языках присутствуют тюркизмы с г на месте тюрк. г, данное решение заставляет А. Рона-Таша в других его работах считать эти тюркизмы заимствованными из языка булгарского типа, а следовательно, придерживаться версии о былом широком распространении такого языка в Центральной Азии и Южной Сибири (хотя реально булгарские языки известны только в Европе). Напротив, противоположное решение в пользу *g или *g₂ (именно оно представляется мне адекватным, см. {4, с. 70—71}) делает данную этно-историческую гипотезу излишней.

Трудно согласиться и с предположением о том, что венгерские названия частей тела тюркского происхождения были заимствованы у тюрков в составе животноводческой лексики, будучи первоначально терминами анатомии животных (с. 108). В частности, нет оснований выводить из сферы человеческой анатомии венг. *kag* «рука (arm)», поскольку и у соответствующих тюркских слов (*qar*, *qarl*, ср. также монг. *yac*) абсолютно доминирует то же значение (см. материал в [11]).

Раздел «История языка, письменности и письменные памятники» (автор Д. Кара), построенный на материале монгольских систем письма, и раздел «Филологические методы в исследовании истории кельтских языков» (автор А. А. Королев) интересны и очень информативны сами по себе, но с теоретической проблематикой праязыковой реконструкции связаны лишь косвенно. Серия историко-фонетических и историко-морфологических примеров, иллюстрирующих качественные различия между реконструируемыми и реально наблюдаемыми состояниями, составляет раздел «Реконструкция по косвенным данным» (автор Б. А. Серебренников).

Т. В. Гамкрелидзе в разделе «Лингвистическая типология и праязыковая реконструкция» подчеркивает значение принципа системности и в то же время предостерегает против крайностей этого принципа, ведущих, в частности, к попыткам заполнения «пустых клеток» в реконструируемой системе при отсутствии на то данных внешнего сравнения. Требования о соответствии праязыковой системы данным синхронной типологии, а реконструируемого процесса порождения систем в языках-потомках — данным диахронной типологии автор обсуждает главным образом в связи с глоттальной теорией, радикально реинтерпретировавшей индоевропейский консонантизм. Существенное место в разделе занимает полемика с исследователями, которые отклоняют глоттальную теорию или прини-

мают ее с серьезными оговорками и модификациями (Х. Хайдер, А. Эрхарт, Г. Б. Джаукян, Дж. Дункель).

В то время как Т. В. Гамкрелидзе возражает против употребления термина «типологическая реконструкция» в отношении исследований, связанных с верификацией возможных вариантов реконструкции на основе эмпирических данных типологии (с. 152), В. А. Виноградов в разделе «Типологическая реконструкция» (который в силу своей преимущественно синхронно-типологической ориентации несколько выпадает из сборника, посвященного теории реконструкции) применяет тот же термин для обозначения принципиально иного направления, ориентированного на изучение отношений преемственности между языковыми типами, ср. [12]. В наиболее глобальном виде данное направление представлено «контенсивной типологией» Г. А. Климова, к идее которой В. А. Виноградов подходит довольно критично, — в частности, оспаривая однонаправленность развития от эргативности к аккумулятивности (с. 176) и демонстрируя трудности с предложенной Г. А. Климовым контенсивно-типологической квалификацией языков банту (с. 177—180).

По мнению автора, некоторые явления современного словообразования, а также фонетики русского языка предвосхищают сдвиг русской морфемике в сторону агглютинации. С этим мнением трудно согласиться не только из-за периферийности этих явлений, но главным образом потому, что чрезвычайно трудно представить себе сдвиг языка от фузионного типа к агглютинативному непосредственно — минуя промежуточную фазу аналитизма. И в данном случае, и при оценке ряда других рассматриваемых в разделе феноменов следует учитывать, что совмещение признаков разных грамматических типов присуще всем языкам мира, а такое совмещение признаков, их конкуренция могут быть стабильной чертой языковой статике, а вовсе не указывать на динамическую тенденцию перехода от одного типа к другому.

«Соотношение приемов сравнительно-исторических и ареальных исследований при реконструкции» — тема раздела, написанного Н. З. Гаджиевой. Здесь подчеркивается (как и у О. С. Широкова) роль ареального фактора в формировании генетических субединств; в частности, важным для тюркологии является положение о бесперспективности реконструкций кыпчакского или огузского праязыков: «кыпчакские и огузские языки образовались не путем распада какого-то единого языка, а путем „отставания“ либо огузских, либо кыпчакских черт в определенных географических зонах»

(с. 182). Интересной, хотя и не бесспорной, представляется мысль о «зонах вибрации», где в условиях контактирования диалектов имеет место непоследовательность в проявлении фонетических законов.

Неточна формулировка Н. З. Гаджиевой, в которой отрицается роль языковых контактов в образовании глубоких сходств между системами прошедших времен в чувашском, татарском, башкирском и некоторых финно-угорских (марийский, пермские) языках (с. 186). Если даже в тюркских языках эти системы представляют собой архаическое наследие, то применительно к финно-угорским языкам тюркское (булгарское) влияние на системы прошедших времен не вызывает сомнений, ср. [13]; Б. А. Серебренников подчеркивал значение тюркско-финно-угорских контактов как фактора сближения и консервации глагольных систем в контактировавших языках [14].

Э. Г. Туманян («Системность трансформации индоевропейских архетипов как критерий их одноплоскостного существования») показывает, что однотипные индоевропейские словообразовательные суффиксы дают однотипные же рефлексы в армянском языке; системность и регулярность трансформаций служит гарантом корректности традиционной индоевропейской реконструкции, проецирующей соответствующие архетипы на одну хронологическую плоскость.

Монографию завершает раздел «Приемы семантической реконструкции» (автор О. Н. Трубачев). Основополагающий тезис автора — «углубленное понимание значения есть... уже тем самым его реконструкция» (с. 198) — фактически отдает приоритет в семантической реконструкции внутренне-реконструктивному подходу, причем в очень субъективном его воплощении (что признает и сам О. С. Трубачев, см. с. 200), поскольку на практике «углубленно понять значение» значит догадаться, за каким именно из множества частных значений, комбинационных связей, аллюзий и ассоциаций определенного слова кроется его первоначальная семантика. Нельзя не отдать должное тем интереснейшим результатам, которые могут быть достигнуты на этом пути, — здесь я имею в виду в первую очередь этимологические исследования В. Н. Топорова. Но не менее очевидны и издержки, которые может нести с собой универсализация данного приема в качестве основы семантической реконструкции; в частности, в статье О. Н. Трубачева серьезные сомнения вызывают реконструкции исходной семантики слов. **peu* «совершать возлияния (божество), поить» и **jbzgojb* «*иждивенец». Рискуя

быть обвиненным в примитивности и консерватизме, я все же отдал бы приоритет в семантической реконструкции традиционному «большинству голосов» внешнего сравнения (с належащим учетом, разумеется, типологии семантического развития и культурно-исторической перспективы).

Суммируя сказанное, можно констатировать, что в значительной части своих разделов рецензируемая книга не столько излагает сложившуюся в лингвистике теорию реконструкции (но она и не призвана служить учебным пособием для начинающих компаративистов — этой цели скорее отвечают «Принципы истории языка» Г. Пауля и «Язык» Л. Блумфилда, которых, кстати, даже не оказалось в списке литературы), сколько адекватно отражает современные тенденции пересмотра и модернизации этой теории. У рецензента уже давно сложилось убеждение, что гипертрафированное использование новых методов и подходов в ущерб более традиционным («младодраматическим») скорее обедняет компаративистику, нежели выводит ее на более высокий уровень; этим и обусловлен подчеркнуто полемический характер многих сделанных в рецензии комментариев.

Хочется надеяться, что в конечном счете они послужат той же цели, что и рецензируемая книга, которая на самом высоком уровне обеспечивает читателя данными для содержательного понимания и универсальных, и альтернативных теоретических принципов лингвистической реконструкции. Остается выразить желание, чтобы издание серии «Сравнительно-историческое изучение языков разных семей» было успешно продолжено.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Современное состояние и проблемы. М., 1981.
2. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Задачи и перспективы. М., 1982.
3. Poppe N. Introduction to Mongolian comparative studies // MSFOu. 1955. 110.
4. Хелимский Е. А. Решение дилеммы пратюркской реконструкции и ностратика // ВЯ. 1986. № 5.
5. Андреев Н. Д. Раннеиндоевропейский праязык. Л., 1986.
6. Дыбо В. А. От редактора // И лич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков: Сравнительный словарь (p — q). М., 1984.
7. Хелимский Е. А. Труды В. М. Илич-Свитыча и развитие ностратических исследований за рубежом // Зарубеж-

- ная историография славяноведения и балканистики. М., 1986.
8. Schmid W. P. Indogermanistische Modelle und osteuropäische Frühgeschichte // Abh. der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 1978. № 1.
9. Курилович Е. О методах внутренней реконструкции // Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965.
10. Поливанов Е. Д. Фонетические конвергенции // ВЯ. 1957. № 3.
11. Дыбо А. В. К истории традиционных

- антропометрических терминов (среднеазиатская мера длины *qari* и др.) // СТ. 1989. № 1.
12. Климов Г. А. К типологической реконструкции // ВЯ. 1980. № 1.
13. Bereczki G. A Volga-Kama-vidék nyelveinek arealis kapcsolatai // Arealis nyelvetzeti tanulmányok. Bp., 1983. 219. 1.
14. Серебrenников Б. А. Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп. М., 1960.

Хелимский Е. А.

Маювский М. М. Удивительный мир слов и значений. Илляции и парадоксы в лексике и семантике. М.: Высшая школа, 1989. 201 с.

Проблемы типологии языковых категорий в последние десятилетия все более выдвигаются на первый план лингвистических исследований. К сожалению, основное внимание в этих исследованиях, как правило, уделяется универсалиям в области фонологии, морфологии, морфологии и синтаксиса. Универсалии же на лексико-семантическом уровне остаются как бы в тени, если не считать весьма робких единичных попыток частных обобщений в этой области [1—5].

Рецензируемая монография М. М. Маювского в известной мере восполняет этот пробел. Основной частью рассматриваемой работы является «Краткий сравнительно-семасиологический словарь индоевропейских языков» (гл. 2, с. 35—195). Ему предпослана небольшая теоретическая глава «Слова, слова, слова...» (с. 5—34), в которой выдвигаются весьма интересные и смелые гипотезы. Так, автор предлагает различать внешнюю и внутреннюю семиотику; внешняя семиотика — это средства языкового осуществления коммуникативного акта между говорящими; внутренняя семиотика описывается следующим образом: «... определенные элементы языка, комбинируясь друг с другом в бесконечных качественно и количественно неодинаковых последовательностях, создают определенный текст „генетической“ информации, который регулирует и прогнозирует возможные и невозможные, обязательные и необязательные пути существования, сосуществования и эволюции отдельных звеньев языкового механизма, накладывают „запреты“ на одни участки языкового пространства! и снимает их с других» (с. 7). Иными словами, «та или иная языковая схема (она может охватывать

как определенные, так и самые различные лексические и семантические единицы) задает алгоритм, т. е. структурное моделирование отдельных участков языкового пространства в пределах того или иного временного отрезка существования языка» (с. 7).

Вместе с тем автор указывает, что эволюция языка на различных этапах его существования имеет неодинаковые качественные и количественные характеристики, что в свою очередь является следствием изменения внутренней семиотики. Он пишет: «...в одни исторические периоды (обычно наиболее ранние, на заре становления человечества) имеются неограниченные языкотворческие возможности, в другие периоды они ограничиваются (на них в той или иной мере накладывается „запрет“) или же сводятся к минимуму. С другой стороны, в более поздние периоды существования языка проявляются наиболее сложные формы взаимодействия языковых элементов... Интересно, что в социальных диалектах нередко повторяются языкотворческие потенции, характерные для наиболее ранних периодов существования языка» (с. 10). И далее: «Нерасчлененность значений, широкое развитие многозначности, при которой в пределах одного слова объединяются значения, не имеющие между собой ничего общего (по крайней мере чисто внешне), характерны именно для ранних стадий развития языка. В более поздние периоды существования языка появляются более „утонченные“ способы образования значений (например, метафоризация), а отдельные слова, значения которых были связаны между собой, настолько отделяются друг от друга, что становятся разными словами, чье род-

ство вскрывается только специальным лингвистическим анализом» (с. 10).

Появляются наиболее сложные формы взаимодействия языковых элементов: контаминации (наслоения форм и значений различных слов друг на друга), комбинационные преобразования, количественные и качественные изменения связей как внутри слова, так и между словами.

В этом отношении интересно указание автора на то, что в первобытном обществе различные действия и предметы, относящиеся к одной и той же производственной операции или ритуальному действию, нередко обозначались одним и тем же корнем, причем соответствующие слова нельзя признать омонимами [6]. Автор приводит следующий любопытный материал в подтверждение этого тезиса.

1. Литов. *dobiti* «бить», др.-англ. *to dub* «бить», кельт. *(s)tebio* «я смеюсь», литов. *stebiti* «удивляться, быть заколдованным», *stebeklysi* «чудо», русск. *доболый* «сильный, смелый», *дебелый* «полный, толстый», гот. *stibna* «голос», кельт. *teb* «дотронуться, пробовать», кельт. *tab* «бросать», *tepo* «жесть», русск. добрый, кельт. *dubron* «вода», *dubos* «темный», англ. *stab* «вонзять нож», англ. диал. *dobby* «привидение», *dobby* «фея», *dyb* «вкусать, получать удовольствие», *dub* «небольшая лужа», *dubbin(g)* «жир», *toб* «бросать», англ. *stop* «останавливаться».

2. Др.-англ. *lascan* «взять, схватить», *lac* «жертва, дар», *wilanc* «богатый, великодушный», *wilencan* «украшать», но также: *Iseccan* «вердить» (речь идет о жертвоприношении, которое может как спасти, так и погубить), греч. Хью «говорить», др.-англ. *Isece* «врач», лат. *ligare* «связывать»; др.-англ. *Ilcan* «двигаться, прыгать», *Ilc* «игра, борьба»; *lieg* «огонь», *log* «вода», *logian* «заготавливать; класть», нем диал. *Lehe* «серп», др.-сев. *log* «место», нем. *locken* «манить» (с. 33).

Автор принимает во внимание мифопоэтические традиции индоевропейцев. На большом фактическом материале показано, что в основе многих понятий («сильный»; «клятва»; «повозка»; «запах»; «забор, дом, деревня»; «темнота»; «холод»; «работа»; «делать»; «кровь»; «гореть»; «место»; «собака»; «молодой»; «надеяться»; «время»; «пища»; «мир»; «смотреть»; «дерево»; «купить — продать»; «мокрый»; «чистить, украшать»; «шерсть, волосы»; «висть»; «толпа, множество»; «искусство»; «расти»; «число, считать»; «инструмент»; «жир»; «лежать» и др.) лежат понятия «бить, резать» и «гнуть». Эти понятия М. М. Маковский считает древнейшими — связанными с отправлением языческих культов [7, 8]. Он пишет: «Жизнь человека в древности теснейшим образом переплетена с отправлением языческих культов... Можно полагать, что

именно в связи с тем, что основу языческого культа составляло движение (в частности, сгибание ног и рук), а также разрывание, рассечение (жрецы рвали на себе волосы, жертву закалывали и часто разрезали на куски, вводившие в экстаз участники культового действия царапали себе лицо и наносили удары друг другу), основными понятиями, которые впоследствии легли в основу огромного числа индоевропейских слов (как конкретных, так и абстрактных), были „гнуть" и „резать" [с. 23—24].

В своих более ранних работах М. М. Маковский на большом фактическом материале показал неправомочность тезиса о произвольности связи означаемого и означающего. По его мнению, означаемое и означаемое являются взаимодополняющими (комплементарными) языковыми средами. В соответствии с этим в рецензируемой монографии автор дает следующее определение слова: «Слово — это диалектическое единство двух различно структурированных комбинационных сред (на уровне фонетики и на уровне семантики), что в свою очередь свидетельствует о неразрывной связи его формы и значения. При этом, хотя общая схема слов (соединение фоно-морфологического комплекса со значением) является универсальной, каждое отдельное слово того или иного языка представляет собой уникальное образование, организованное на основе присущих только ему комбинаторных схем и обладающее в связи с этим уникальными качественными и количественными свойствами» (с. 9).

Составленный автором «Краткий сравнительно-семасиологический словарь индоевропейских языков» является первым опубликованным в специальной литературе словарем подобного рода и принципиально отличается по своему содержанию, охвату фактического материала и способам его рассмотрения от всех известных до сих пор немногочисленных сравнительно-семасиологических и ономазиологических словарей и.-е. языков. Так, в словаре К. Д. Бака [9] не используется ряд исключительно важных для сравнения индоевропейских языков (осетинский, армянский, тохарский, хеттский и др.), этимологии отдельных слов выдержаны в традиционном плане (в ряде случаев этимологии вообще отсутствуют). В словаре М. М. Маковского на огромном фактическом материале, почерпнутом практически из всех и.-е. языков, под понятийными рубриками, расположенными в порядке русского алфавита («Бедный», «Богатый», «Боль, болезнь», «Большой», «Борода», «Бояться», «Брать», «Вода», «Жертва», «Зверь» и др.), систематизируются основные линии эволюции слов, выражающих соответствующие по-

нятия в индоевропейских языках. Автор отмечает, что отбор рубрик в словаре диктовался теми семантическими переходами, которые казались ему наиболее значительными. Поскольку многие из рассматриваемых автором слов не имеют в литературе удовлетворительной этимологии, при учете имеющихся специальных этимологических исследований отдельных слов на протяжении всей книги приводятся собственные этимологические решения (в книге дается множественная этимология), при этом можно отметить ряд интересных находок. Значения, рассматриваемые в одной рубрике, нередко связываются со значениями соответствующих слов, рассматриваемыми в других рубриках. Автор не ограничивается обычно рассмотрением только одного значения слова и приводит целые этимологические гнезда слов, соотносимые с данным корнем, если они имеются в языке. Ср., например, следующие новые этимологии автора и семантические переходы: «творить, делать» > «колдовать» > * «верх, верхний» (русс. *верх*, но *совершать*, нем. *Werk*, англ. *work*; греч. *ἔργον* < «работа», но хет. *parkus* «высокий» и др., с. 48—49); «схватить» > «получить удовольствие, наслаждаться, съесть» > «война» (речь идет о способах добычи пищи первобытным человеком и потреблением этой пищи): греч. *ρῦοις* «люма, разрываю», литов. *rdgas* «рог», русск. *о-ружие* (**зоик-*) литов. *ragduti* «отведать что-л.», греч. *ῥ-ῑσ* «танцую, прыгаю», -но нем. *Krieg* «война», *kriegen* «схватить» (с. 57); «книга» <C «колдовство» <C «гнуть» (с. 109—111); «дерево — старый» (ср.: русск. *дерево*, но *древний* — с. 86); «жертвенное животное» > «свежий» > «гореть» [русс. *свежий*, гот. *weihis* «святой», лат. *vic-tima* «жертвенное животное», лат. *vincio* «связываю» (*) < *eg-* «гнуть»; англ. *fresh* «свежий» < **reg-* > **resg-* «гореть», т. е. «очищенный огнем» (с. 171—172)]; «новый» < «близкий» < «гнуть» (ср. англ. *new*, но и. е. **sneu-* «тнуть») и др. (с. 137). Ср. также интересное толкование значения некоторых слов в рецензируемой книге: др.-англ. *hlaf-dige* «служанка». Элемент *hlaf* означает не «хлеб», как обычно утверждается, а «женщина» (ср. глоссу Mt XIX, 6: *wife-hlafe* : лат. *uxore*) — лат. *laevus* «левый», нем. *schlaff* «слабый». Элемент *dige* в этом слове соотносится автором с гот. *deigan* «мять, производить физическую работу». Интересна приводимая в книге этимология русск. *звезда*, которая автор соотносит с русск. *висеть*, *вешать* и интерпретирует как «висящая в небе» [корень] **kes-* «резать» > **k'es-* >

> *ues-* (с. 100)]. Учитывая, что в древности звезды были объектом поклонения, автор сравнивает русск. *звезда* с осет. *kusun* «работать, поклоняться», др.-англ. *hus(e)l* «жертвоприношение», гот. *huzd* «драгоценность». Привлекает внимание также этимология русск. *подлинный* < «длинный» (корень **dheh(g)-no* <C **legh-* «огонь»), т. е. «очищенный огнем», ср. другой вариант этого корня **dheg-* «гореть»; типологически ср. русск. диал. *жаровой* «высокий, длинный». Типологические параллели, которые во множестве приводит автор в своей книге, снижают степень гипотетичности семантических реконструкций, способствуя убедительности того или иного семасиологического развития, постулируемого автором.

Таким образом, перед нами тщательно выполненное исследование, дающее в руки лингвистов систематическую сводку наиболее важных семасиологических универсалий в и. е. языках. Исключительную ценность и практическую необходимость подобного исследования, объединяющего в пределах одной книги свод основных семасиологических переходов и этимологических гнезд, трудно переоценить.

К сожалению, в рецензируемой книге много редакционных погрешностей: рубрификация материала не всегда достаточно продумана, в связи с чем нередко разединяется то, что тесно связано между собой, и соединяется то, что должно быть разединено. Так, на с. 95 в статье «жить, жизнь» читаем: **es-*, **esus*, **esos* «дыхание, жизнь», др.-инд. **esen-* «жить, жизнь». В рубрике а) не приводятся дальнейшие связи рассматриваемых корней, которые даются ниже, но уже в рубрике в), а в рубрике б) этимологизируется другой корень: **kes-* «резать» и осет. *сагп/гажипт*. Такая рубрификация создаст большие неудобства при пользовании словарем.

В книге встречаются пропуски отдельных форм и слов: так, на с. 76 приводится лат. *agonis* «жрец, убивающий жертву», но это — форма родительного падежа, именительный же падеж *ago* пропущен. На с. 136 в статье «небо» дается ссылка на статью «язык» в словаре М. М. Максковского. Но статья «язык» в словаре отсутствует (видимо, она была снята в редакционном порядке, а ссылка на нее была оставлена). На с. 111 (первая и вторая строки сверху) имеется повторение одних и тех же примеров: др.-англ. *boh* «лук (оружие)», *pohta* «мешок».

В рецензируемой книге много опечаток, есть неточности в надстрочных знаках: знаки ударения стоят там, где они не нужны, например, в латинских словах, но их часто нет в древнегреческих словах, где они обязательны, или они проставлены неверно. Та же неточность со знаком

Ср. англ. диал. *dey* «служанка».

долготы и прочими диакритическими знаками. Досадно также, что хотя в тексте книги имеются отдельные ссылки, в книге отсутствует список специальной литературы.

Рецензируемая монография — результат долгой и кропотливой работы автора — во многих отношениях является уникальным и единственным в своем роде изданием: огромный фактический материал, должным образом упорядоченный, сочетается здесь с интересным творческим осмыслением семасиологических универсалий, многие из которых устанавливаются впервые. Перед нами своеобразная семасиологическая энциклопедия и.е. языков, которая, как представляется, неизменно будет использоваться в сравнительно-исторических исследованиях и станет настольной книгой индоевропеистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Максимов В. В. Из славянских этимологии // Этимологическое исследование по русскому языку. Вып. 2. М., 1962.

2. Bertschinger M. *To want: An essay in semantics*. Bern, 1941.
3. Cohen M. Genou, adoption et parents en germanique // BSLP. 1927. 17.
4. Frisk Hj. *Wahrheit und Luge in den indogermanischen Sprachen*. Goteborg, 1976.
5. Hoops J. Bight and left in the Germanic languages // *Etudes germaniques*. 1950. 5.
6. Benveniste E. Homophonie radicale en indo-europeen // BSLP. 1955. V. 51, Fasc. 1.
7. Bologna M. P. *Ricerca etymologica e ricostruzione culturale: Alle origini della mitologia comparata*. Pisa, 1988.
8. Chevalier J., Gheerbrant A. *Dictionnaire des symboles*. P., 1979.
9. Buck CD. *A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. A contribution to the history of ideas*. Chicago, 1949.

Ходорковская Б. В.

Wierzbicka A. The semantics of grammar. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins B.V., 1988. 618 p.

Автор рецензируемой книги, А. Вежбицка, является одним из признанных авторитетов в области современной общей семантики. Широкую известность получила ее работа [1], в которой был предложен формальный аппарат семантического представления высказываний естественного языка (семантический метаязык), а также глубокое исследование по русскому падежу [2]. Эти работы были частично переведены на русский язык [3, 4].

Новая книга А. Вежбицкой под интригующим названием «Семантика грамматики» заслуживает самого серьезного внимания. Вопросы, поднятые в ней, имеют принципиальное значение для современной лингвистики в целом. Дело в том, что весьма плодотворный «штурм» семантики естественного языка, предпринятый в 70—80-е годы и давший ряд блестящих результатов, в какой-то мере уже исчерпал свои ресурсы.

Заслуга А. Вежбицкой состоит в том, что она одна из первых поняла необходимость пересмотра той научной парадигмы, которая была унаследована лингвистикой еще из ее «досемантического» периода и которая рассматривала семантику как нечто внешнее по отношению к внутренней структуре языка. Такое,

казалось бы, безобидное допущение, постулирующее произвольность связи значений с формой, приводило к выявлению бесчисленного множества локальных ad hoc-овых соотношений между языковыми формами и выраженными ими значениями.

Достаточно детальный анализ употреблений всякой формы выявлял необходимость учета необозримого числа контекстных и словарно задаваемых ограничений на реализацию того или иного значения этой формы, и всякий раз сохранялась возможность существования исключений, требующих дополнительных локальных правил.

В отличие от широко распространенного мнения, что «семантика есть независимая область знания, которую можно оставить тем, кто интересуется значением, в то время как другие лингвисты могут посвятить себя чему-нибудь другому», А. Вежбицка исходит из того, что «язык есть интегральная система, в которой все компоненты — слова, грамматические конструкции, иллокутивные средства (включая интонацию) — служат цели выражения значений. Если это так, то лингвистика естественным образом состоит из трех частей, которые могут быть наз-

ваны лексической семантикой, грамматической семантикой и иллокутивной семантикой» (с. 1). Одной из этих частей, грамматической семантике, и посвящена данная книга. Основное ее содержание составляет анализ конкретного языкового материала, но по существу она носит методологическую направленность: обновить и прорецензировать преимущества принятого автором взгляда на язык как на содержательно мотивированную систему формальных средств.

Главным аргументом традиционной концепции произвольности языковых средств является обилие случаев синонимии и многозначности грамматических единиц, когда одно значение выражается несколькими способами или одна грамматическая единица имеет несколько значений, не сводимых к одному инварианту. Поэтому основное внимание А. Вежбицка уделяет именно таким грамматическим явлениям, убедительно демонстрируя несостоятельность традиционных трактовок, основывающихся на постулате об автономном синтаксисе и автономной морфологии.

Книга состоит из десяти глав (из которых восемь предварительно публиковалось в различных изданиях в период 1979—1986 гг.), разделенных на две части: «Семантика синтаксиса» и «Семантика морфологии». В первой части анализируются различные синтаксические конструкции, а во второй — морфологические категории.

Несомненным достоинством метода Вежбицкой является органичное сочетание а) топологически ориентированного подхода при рассмотрении конкретных семантических явлений и б) бережного отношения не только к конкретно-языковой специфике каждой рассматриваемой конструкции или категории, но и к возможному корреляциям грамматик с «этнофилологией». Такого рода синтезом обычно считающихся несоместимыми методов концепция А. Вежбицкой разительно отличается от большинства современных теорий, и в этом, как мне думается, ее основная новизна и объяснительная сила.

Каждая глава книги посвящена конкретному грамматическому явлению, но мне удобнее сгруппировать их в соответствии с общностью решаемых в них теоретических задач.

Во-первых, много внимания уделяется проблеме грамматической синонимии, вскрыть функциональную нагрузку которой традиционная теория оказывается бессильной. А. Вежбицка берется за трудную задачу: объяснить системный, регулярный и семантически мотивированный принцип альтернативного выбора на примере таких явлений, для кото-

рых в рамках традиционного подхода не найдено сколько-нибудь хорошего описания. Так, она подвергает анализу три существенных фрагмента синтаксиса английского языка: (1) группу конструкций с сентенциальными акантами (complements), использующих инфинитивный (TO), герундивный (ING), предложно-инфинитивный (FOR TO) оборот и притачное с союзом THAT (с. 23—168), (2) перифрастическую конструкцию *have a V* (почему можно сказать *have a drink* «выпить» и нельзя **have an eat* «поест»: с. 293—358) и (3) противопоставление так называемого «внешнего» (external) и «внутреннего» (internal) датива (*John offered a rose to Mary* — *John offered Mary a rose* «Джон предложил Марии розу») (с. 359—387). Кроме того, в отдельной главе (с. 499—560) исследуются числовые формы названий веществ, субстанций, совокупностей (ср.: *oats* «овес» и *wheat* «рожь»), выбор которых считается обычно произвольным.

В каждой из этих считающихся обычно бесперспективными областей грамматики Вежбицка одерживает убедительную победу над догмой произвольности соотношения между значением и формой.

В рамках краткой рецензии нет возможности отразить ход рассуждений автора и соотнести их с эмпирическим материалом. Однако можно констатировать, что предложенная А. Вежбицкой методика действительно эксплицирует логику грамматики и языковую интуицию говорящего. И сам язык, и использование языка организованы не произвольно, а глубоко содержательно мотивированы и иконически отражают семантическую структуру. Особая ценность этого вывода определяется тем, что он делается на, казалось бы, безнадёжном материале, козырной карте сторонников произвольности грамматики формы.

Наряду с синонимией, серьёзную методологическую проблему представляет полисемия языковых единиц. «Ее можно сформулировать следующим образом: если некая форма может употребляться несколькими различными способами, то должны ли мы постулировать для нее несколько различных значений или стремиться свести их к одному общему семантическому инварианту (рассматриваемому как ЗНАЧЕНИЕ данной формы) и приписывать разнообразие ее употреблений взаимодействию данного значения и лингвистического и экстралингвистического контекста?» (с. 260). Автор утверждает, что абсолютизация второго подхода, априорно кажущегося предпочтительным, может привести к опасным последствиям. Хотя не следует размножать значения без особой необходимости, тем не менее «формальная морфологическая тож-

дественность двух или более конструкций не означает, что эти конструкции следует считать одной и той же конструкцией» (с. 261). Необходимо scrupulousное и тщательное рассмотрение всех употреблений данной формы и их семантико-интерпретаций. В области синтаксиса этот тезис иллюстрируется на материале так называемого «адверсативного пассива» японского языка (с. 257–292), в области морфологии — на материале дательного падежа в польском языке (с. 391–434). А. Вэджица показывает, что единая семантическая трактовка японского пассива как средства обозначить, что субъект главного предложения испытывает отрицательное воздействие¹, не соответствует фактам. В действительности существует несколько различных семантически связанных между собой конструкций, имеющих общий семантический компонент, но не сводящихся к нему (в частности, воздействие в определенных контекстах может быть положительным или нейтральным). Аналогичный результат получен для польского датива.

Думается, что избранная автором позиция в отношении полисемии языковых форм правильна, хотя те примеры, на материале которых эта позиция проиллюстрирована, нельзя считать достаточно убедительными. Трудно доказать, что более тридцати конструкций с польским дативом действительно необходимы и не могут быть сведены друг к другу. Выделяемые в падежной грамматике семантические роли экспонента, реципиента и бенефициара практически покрывают все эти конструкции. Неслучайно, что в языках с ролевой ориентацией именно эти роли объединяются в дативе. Сопоставление с данными карельских и дагестанских языков, в которых датив играет исключительную роль при оформлении актантов глагола, позволило бы, как мне кажется, достичь большего семантического обобщения.

Продуктивность исследования универсальной семантической категории в контрастно-типологическом аспекте продемонстрирована (с. 247–256) на материале каузативных конструкций в японском, английском, хинди и частично во французском, итальянском и русском языках. Вежица показала, что использование

готовых ярлыков типа «прямая / непрямая каузация», «контактная/дистантная каузация», «жестко принудительная/слабо принудительная каузация» основывается на ошибочном допущении, что имеются определенные типы каузации, которые могут быть описаны априори и затем приписаны конкретным языкам. Детальный анализ показывает, что реальные каузативные конструкции значительно разнообразнее и зачастую семантически уникальны, хотя и содержат общие семантические компоненты (например, «У хочет этого», «У не хочет этого»). Конкретные конфигурации таких компонентов имеют тенденцию быть неповторимыми и не могут быть описаны с помощью общих ярлыков — для этого необходим метаязык толкований, использующий семантические примитивы (семантические единицы, не допускающие дальнейшего семантического разложения, типа *я, ты, хотеть, знать* и др.), в терминах которых, по мнению автора, конкретные семантические конфигурации конкретных языков могут быть разложены и адекватно описаны.

Развитием данной идеи является понятие этносинтаксиса, обоснованию которого посвящена специальная глава (с. 169 — 236). Возвращаясь к идее Гумбольдта, Сепира и Уорфа, Вежица пытается найти строгое семантическое описание специфичных конкретно-языковых реализаций некоторых универсальных значений, позволяющее преодолеть субъективизм и произвольность суждений ее предшественников о связи языка и экстралингвистических аспектов культуры. Интересны в этой связи ее наблюдения, касающиеся многообразия средств выражения неспецифицированного деятеля в русском языке (см., в частности, различные подвиды безличных предложений) в отличие от английского.

В главе «Семантика падежного маркирования» (с. 435–462) проводится мысль о необходимости различения грамматических категорий и грамматического маркирования. А именно, хотя в определенных случаях грамматическая категория может не иметь открытого показателя, тем не менее она может быть однозначно определена (ср. оформление винительного падежа в словах *открытку* и *письмо* в предложении *Маша прочла открытку и письмо*). В то же время ошибочно считать, что способ маркирования значения грамматической категории семантически незначим. В частности, различные показатели одного и того же падежа могут дифференцироваться по значению; конкретный падежный показатель может иметь не только собственно падежную семантику, но и дополнительное значение, например, одушевленность, счетность

¹ Например, япон. *John ga* (подлежащее) *Mary ni* (агентивное дополнение) *riano* (винит, падеж) *hik-are-ta* (пассив, прош. время) — букв. «Джон Марией на пианино сыгран» — означает, что Джон был тем лицом, на кого было оказано отрицательное воздействие тем обстоятельством, что Мария играла на пианино, т. е. игра Марии на пианино была неприятна Джону.

и т. п. Этот тезис иллюстрируется русским винительным (ср.: *Иван увидел «Москвич» — Иван увидел москвича*), «паритивом» (ср.: *чашка чаю — запах чая*), родительным множественного числа (ср.: *килограмм помидор — пять помидоров*), а также данными польского языка.

Глава «Что такое существительное? (Или: чем существительные отличаются по значению от прилагательных?)» (с. 463—498) ставит вопрос о семантической мотивации для реализуемого во многих (хотя и не во всех) языках противопоставления существительных и прилагательных. Отталкиваясь от традиционного мнения, что существительные обозначают «субстанции», а прилагательные «качества», и не присоединяясь к точке зрения, согласно которой различие между этими частями речи не имеет семантического основания, Вежицка предлагает свой семантический анализ, сводящийся, грубо говоря, к тому, что существительные и прилагательные связаны с различными аспектами концептуализации внешнего мира. Прототипическая функция существительных состоит в категоризации — в выделении видов объектов (KIND OF THING), а прилагательных — в добавлении признака без создания новой категории. Эти различия иконически отражаются в поверхностной морфологии прилагательных и существительных, в частности, в распределении категории рода между ними (значение рода является постоянным для существительного и переменным для прилагательного). Наличие языков, не противопоставляющих эти части речи, не свидетельствует о произвольности данных категорий. Семантические различия, присущие существительным и прилагательным, имеются, по мнению автора, и в этих языках, но они не отражены в морфологических различиях, хотя можно ожидать их проявления в грамматическом поведении соответствующих классов слов.

По необходимости краткий обзор затронутых в книге языковых явлений демонстрирует, тем не менее, их редкое разнообразие. При этом каждое из этих явлений подвергнуто чрезвычайно тонкому и глубокому анализу и открывается читателю в неожиданном и интересном аспекте. Существенно также, что речь идет, как правило, о таких конструкциях и категориях, которые составляют ядро грамматики соответствующих языков. Конкретные описательные результаты, полученные автором, в частности, по ря-

ду вопросов русской грамматики, имеют самодовольную ценность.

В то же время в данной книге аккумулярован большой теоретический потенциал, и нет сомнения, что она окажет серьезное влияние на дальнейшее развитие как семантических, так и грамматических исследований: становится очевидным, что на грамматику нельзя уже больше смотреть как на систему формальных единиц и отношений, не зависящих от тех значений, которые они выражают, — в противном случае их внутренняя природа не может быть правильно понята.

«Я пытаюсь показать на протяжении этой книги, — пишет в заключение А. Вежицка, — что грамматика, как и словарь, кодирует значение. Это не система правил для порождения грамматически правильных предложений, а система правил для „порождения“ и интерпретации осмысленных высказываний. Проблема, решаемая говорящими, состоит не в том, как построить грамматические предложения, а в том, как сказать то, что они хотят сказать, и как понять то, что говорят другие люди» (с. 561) (ср. эту презумпцию с постулатом о модели языка в [5]: «Основной задачей лингвистики является построение действующих моделей МЫСЛЬ—СООБЩЕНИЕ»).

Думается, что основная цель автора достигнута, и всякий, кто согласится хотя бы с некоторыми из предложенных ею интерпретаций рассмотренных в книге явлений, должен будет принять и эту общую теоретическую посылку, в корне меняющую взгляд на язык и задачи и методы лингвистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Wierzbicka A.* *Lingua mentalis: The semantics of natural language.* Sydney; New York, 1980.
2. *Wierzbicka A.* *The case for surface case.* Ann Arbor, 1980.
3. *Вежицка А.* Восприятие: семантика абстрактного словаря // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. М., 1986.
4. *Вежицка А.* Дело о поверхностном падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
5. *Кибрик А. Е.* Лингвистические постулаты // Механизмы вывода и обработки знаний в системах понимания текста: Труды по искусственному интеллекту. Тарту, 1983 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 621).

Кибрик А. Е.

Развитие терминологии на языках союзных республик СССР. Общая проблематика. Терминология на русском, украинском и белорусском языках. М.: Наука, 1986. 268 с.

Развитие терминологии на языках союзных республик СССР. Терминология на узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском и эстонском языках. М.: Наука, 1987. 284 с.

В монографии прослеживается сложный путь поисков в разработке проблем национальных терминологий и подводятся итоги огромной работы специалистов по различным отраслям знаний в создании и развитии национальных терминологических систем. Появление такого труда представляется чрезвычайно важным, особенно в современных условиях острого интереса к теории и практике межнациональных отношений, к функциям и статусу национальных языков.

Монография подготовлена Институтом языкознания АН СССР, ее ответственным редактором и автором вводной части «Формирование, развитие и современные проблемы терминологии на языках союзных республик СССР» является К. М. Мусаев. Разделы по терминологиям на языках союзных республик СССР написаны крупнейшими специалистами, работающими над проблемами национальных терминологий.

Теоретическая и практическая значимость этого коллективного труда была отмечена акад. Г. В. Степановым в предисловии. Две книги, композиционно объединенные вводной частью, представляют собой структурно единую, логически взаимосвязанную композицию всей работы в целом. При этом введение (К. М. Мусаев, с. 6—178) и разделы по русской терминологии (В. П. Даниленко, Т. Л. Канделаки, с. 179—207), украинской (А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко, с. 208—231), белорусской (Л. А. Антонок, Н. В. Бирилло, с. 232—266), узбекской (Р. Д. Данияров, с. 7—28), казахской (А. Г. Кайдаров, А. А. Абдрахманов, с. 29—49), грузинской (Р. Б. Гамбашидзе, с. 50—66), азербайджанской (М. Ш. Гасымов, с. 67—92), литовской (К. Гайвянис, С. Кейнис, с. 93—110), молдавской (С. Г. Бережан, В. И. Бахарь, с. 111—132), латышской (В. П. Скуиня, Ю. Н. Балдунчик, с. 133—156), киргизской (Т. Дуйшеналиева, В. Закирова, с. 157—174), таджикской (Я. И. Калонтаров, с. 175—195), армянской (Л. О. Казанчян, с. 196—226), туркменской (В. Мескутов, Б. Амансарыев, с. 227—255), эстонской (Р. В. Куль, с. 256—282) взаимодополняют друг друга. Каждый раздел по терминологии снабжен двумя видами приложений: 1) Литература (по разрабатываемой проблеме) и 2) Список словарей.

Во вводной части впервые дается обобщающий анализ теории и практики терминологической работы в нашей стране. Основное внимание уделено изучению таких важнейших проблем развития терминологии в советский период, как преемственность и традиции в национальных терминологиях, функциональное соотношение национального и русского языков в союзных республиках, роль интернационализмов, достижения и задачи терминологической лексикографии, совершенствование, упорядочение и унификация терминологии и др. Перечень исследуемых вопросов в целом характеризует разные процессы становления терминологии в союзных республиках и раскрывает многообразие подходов к объекту исследования. В материалах книги нашли отражение наиболее существенные стороны общей проблематики, раскрывающие теоретическую и практическую суть терминотворчества в исследуемых регионах.

Отмечая бурный процесс зарождения новых слов и терминов, связанных с общественным и научно-техническим прогрессом, К. М. Мусаев констатирует, что к началу 80-х годов терминоведение в национальных республиках встало на прочную научную основу, сделалось многоаспектной, самостоятельной отраслью современного языкознания. Опубликовано много трудов, составлены многочисленные терминологические словари, справочники, созданы специальные организации по терминологии, выросли кадры терминоведов (подробнее см. 1, с. 137—154).

Наряду с достижениями вскрыты некоторые существенные недостатки в самих национальных терминотворческих, а также в области теории и практики терминологической работы, в частности: отсутствие координации в работе разных организаций, занимающихся вопросами терминологии; недостаточное внимание к теоретическим проблемам терминологии, в особенности — лингвистическим, логическим и к вопросам систематики; отсутствие технических средств (ЭВМ и другой техники); отсутствие единых принципов правописания терминов, особенно заимствований (русизмов и интернационализмов) (1, с. 149—151; см. также 1, 2).

Авторы разделов по национальным тер-

минологиям, фиксируя отсутствие координации даже в пределах своих республик (например, в Эстонии функционируют 20 терминологических комиссий, но они мало связаны между собой), считают необходимым более глубокое изучение опыта работы Комитета научно-технической терминологии АН СССР и терминологических органов союзных республик.

Соблюдение определенного соотношения национального, интернационального и русского в терминологической системе, разработка научных принципов унификации терминологии, нормирование и упорядочение отраслевых терминосистем представляют насущную потребность современности.

В работе зафиксированы черты сходства и различия между языками союзных республик в процессе становления терминологических систем, начиная с до-революционного периода. В большинстве языков союзных республик процесс становления терминосистемы относится к советскому периоду, хотя каждый из них, имея свой функциональный статус, обладает спецификой в терминотворчестве. Отмечено своеобразие формирования терминологии в Молдавии, Эстонии, Литве, Латвии, терминологическая система которых уже была достаточно развитой. Основным источником образования терминов являются средства национального языка. На процесс терминотворчества в языках союзных республик большое влияние оказывает русский язык. Большинство языков народов СССР пользуются русской терминологией как базой научного понятийного фонда, заимствуя не только готовые термины, но и структурные модели терминотворчества, наряду со своими исконными средствами. Несколько иначе обстоит в языках прибалтийских республик, для которых за редким исключением не характерны прямые заимствования из русского языка (см., например, 2, с. 106). В латышской научной терминологии больше всего использовались интернационализмы латино-греческого происхождения. Русская терминология применяется как опорный материал для создания и упорядочения латышской терминологии определенной отрасли. Прямое лексическое заимствование русских слов и научно-технической терминологии не характерно для латышского литературного языка (см. 2, с. 147—150).

В эстонской терминологии наблюдается заимствование интернациональных терминов преимущественно в сфере профессиональной лексики, например: *aatom* «атом», *neutron* «нейтрон», *cosmonaut* «космонавт» и т. д. Тем не менее и эта группа языков и большинство языков

других союзных республик обладают общим фондом интернациональных терминов, которые составляют значительный пласт во всех отраслях научной, научно-технической, общественно-политической терминологии. При этом автор вводной статьи уточняет и дополняет само понятие термина «интернационализм», который традиционно возводился в основном к словам греко-латинского происхождения. К.М.Мусаев считает, что в современных языках народов СССР под «интернационализмом» и степенью интернациональности следует понимать наличие термина с одинаковой формой выражения в данном национальном языке и не менее чем в двух мировых языках, одним из которых является русский, другим — любой из европейских языков, имеющих статус мирового. В соответствии с таким пониманием автор выделяет два типа интернациональной терминологии: 1) собственно интернационализмы — слова, заимствованные из языков других стран (чаще всего — из европейских); 2) русско-интернациональные термины: а) интернациональные термины, вошедшие в языки народов СССР через русский язык; б) исконные русские слова, заимствованные другими языками и вошедшие в языки народов СССР; в) слова, заимствованные русским языком из одних языков народов СССР и через русский проникшие в другие национальные языки (1, с. 97). Некоторые интернационализмы стали словообразовательными элементами при создании новых терминов типа *радиоприемник*, *радиовещание* и т. д.

Исследователи национальных терминологий зафиксировали употребление синонимичных пар, состоящих из заимствованного слова и слова, возникшего на национальной базе; например, в киргизском языке употребляются синонимичные пары: *чыгыш* — *расход*, *контроль* — *текшеруу* и т. д. (1, с. 107). В эстонском языке также прослеживается параллелизм собственных и иноязычных терминов, стремление к так называемому явлению полисинтетизма (2, с. 262). Аналогичное явление отмечено и в других языках, хотя сам принцип подобного параллелизма не всегда носит позитивный характер.

Обращает внимание недостаточная разработанность проблемы фонетического освоения заимствованных терминов в различных языках, хотя терминологи указывают на наличие в их языках преимущественно неадаптированных форм заимствованных терминов; однако вопрос о правописании последних до конца еще не решен, так как во многих языках существуют и адаптированные и неадаптированные, а также разные варианты одних и тех же терминов. Например,

в узбекском языке термин *индустриализация* имеет четыре варианта: *индустрилаш* ~ *индустриллаш* — *индустриллаштириш* — *индустриллаштириши* (2, с. 17—18). Большой разницей в написании терминов с конечным -о, отмечается* в азербайджанском языке. В одних словах сохраняется ауслаутный -а, например: *ботаника*, *витрина*, а в других — выпадает -а, ср.: *анкет* «анкета», *фабрик* «фабрика» (2, с. 85—86). В армянском языке замечено такое же колебание в написании заимствованных терминов с конечным -а типа: *физика*, *механика*, но *аксиом* «аксиома», *теорем* «теорема» (2, с. 216).

Для большинства языков союзных республик характерны заимствованные интернационализмы и русизмы двух типов: 1) адаптированные, например: *бошто* «почта» в киргизском (2, с. 166), *ипотезе* «гипотеза» в молдавском (2, с. 116), *мошина* ~ *мошан* «машина» в таджикском (2, с. 189), *колхозши* «колхозник» в казахском (2, с. 35), *анархик* «анархический» в туркменском (2, с. 245) языках и др.; 2) неадаптированные, т. е. с сохранением исходной формы, принятой в русском языке: *аэродром*, *кредитор*, *социализм* и т. д., которые встречаются во всех языках. Последний тип заимствований облегчает обучение русскому языку в национальных республиках и способствует единообразию в передаче общего терминологического фонда языков народов СССР (см. 1, с. 108).

Этот пласт заимствований вносит существенные изменения в структуру воспринимающего языка, что не отмечено в разделах по национальным терминологиям. К. М. Мусаев подчеркивает, что возникшие в советскую эпоху многие закономерности терминологического словообразования не нашли отражения в исследованиях по грамматической структуре языков народов СССР (1, с. 94). Следует добавить, что под влиянием

заимствований, в том числе терминологических неологизмов, претерпевают изменения не только морфология, синтаксис и лексика национальных языков, но также фонетика и фонология. Однако эти инновации в большинстве своем не нашли отражения в нормативных грамматиках национальных языков. В частности, следовало бы обратить внимание на употребление заимствованных терминов в устной и письменной формах литературного языка, ибо в некоторых языках (например, в тюркских) наблюдается употребление разных вариантов заимствованных терминов: в устной речи чаще адаптированные, а в письменной — неадаптированные варианты одних и тех же терминов.

Первый опыт создания монографии «Развитие терминологии на языках союзных республик СССР» показывает реальную картину межязыковых взаимоотношений на конкретном лексическом материале. На основе анализа многочисленных фактов сделан ряд важных теоретических обобщений. «Выход в свет данной книги, рассчитанной не только на языковедов, но и на специалистов других отраслей знаний, будет способствовать дальнейшему совершенствованию терминологической работы в различных республиках нашей страны» (1, с. 5).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Степанов Г. В.* Современная научнотехническая терминология на языках народов СССР и за рубежом // Проблемы разработки и упорядочения терминологии в академиях наук союзных республик. М., 1983. С. 14—15.
2. *Мусаев К. М.* Современная терминология литературных тюркских языков Советского Союза // СТ. 1981. № 6.

Дарбеева А. А., Пюрбеев Г. Ц., Рассадин В. И.

Потанова Р. К. Слоговая фонетика 1986. 144 с.

Рецензируемое учебное пособие является результатом многолетнего глубокого экспериментально-фонетического исследования и тщательного научно-теоретического освещения проблемы слоговой организации речи на материале германских языков. Слоговая фонетика наряду с сегментной фонетикой (вокализм, консонантизм), акцентологией и интонацией сформировалась как самостоя-

германских языков. М.: Высшая школа,

тельный раздел общей, частной и прикладной фонетики. Однако среди этих разделов фонетики проблема слоговой организации речи была наиболее неясной, прежде всего из-за туманности соотношения сегментной и суперсегментной характеристики высказывания. В сущности, слог выступает ключевым элементом в исследованиях всех разделов фонетики и служит как бы «мостиком»

между фонематической и просодической структурами языка. В рецензируемом исследовании с помощью новейшей аппаратуры Р. К. Потаповой удалось установить вполне реальную картину структурирования речи в перцептивном, количественном, спектрально-временном и просодическом аспектах.

Говоря о традиционном описании фонетического строя, автор указывает, что «...всех их объединяет один и тот же принцип: от описания звукового строя к описанию интонации, минуя описания слоговой организации...» (с. 6). Причем во многих работах структура слога представлена в качестве набора фонотактических правил, не учитывающих влияние на фонетическую выраженность слога синтагматических (контекстуальных и позиционных) факторов. Автор подвергает широкому анализу существующие концепции слога в истории языкознания и современной фонетике. В отличие от традиционных описаний, Р. К. Потапова выбирает комплексный, многоаспектный подход к слогу, обусловленный его полифункциональным характером.

Рассмотрение слога в артикуляторном, акустическом и перцептивном аспектах было и остается характерным в различных концепциях слога, начиная с античной эпохи. Дальнейшее развитие учения о слоге привело к тому, что слог стал рассматриваться также в чисто лингвистическом плане, точнее, в фонологическом аспекте. Разноаспектное и комплексное изучение слога стало наиболее распространенным в фонетических исследованиях. Отметим, что были попытки отдельных лингвистов, которые, не признавая реальность слога, отказались от его изучения или высказали сомнение в целесообразности такого изучения. Убедительно показывая несостоятельность таких учений, Р. К. Потапова пишет: «Слог представляется нам тем объектом, в пределах которого в наибольшей степени проявляется принцип гибкой связи языковых уровней... Функционирование слога в потоке речи дает возможность, с одной стороны, дифференцировать различные речевые сегменты (фонетические слова, синтагмы, фразы), но с другой стороны, интегрировать вышеназванные речевые сегменты в единую структуру речевого высказывания» (с. 39).

Р. К. Потапова определяет слог в широком лингвистическом плане, учитывая его многоаспектность и полифункциональность, а также взаимосвязи различных рече-языковых уровней. Она пишет: «Слог как основной сегмент / структура формируется субстанционально фонетико-фонологической базой того или иного языка и функционально находится на пересечении семантической (например,

фонема, морфема) и несемантической (например, звук, звукосочетание) шкал. Слог проектируется на плоскость фонотактики, артикуляции, фонации, слуховой перцепции, двигательной и дыхательной моторики, акустики. Границы слога на каждой из этих плоскостей достаточно подвижные и определяются воздействием факторов индивидуальной и языковой специфики артикуляционной базы говорящего, позиционно-контекстуального и количественно-сегментного характера» (с. 39—40).

Исследование временной организации слога показало, что изменение длительности зависит от скорости артикуляторных движений (размера, массы и формы артикулирующих органов); физический же коррелят слога зависит от собственной длительности звукового сегмента, степени выделенности, фонетического контекста, структуры слога, позиции слога в ритмической структуре (фонетическом слове), синтагме, фразе, сверхфразовом единстве, темпа реализации речевого высказывания, типа произнесения, стиля произношения. Обычно увеличение числа звуковых и слоговых сегментов в слове ведет к временной их компрессии, но она не постоянна. Сравнение длительности соседних звуков сегментов в одно- и двусложных словах английского, немецкого, датского, шведского, норвежского и нидерландского языков подтверждает обязательность или необязательность временной компрессии звуковых составляющих ритмической структуры. Причем консонантизм в германских языках более последовательно подвержен временной компрессии, нежели вокализм (с. 44).

Р. К. Потапова подвергла проверке наличие — отсутствие корреляции по длительности между элементами высказывания по схеме СГ-С(С)Г, СГС-(С)Г, Г-Г, о чем часто писалось в других работах. В английском и немецком языках наличествует отрицательная корреляция по длительности между гласными и последующими согласными. Что касается шведского и датского языков, то в них регулярно обнаруживается межзвуковая корреляция по длительности. Более тесная временная связь в рамках структуры СГС по сравнению с СГ и то, что такой слоговой комплекс задается набором одновременных команд, позволяет считать закрытый слог в германских языках наиболее частотной единицей артикуляторной программы.

Р. К. Потапова выделяет три типа временной корреляции речевых сегментов: микрокорреляции (внутризвуковые и звуковые), мезо корреляции (между сегментами типа СГС, СГ, ГС и т. д.) и макрокорреляции (временной контур гласных в фонетических словах и фразах). Изучая временную компенсацию звуковых со-

ставляющих слога, автор впервые вводит термин «временная доминанта», который определяется в зависимости от локализации сегмента в различных позициях фразы.

В книге приведены тембральные характеристики гласных в германских языках. С этой целью сравниваются усредненные значения первых двух формант на материале фонетических (а не фонологических) оппозиций: изолированное произношение — начальная и конечная позиции во фразе; начальная позиция — конечная позиция во фразе и в сверхфразовом единстве.

Позиционные модификации слога в слитной речи реализуются в зависимости от типа слога. Маркированными могут выступать как гласные, так и согласные. Р. К. Потапова вводит понятие тяжелого слога в связи с маркированностью слога и его составляющих для позиций начала — конца фразы / синтагмы. Тяжелый слог вычленяется в потоке речи как посредством увеличения количественных, так и посредством изменения качественных характеристик составляющих слога.

С точки зрения автора, понятие членения речи должно включать два дифференцированных понятия — квантование и сегментацию. При сегментации речи требуется точное установление границ между сегментами, тогда как квантование основывается на относительно постоянной, повторяющейся в потоке речи структуре, границы которой могут быть размытыми, неопределенными (с. 77). При изучении перцептивных характеристик речи автор впервые применяет способ поиска опорного речевого кванта, используемого носителями различных языков при членении и идентификации синтагм, фраз, сверхфразовых единиц. В книге приведены результаты слуховой оценки длительности гласных во фразах, а также маркированность перцептивных признаков при временном квантовании речи в английском, немецком и русском языках. В связи с этим различаются языки: слогоопорные (немецкий), гласноопорные (русский) и языки смешанного типа (английский).

Р. К. Потапова использовала также метод аудированной сегментации, обеспечивающий слуховое членение звука на тембральные составляющие. Для его иллюстрации берутся межязыковые минимальные пары из германских языков. Анализ тембральных сегментов позволил вскрыть определенные тенденции прежде всего в плане дифференциации долгих и кратких гласных. При этом для долгих гласных германских языков характерна ранняя качественная отмеченность и локализация ядерного сегмента в исходе звука, тогда как краткие гласные характе-

ризуются более поздней качественной отмеченностью и локализацией ядерного сегмента в центре звука. Соотношение гласного с последующим согласным лежит в основе дифференциации слогового примыкания на сильное и слабое. Автор отвергает существовавшее мнение о том, что если гласный ДЛГИИ, то имеется слабое примыкание, если же гласный краткий — то сильное.

Р. К. Потапова считает, что «...более корректно говорить не о разных типах примыкания, а о принципиально сходном едином типе примыкания — сильным» (с. 92).

Слогоделение и слоогообразование не могут быть оторваны от суперсегментных средств. В связи с существующей путаницей терминов «просодия», «просодика» и «просодемика» Р. К. Потапова дает четкую их дефиницию. Просодия относится к субстанции, т. е. к материальным средствам реализации звучащей речи, тогда как просодика и просодемика выражают функциональную сферу, которая зависит от семиологической релевантности (см. схему на с. 102 рецензируемой книги). Просодике присущи все семиологически нерелевантные (конститутивная и рекогнитивная) функции, а просодемике — релевантные (дистинктивные) функции. Эти понятия важны для автора, т. к. дают возможность перейти из сегментной сферы в суперсегментную; при этом слог понимается автором «...как единство сегментных и суперсегментных единиц, образующих квазипостоянную наименьшую структуру...» (с. 103). Опираясь на суперсегментные средства — частоту основного тона, интенсивность, длительность — в различных последовательностях звуковых сегментов устанавливаются слоговые границы в германских языках. Последняя глава книги посвящена объяснению динамических моделей слоговых структур в рассматриваемых языках, которые, с точки зрения автора, важны в деле создания различных имитационных систем в области преподавания фонетики, автоматического распознавания и синтеза речи (с. 107).

Результаты исследования позволяют убедиться в том, что просодика германского слога но претерпевает существенных изменений во фразе, т. е. отмечается минимальное давление фразы на просодию слога в этих языках. Р. К. Потапова установила ряд артикуляторных особенностей и их акустические корреляты в динамических моделях слоговых структур. Так, например, к числу акустических коррелятов мышечной напряженности относятся: а) число пиков интенсивности на всей слоговой структуре, а также на ударном гласном (обычно краткие гласные германских языков одновер-

шинны, долгие — двухвершинны и т. д.); б) порядок возрастания и/или убывания относительного уровня пиков интенсивности; в) локализация пиков интенсивности на временной оси; г) локализация переходных участков и степень их удаленности от пиков интенсивности ударного гласного; д) характер возрастания и спада энергетической кривой в динамических моделях слоговых структур. Кроме теоретической ценности динамических моделей слоговой структуры, автор подчеркивает их методико-прикладное значение при обучении иноязычному произношению. Здесь указываются два момента: специфика артикуляции гласного-слоносителя и характер динамики реализации слога и цепочки слогов в целом. В книге выборочно представлены наиболее типичные динамические модели слоговых структур в германских языках и их графические схемы (с. 112—127).

Учебное пособие Р. К. Потаповой написано на основе тщательной обработки результатов экспериментально-фонетического исследования слоговой структурированности речи в германских языках. Однако предложенные автором методы

и процедуры анализа могут быть также полезными и надежными при изучении природы слоговой организации речи в других языках.

Можно спорить с автором книги по некоторым вопросам. Так, например, в книге говорится о практическом отсутствии редукции в германских языках (с. 127), что вряд ли правомерно. Слог является местом «встречи» сегментных и суперсегментных средств. В работе мало внимания обращается на изучение слога с фонологической точки зрения. В качестве примеров приводятся только односложные и двухсложные слова, хотя именно в трехсложных и многосложных словах больше всего наблюдается позиционная вариативность звуков, а также взаимовлияние сегментных и суперсегментных средств.

Оценивая пособие в целом, следует отметить, что в нем удачно сочетаются научная новизна в освещении многих вопросов и глубокий анализ проблемы слоговой организации речи в германских языках. Книга может служить ценным пособием для преподавателей, аспирантов и студентов.

Абдуазисов А. А.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ

С 1989 г. в ФРГ начал выходить журнал «Русистика». Научный журнал актуальных проблем преподавания русского языка» («Russistik. Die wissenschaftliche Zeitschrift für aktuelle Fragen des Russischunterrichts»). Журнал выходит 2 раза в год. Главный редактор — д-р Зоя Кестер-Тома (Западный Берлин), зав. редакцией — Елена Ром (Вена). В Редколлегию журнала вошли специалисты по основным разделам современной русистики из 14 стран. Советскую лингвистику представляет Е. А. Земская.

Адрес издательства: Dieter Lenz Verlag, Postfach 440120, D 1000, Berlin 44, Kortingstrasse, 71b.

Журнал «ставит перед собой цель объединить научные исследования в области лингвистики с их практическим применением и познакомить преподавателей русского языка вузов и школ с актуальными проблемами русистики и их теоретической разработкой». Он рассчитан на широкий круг читателей: филологов-русистов, преподавателей русского языка школ и высших учебных заведений и студентов, как русистов, так и славистов. Журнал предполагает знакомить читателей с проблемами, над которыми работают ведущие

специалисты разных стран. «Русистика» будет публиковать статьи по грамматике, лексикологии, фразеологии, стилистике, словообразованию, фонетике, лексикографии, лингвистике текста, разговорному языку, просторечию, жаргону, истории языка, методике и дидактике преподавания русского языка.

При отборе статей редколлегия намеревается особое внимание уделять их актуальности, практическому применению и доходчивому изложению материала.

Первый номер журнала открывается статьей Е. А. Земской «АКТИВНЫЙ и пассивный аспект в изучении разговорного языка». Автор ставит перед собой задачу охарактеризовать фонетические, лексические, морфологические, словообразовательные и синтаксические явления разговорного языка с точки зрения того, какие из них подлежат лишь пассивному усвоению, а какие могут быть активно использованы иностранцами. В статье убедительно показано, что иностранец должен стремиться понимать беглую устную речь, зная законы ее фонетических преобразований, но говорить «разговорно» ему не обязательно. В области лексики есть явления, которые иностранец дол

жен лишь понимать, но имеются и типы разговорных слов, которые он может использовать сам. Сферой, которая дает иностранцу возможность творчески подходить к использованию языка, применяя активно действующие модели, является словообразование.

Статья Р. Ратмайер (Инсбрук) «Русские частицы и их немецкие эквиваленты. Глоссарий» ориентирована на читателя, родным языком которого является немецкий. Статья построена в форме словаря русских частиц с их немецкими эквивалентами. Даны описание функций частиц, их морфологическая и синтаксическая характеристики. В статье приводятся идиоматические сочетания неполнозначных слов, выступающие как самостоятельные реплики-реакции.

Проблемам непрерывности/переводимости посвящена статья Е. Маркштейна (Вена), в которой отмечается, что трудности таятся не столько в лингвистических аспектах слова, сколько в выявляемых с помощью ассоциативного текста (АТ) внелингвистических и тематических характеристиках.

Словарной репрезентации фразеологических единиц русского языка посвящена статья Б. Татара (Будапешт). В ней говорится о тех трудностях, которые испытывают преподаватели русского языка, сталкиваясь с фразеологией.

В статье «Новые слова русского языка» О. П. Ермаковой (Калуга) дается семантический анализ новообразований русского языка 70–80-х годов, зафиксированных в ежегодных выпусках серии «Новое в русской лексике. Словарные материалы» с точки зрения соответствия их семантики и структуры.

В статье У. Хинрихса (Берлин) «К парадигме славянского языкознания и русистики анализируются вопросы взаимоотношения славянского языкознания и современной лингвистики за последние десять лет.

К. Салаи (Будапешт) в статье «Фразеология русского языка в средней школе» дает определение понятия фразеологии, ее места в системе языка, роли и значения в речи. Отмечаются также трудности, которые испытывают преподаватели, сталкиваясь с фразеологией на уроках русского языка.

К лингво-социальной проблематике относится статья О. Александровой (Кёльн) «Неформальные молодежные группы в Советском Союзе», в которой дается не только информация о жизни и интересах молодежи в Советском Союзе, но и сообщаются названия молодежных групп, встречающиеся на страницах периодики и художественной литературы.

Отдел рецензий представлен разбором книг: Б. Татар. «Русская лексикография.

Одноязычные филологические словари». Будапешт, 1985. (К. Фернандес Мундес, Мадрид); Б. Зайер, М. Аумайер, Хойер В. «Русская торговая корреспонденция». М.; Вена; Дюссельдорф, 1988 (Г. Каппель; Вена); В. В. Колесов. «Культура речи — культура поведения». Л., 1988 (З. Кёстер-Тома, Берлин); Л. Картес, Э. Лелкеш, Ю. Папп. «Где эта улица, где этот дом. Стилистические эпюды». Будапешт, 1987 (В. В. Образцова, Ленинград).

В конце номера дается хроникальная заметка З. Кёстер-Тома о III Международном симпозиуме «Функциональные аспекты изучения русского языка в сопоставлении с другими языками», проведенном в соответствии с планом деятельности МАПРЯЛ.

Второй номер «Русистики» продолжает публикацию статей, посвященных центральной проблеме русистики — функционированию языка. Статья Е. Н. Ширяева (Москва) «Прагматический фактор и семантико-синтаксическая структура разговорного высказывания» посвящена сравнительно новому направлению в лингвистике: изучению предложения в прагматическом плане. В ней подробно освещается теоретическая и практическая возможность обучения использованию прагматики при построении синтаксических структур. Примеры воздействия прагматики на семантико-синтаксическую структуру высказывания в разговорной речи, которые приводит автор, представляют большой интерес как для практического преподавания, так и теоретических исследований.

Статья Й. Ваецка (Брно) «К универбации названий лиц в русском языке по сравнению с чешским языком» вскрывает процессы, связанные с упрощением структуры наименований. При этом процесс универбации рассматривается автором в рамках словообразовательной деривации. Само понятие универбации можно толковать двумя способами: 1) как один из способов словообразования, когда любое словосочетание способно превращаться в однословное название и 2) как особую семантическую разновидность функционального плана.

Проблемам семантики во втором выпуске посвящены несколько исследований. В работе М. Гиро-Вебер (Экс-ан-Прованс) «Можно ли изучать виды глагола без учета его семантики?» внимание читателей привлекается к роли семантики глагола в функционировании видовых форм в русском и других славянских языках, дается анализ некоторых теоретических работ в сопоставительном плане.

В статье В. Д. Девкина (Москва) «Нарушение параллелизма соотнесенных номинаций немецкого и русского языков» предпринята попытка показать расхожде-

ния немецких и русских номинации по линиям: частеречной, словообразовательной, семантической, этимологической и интерференциальной. Проблема асимметрии номинаций в разносистемных языках — одна из противоречивых проблем современной лингвистики; в статье отмечаются интересные факты семантической асимметрии номинаций немецкого и русского языков. Теоретическое осмысление и более упорядоченная типология этого сложного явления, как пишет автор, — дело будущего.

В статье В. В. Образцовой (Ленинград) на материале лирики С. Есенина дается пример семантико-стилистического анализа поэтического текста. Вслед за Г. О. Винокуром автор указывает на то, что слово, сохраняя значение, присущее ему в лексико-семантической системе языка, может приобрести поэтические значения, которые обуславливаются темой и идеей художественного замысла. Автор рекомендует при изучении поэтического текста на занятиях по русскому языку использовать комплексный комментарий, составной частью которого является и семантико-стилистический анализ, и на конкретном примере показывает, как это достижимо.

М. Опелова (Острава) в статье «Роль ономастического материала в процессе преподавания русского языка и литературы (Общие замечания)» подробно останавливается на изучении ономастической лексики во всех лингвистических дисциплинах при подготовке будущих филологов (в курсах «Введение в языкознание», «Лексикология современного русского языка», «Морфология», «Словообразование», «История русского литературного языка», «Страноведение»).

О том, как готовится второе, переработанное и дополненное издание «Словаря современного русского литературного языка» (в 20-ти томах), рассказывается в статье К. С. Горбачевича (Ленинград) и Т. Ф. Ефремовой (Москва). Этот словарь начинает выходить с 1990 г., закончить же выпуск планируется к 2000 г.

Авторы отметили успехи русской академической лексикографии за двухсотлетний период. Самым значительным событием был выход в свет семнадцатитомного академического «Словаря современного русского литературного языка» (М.; Л., 1948—1965). Он послужил основанием для подготовки нового издания Словаря. Авторы статьи остановились на наиболее значимых направлениях в работе, позволивших усовершенствовать предыдущее издание Словаря.

Второй номер «Русистики» продолжает печатать статьи по фразеологии русского языка. Статья Р. И. Яранцева (Москва) «О преподавании русской фразеологии в нерусской аудитории» представит не-

сомненный интерес для студентов-русистов и для преподавателей русского языка. В ней даются не только практические советы по изучению фразеологизмов, но и на конкретных примерах показывается возможность использования «Словаря-справочника» и сборников упражнений по русской фразеологии. Для закрепления и воспроизведения «чужой» фразеологии автором статьи предлагаются также практические советы.

Для методистов русского языка и преподавателей несомненный интерес представляет статья Т. Ройтера (Клагенфурт) «Методические проблемы работы с учебными видеофильмами». В ней делается попытка обобщить опыт совместной работы пяти авторов над созданием книги для учащихся к видеокурсу «Добро пожаловать», созданному по заказу Института русского языка им. А. С. Пушкина. Он состоит из пяти собственно учебных мультфильмов (по 10 мин. каждый). Вместе с видеофильмами дается методическое руководство для преподавания. Авторы статьи на этом примере стремятся показать проблемы возникающие при использовании видеотехники на уроках русского языка. Работа с видеофильмами рассматривается как дополнительный компонент учебного процесса!

В отдельной рубрике дается этнолингвистический очерк Н. Новикова (Кёльн), который посвящен проблеме «Сколько народов живет в Советском Союзе?».

В номере публикуются рецензии на новые книги по разным отраслям русистики: М. Гиро-Вебер на книгу Г. А. Золотовой «Синтаксический словарь русского языка. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса» (М., 1988); Ц. Хинриха на книгу Б. Товшича «Функциональные стили» (Сараево, 1988); Ю. А. Бельчикова на «Словарь грамматических трудностей русского языка» (М., 1986) Т. Ф. Ефремовой и В. Г. Костомарова.

С состоявшимся в Париже 15—17 марта 1989 г. симпозиумом («Высказывание в славянских языках») знакомит читателя хроника Р. Рагмайер.

Завершая обзор двух номеров «Русистики», следует сказать, что новый журнал открывает перед русистами возможность всестороннего обсуждения актуальных и спорных проблем по русскому языку и методике его преподавания. Досадно, однако, что подобного журнала нет у нас, в то время как зарубежные русисты имеют еще и другой журнал, посвященный русской лингвистике, — «Russian linguistics». Совершенно очевидно, что создание специализированного научного издания по русистике в нашей стране — неотложная задача.

Строчкова Г. В.

